



НЕВА

2
2018

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Стихи • 3

Павел ВЯЛКОВ

Горгий. Висельники Страшного суда.
Трутень. Практикант. *Рассказы* • 7

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН

Стихи • 27

Борис КРАСИН

Игра воображения. *Повесть* • 30

Олег ВАЩАЕВ

Стихи • 80

Владимир ПАНКОВ

Очевидцы. *Роман* • 84

Александр ПЕТРУШКИН

Стихи • 149

Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

Даяна. Очки. *Рассказы* • 153

Алина МИТРОФАНОВА

Стихи • 163

ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений БЕРКОВИЧ

Как зерна меж двух жерновов...
Жертвы диктатур в XX веке • 167

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Юлия ЩЕРБИНИНА

Упражнение в ничтожестве

Феномен глумления • 186

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Портрет поэта. *Наталья Гранцева.* Лавровый листок Капниста. **Личность и рок.** *Лев Бердников.* Неоткрестившийся. **Рецензии.** *Виктор Брусницин.* Использование жизни. *Марина Марьяшина.* «Ты герой земного шара...». *Калле Каспер.* Призрак в литерной броне

• 200

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Палестинские обители и Россия

Часть 4 • 233

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства культуры и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Компьютерный набор **Л. Жуковой**
Верстка **Д. Зенченко**

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Мне счастливая выпала карта,
Что спасала не раз в беде:
Я родился Двадцатого марта,
В равноденствия светлый день.
Я пришел в этот мир суровый,
У распутья холодных рек,
На Васильевском, у Большого,
Где на улицах таял снег.
У эпохи крутых обочин,
Белой выстеленных пылью,
Я рожден на исходе ночи,
Между Рыбою и Овцой.
Под балтийскими облаками
Лето, спорящее с зимой.
Далеко еще до блокады,
Год неблизко Тридцать седьмой.
Мне мальчишеского азарта
И до смерти не превозмочь:
Я родился Двадцатого марта,
Когда день обгоняет ночь.
Пусть родительский скуден завтрак,
В узкой комнатке теснота.
День длиннее, чем ночь, назавтра, —
Это, видимо, неспроста!
Много лет, далеко отсюда,
В неуюте других квартир,
Вспоминать я нередко буду
Перевернутый этот мир,
Где горит в поднебесье чистом
День полуденной синевой,
В подоконник капель стучится,
Чайки кружатся над Невой.

* * *

И в снег, и в дождик, и зимой, и летом,
Поднявшись утром или спать ложась,
Смотрю я на знакомые предметы,
Стоящие на книжных стеллажах.

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Советский и российский ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Приглядываюсь к выцветшему снимку
Вдоль Ладоги блокадной колеи.
Вот фото с однокурсницей в обнимку, —
Следы моей распавшейся семьи.
Листаю позабытые страницы
Из питерских студенческих времен:
Здесь компас мой из первых экспедиций
И института Горного погон.
Любил я почему-то безделушки,
Их из далеких привозил земель.
Вот баховский сидит чугунный Пушкин,
Вот «Крузенштерна» моего модель.
Припомнится, как, напрягая снасти,
Гудел норд-оста сумеречный вой.
Вот фотоснимок на СП-17,
Где я стою в кухлянке меховой.
Кораллы из тропических атоллов,
Куда попасть опять не суждено,
Тот аппарат подводный, на котором
Я погружался некогда на дно.
В кипящей бездне и метельном гуде,
Повсюду мне отчаянно везло.
Когда умру, придут чужие люди
И выкинут все это барахло.
И снова солнце освещает полки,
И я смотрю, проснувшись поутру,
На жизни разноцветные осколки,
Которую я вновь не собираю.

ПАМЯТИ ВАДИМА ШЕФНЕРА

Мы старые островитяне.

Вадим Шефнер

Над холодной невскою водой
Давняя мне вспомнилась беседа.
Невысокий, тихий и седой,
Он и вправду был похож на шведа.
За его сутулою спиной
Плыл наш остров в облике туманном,
Рядом с Петроградской стороной
И соседним островом Буяном.
Возвращаясь к прошлым временам,
Оценить сумеют ли потомки,
Книги, им оставленные нам,
Этот голос питерский негромкий?
На пороге перемен лихих,
Возле заболоченного устья,
Я его забытые стихи
Иногда припоминаю с грустью.

Мне они — лекарство от тоски.
Шли мы в жизни разными путями.
Не с того ли так они близки,
Что мы оба с ним островитяне?
И мерцает, близок и далек,
Остров наш, в закатной дымке тая,
Что от Стрелки биржевой пролегал
До песчаных мелей Голодая.

* * *

Покуда на Земле клокочут страсти,
Опасные для сердца и ума,
Поэт конфликтовать не должен с властью,
Поскольку власть воюет с ним сама.
Нет мира между властью и поэтом
Ни в наши дни, ни в прежние года.
Она его стремится сжить со света,
Поскольку он враждебен ей всегда.
Какое бы ни проявлял он рвенье
В лояльности, рассудку вопреки,
Всегда он у нее на подозренье,
Покуда не отбросит он коньки.
И если он пока что тише мыши,
То и тогда не верит власть ему,
Поскольку то, что завтра он напишет,
Сегодня не известно никому.
И даже если ей запродаст дар свой,
Он ей врагом останется навек,
Поскольку в несвободном государстве
Не должен жить свободный человек.

ПАМЯТИ ДАНИИЛА ГРАНИНА

Летний день, холодный, словно осень,
Петроградский опустевший кров.
Умер Гранин в девяносто восемь
У гранитных невских берегов.
Пережив отпущенные сроки,
На года оставшийся один,
Был он неизменно одиноким,
Питерский великий гражданин.
Жизнь свою прожив не без опаски, —
За спиной блокада и война,
Был он властью в старости обласкан —
Премии, квартиры, ордена.
Не убит на фронте, только ранен,
Избежав посадок и голгоф,
В девяносто восемь умер Гранин
У гранитных невских берегов.

Многое, увы, терпел он молча,
В чем винули прочие его.
Пробовал с волками выть по-волчьи,
Но не получилось у него.
Много раз, перед властями дерзко
Заявив протест очередной,
У него искали мы поддержку,
Укрываясь за его спиной.
Обернись назад и не печалься,
Время устремляется вперед.
Защищать наш город от начальства
Тяжелей, чем от немецких рот.
Темою для споров став заране,
Для любых писательских кругов,
В девяносто восемь умер Гранин
У гранитных невских берегов.
И того, возможно, не желая,
Мы с тобою, в затяжном бою,
Оказались на переднем крае,
У чужого века на краю.

* * *

О натруженные сваи
Бьет холодная волна.
Легкой жизни не бывает
Ни в какие времена.
Жизнь свою в конце дороги
Оглядев издалика,
Кто сказал бы вам в итоге,
Что была она легка?
Сколько жить бы ни осталось,
Неудачей обожжен,
Легкой участи под старость
Не ищи за рубежом.
Нас дорога столбовая
В край какой бы ни вела,
Легкой жизни не бывает, —
Жизнь повсюду тяжела.
Над безлюдною протокой
Кружит в небе воронье.
Только смерть бывает легкой,
Если это не вранье.

РАССКАЗЫ

ГОРГИЙ

Розги софистики. Утро седьмого скирофорииона (21 июня) четвертого года 92-й Олимпиады (408 г. до н. э.) началось на заднем дворе дома знаменитого софиста Горгия с порки его нерадивого ученика. Афины пробудились в то утро от вопля, которого розга извлекала из терзаемой плоти провинившегося студияозуса:

— Мы для чего тебя к нему посылали? — сердито спрашивал Горгий своего ученика, ловко орудуя розгой по его пятой точке. — Ты чего нам принес? Описание их оргий? Нас не интересует, сколько гетер было у них этой ночью! Нас интересует, о чем они там говорили... Шпионить — великое и очень деликатное искусство! — объяснял софист, другим ученикам, присутствовавшим при этом увлекательном учебном процессе. — Если вы не будете знать, о чем думает ваш противник, вы заведомо уступаете ему в стратегии и по незнанию совершаете ошибки в тактике... Учитесь добывать стратегически важную информацию даже и из навозной кучи, которая лежит возле дверей дома вашего врага... Учитесь! — Он нравоучительно потряс розгой. — Иначе жизнь сама вас будет учить, но уже более кровавыми средствами воспитания...

Истязаемый скулил, стиснув зубы, и проклинал тот день и час, когда отец отдал его в учение к этому садисту.

— Пороть студента, — многозначительно изрек Горгий, завершая свою задушевную экзекуцию, — первейшая обязанность всякого уважающего себя наставника. Иначе что это будет за учеба?!

Наказуемый, всхлипывая от боли, обещал более не тупить.

— Тупица! — в сердцах изрек софист. — Ну, как с такими работать?! Ты перевоспитанию не подлежишь! — вынес он ему окончательный и бесповоротный приговор. — Пошел с глаз вон и более здесь не появляйся...

Горгий был известный в Афинах учителем красноречия, которого все почитали схоластом (то есть учителем) мудрости. Дело его процветало. Богатые граждане славного города Афин охотно шли к нему в обучение и платили за это немалые деньги. Но с некоторых пор у него появился опасный соперник, конкурент. Некто по имени Сократ начал наводить тень на его плетень. Простой афинский каменщик — неотесанный мужлан. Ни с того ни с сего возомнил себя тоже мудрецом. Точнее, такovým провозгласили его некоторые сторонники. По его глубокому убеждению, бездарный стратег, но отменный болтун, сумевший переманить к себе уже некоторых его богатых клиентов. Опасаясь вообще остаться без своей состоятельной клиентуры, Горгий решил предпринять ряд контршагов.

Вот уже в который раз он подсылал к нему своих учеников, чтобы те подслушали и записали, о чем на своих посиделках болтают Сократ и его собутыльники,

и всякий раз терпел неудачу. Писать-то ученики его могли, а вот понять того, что они пишут, нет. На очереди был девятый лазутчик — девятнадцатилетний Аристокл, сын Аристона из царского рода кодридов. Все время экзекуции он стоял рядом, равнодушно взирая на происходящую порку. Даже не моргнул. Оно и понятно — спортсмен, готовится к Олимпиаде по кулачному бою. Парень крепкий и не из пугливых... Железные нервы, стальной характер...

«Мальчишка вроде бы с мозгами... — думал про него софист, исподволь все это время наблюдая за ним. — Если их, конечно, уже не отбили в кулачном бою в палестре...»

Он бросил на землю принесенный учеником папирус с записями прошедшей ночи в доме Алкивиада, где Сократ и его узкий круг единомышленников проводили свое очередное собрание, и безжалостно растоптал принесенную чушь ногами:

— Ну что, Аристокл Аристович!? — снисходительным тоном, приобняв его за плечо, обратился к юноше Горгий. — Твой теперь черед... Пойдешь ты. И запомни: нам нужно не описание яств их застолья, и не имена гетер, и сколько кто там выпил... Нам нужны их Идеи! Запомни — Идеи! — Палец софиста уперся в лоб юноши. — Повтори, что ты понял!

— Идеи! — повторил Аристокл и отправился к себе домой собираться на вечернее тайное задание.

Тайный агент софистики. Для исполнения своей особой миссии юноша нарядился в черный плащ, взял чернильницу, охакку папируса и секретный фонарь, без которого и сегодня не может обойтись ни один тайный агент. После этого он отправился в дом поэта-трагика Агафона, сына Тисамена, где в этот вечер должна была состояться очередная посиделка этого конкурирующего интеллектуального клуба.

Подкупив за медный грош домашнюю прислугу, он пробрался в ту залу, где намечался пир, и спрятался под массивный дубовый стол, на котором слуги обычно ставили яства, прежде чем их подавать гостям. С этой точки хорошо просматривались лежа, на которых обычно возлежали пирующие, и маленький банкетный столик, на котором уже стояли приготовленные фрукты и потиры (чаши). Поскольку слуги были им подкуплены, то удара в спину от них он не ожидал:

— Запишу идеи, а гетеры потом! — настраивал себя на конкретный деловой лад Аристокл, чувствуя, как его копчик начинает ныть в предчувствии скорой встречи с розгой софистики. Ему пришли на умы слова его схоларха: «Принесешь правильные идеи — тебя будут ожидать розы софистики, приволочешь глупость — розги схоластики».

Ждать пришлось недолго. Вскоре явились главные участники тайных для софистов собраний. Многих участников симпозиума (пира) он знал лично: Алкивиад, Аполлодор Фалерский, Феникс, сын Филиппа, сам хозяин дома и последний — Сократ. Был еще какой-то суетливый тип, похожий на шелудивую собаку, который, вбежав в залу, сразу же заглянул к нему под стол и затряс своей лохматой мордой.

— Кто ты и что тут делаешь?! — завопил он ему прямо в ухо и сам, получив от него в ответ щелчок по носу, завыл и отлетел куда-то в сторону.

Хамоватый подонок плюнул ему прямо в лицо и поспешил доносить Сократу о том, что очередной шпион Горгия опять сидит под заветным кухонным столом.

— Да пусть себе там сидит, — отмахнулся от него Сократ, кому он там мешает? Надо будет в следующий раз самого Горгия сюда пригласить, а то его соглядатаи бог знает что о нас пишут!

— Так что, может быть, нам пригласить его сюда за стол! — возмутился хам.

— Нет, пусть остается там, раз он сам себе выбрал такое место... Не будем создавать ему проблем. Ведь он сюда пришел не для отдыха, для работы... — Лохматый стал визжать и возмущаться. — Хорошо! — успокоил его Сократ. — Иди и покусай его...

— Он дерется! — пугливо возразил лохматый, почесывая свой ушибленный нос.

— Тогда сядь и заткнись... — велел ему Сократ. — А то поколочу тебя опять палкой... — и, обратившись к остальным, добавил: — Наши конкуренты пришли в отчаяние. Уже восьмого молодца розгами высекли за нерадивость. Я бы добавил ему и от себя. Ну, в самом деле, такую глупость о нас писать! — Аристокл увидел, как он бросил на пол свиток папируса, который утром гневно топтал его учитель-софист.

«Ничего ни от кого нельзя на этом свете утаить! — подумалось юноше. — Все всё равно узнают, но только не так, как это было на самом деле».

— Давайте поможем нашему сегодняшнему «слухачу» избежать обещанных ему розг, — предложил Сократ. — Будем говорить просто и медленно, чтобы он смог успеть за нами все записывать. Право, мне самому хочется, чтобы хоть кто-то хотя бы раз нас правильно записал... Итак, на чем мы остановились в прошлый раз?

Выяснилось, что вчера они остановились на кипрском вине, поэтому все скверно помнили о том, что они обсуждали.

— А я помню! — пристыдил их всех Сократ. — Потому что единственный среди вас никогда не пьянею.

— А я сегодня вообще пить не буду, — категорически заявил Аквивиад, — потому что еду завтра рано утром в Мегары для заключения важнейшей торговой сделки...

— Да, и я тоже не буду пить, — поддержал его трезвость и Феникс. — У меня завтра свадьба, и я должен быть у невесты свежим и без перегара...

— Отлично! — не стал их переубеждать Сократ. — Завтра нас всех, кроме Алквиада, ожидает еще и свадебный пир! А сегодня будем пить без вас двоих... Кстати, — обратился Сократ к Аристоклу, нагнувшись к нему, — это можно не записывать. Это еще не философия...

«Розы и розги». Аристокл в сердцах плюнул и начал поспешно вычеркивать первые строчки своих скрижалей.

— Итак, мы говорили о совершенстве и гармонии, — неторопливо начал Сократ. — О том, что мир совершенен, свидетельствуют сама гармония Космоса и совершенство наших богов... Совершенство есть то, в чем творчество достигает своего абсолюта, показав всем предел возможного, высшего качества, самое лучшее из лучшего. Кто стремится к совершенству, тот знает цену качеству...

Как добросовестный студент, Аристокл жадно ловил и скрупулезно записывал каждое его слово, стараясь ничего не пропустить и не напутать. Он заметил, что каждую четверть часа докладчик останавливал свою речь и с возгласом «Хорошие люди посидят, посидят, да и выпьют» предлагал какой-нибудь тост. И они вкушали вино, даже и те, кто вначале обещал вести совершенно трезвый вечерний образ жизни.

— Э, так дело не пойдет! — заметив одну трезвую голову в их комнате, засмеялся Сократ. — Налейте и этому писателю! — Он кивнул в сторону студента. — А то это будет несправедливо. Эй ты, лохматый! — обратился он к притихшему было хаму. — Отнеси вина студенту... Быть писателем на трезвую голову в наш век невозможно... — по-доброму пошутил он.

Аристокл отхлебнул из поднесенной ему чаши вина и продолжил свои торопливые записи. Он уже понял, что «сократовский клуб» отличался дружелюбным настроением и каким-то своим тонким чувством юмора. Он уже знал, что никто за шпионаж тут бить ему его шпионскую морду не будет. Глоток вина придал ему силы, и он продолжил конспектировать материалы симпозиума.

«Если истина в вине, — параллельно думалось ему, — то это как раз именно тот самый случай. Философия вина состоит в том, чтобы своевременно принять этот допинг и вовремя остановиться от его злоупотребления, когда оно начинает

дурманить ум. Знай меру. Проклято не вино, а пьянство... — Писарь зевнул и почесал себе репу. — За такие каракули, — взглянул он на свою писанину, — меня должны на кол посадить...»

— Вино не виновато в том, что человек, не зная в нем меры, становится пьяницей, — продолжил Сократ. — Вино придумали боги, чтобы приблизить им к себе людей, ибо вино — частичный аналог их амброзии и нектара, а человек — частичный аналог самих богов, ведь они творили их по своему образу и подобию.

Мысль о грозящем наказании его плоти придала бодрость его духу: юноша надеялся напрячь ум, записать правильно все идеи и с победой вернуться к своему учителю.

«Так, ну и где же эти самые идеи? — Напряг он весь свой ум, пытаясь превратить его в интеллект. — Похоже, что они их от меня упорно скрывают».

Он тогда еще не знал, что стоящие Идеи рождаются в страшных муках творчества, но уже догадывался о том, что ворочать мозгами гораздо труднее, чем гириями в гимнастическом зале.

Все началось с того, что во время одной из тренировок он повредил себе плечо и тренер по кулачному бою сказал, что на его спортивной карьере олимпиец можно ставить жирный крест. Тогда Аристокл решил заняться филологией и прославиться на драматургическом поприще. Но старик Софокл, которому он показал свое первое сценическое произведение, изрек, что ему не хватает «правды жизни», и послал его пойти учиться к софистам. Методика последних была ясна и проста — плати за учебу, а за нерадивость — получай розги. Так что розы софистики изобильно перемешивались с розгами схоластики, о чем юному уму постоянно напоминала его пятая точка. И Аристокл понял, что выгодно быть софистом — получать деньги за порку дураков.

Два пути. Когда симпозиум перевалил за полночь, речь зашла о спорте и о предстоящих через десять дней (1 июля) 93-х Олимпийских играх, куда кое-кто из собравшихся намеревался поехать. Особенно всех интересовал панкратион (кулачный бой), в котором должен был принять участие гигант из Скотусса (Фессалия) по имени Полидам, по слухам, голыми руками убивший льва и во время сражения (из гуманных соображений) дравшийся без оружия.

«Такой может кому угодно и пасть порвать! — чуть было не воскликнул под столом тайный агент софистов, сам изрядно тренировавшийся в этом олимпийском виде спорта. — И что можно сделать с человеком, — обреченно добавил он к своим размышлениям, — который останавливает колесницы на полном ходу...»

— Мальчики! — услышал он голос вошедшей к ним в залу городской гетеры. — Хватит вам тут словоблудием заниматься. Пора заняться делом, — предложила она, сексуально скидывая с себя полупрозрачную тунику.

«Так! Я ею не занимаюсь! Она мне не нужна! — сам себе напоминал Аристокл, стараясь даже не глядеть в ее сторону. — Бордель, как пить дать, бордель!!!» — Все-таки не удержавшись и взглянув на нее, покачал он головой.

— Опять ты за свое паскудство! — поморщился Сократ. — Отдыхай, нам сегодня не до оргий... Мы заняты любовью с мудростью...

— Да стоит мне бедрами повести или грудями поманить, как все же тотчас пойдут за мной! — высокомерно возразила ему продажная красавица.

— Все так... — согласился Сократ. — Но только ты поведешь их по легкому пути, который ведет вниз, а я веду их по сложному пути, который ведет вверх... твой путь — путь грехопадения, мой путь — путь богоуподобления, ибо философы — друзья бога...

«А никак нельзя, — подумалось Аристоклу, — чтобы и вверх подняться, и вниз по-быстренькому сбегать...»

— Я предвосхищу ваш вопрос, как совместить одно с другим, — словно услышав его потаенные мысли, продолжал Сократ. — Пробовал... — честно признался философ. — И понял, что только великому мудрецу удастся совместить оба этих пути...

Какофония. Хлебнув вина, шпион софистики продолжил усердно скрипеть своим пером, уже более не вдаваясь в подробности текущей беседы. А наверху между тем разгорался ожесточенный спор, перерастая в самую настоящую какофонию. Все кричали, горячились и даже не стеснялись в выражениях. В ушах воцарился гул, в мозгах — хаос. Ум заходил за разум и со скрипом проворачивался, но интеллект из него все так и не вылезал. Аристокл зажмурился и подумал: «Куда это я попал?!»

— Помедленнее, пожалуйста! — вконец оборзев, обратился он к собравшимся в нарушение всех канонов шпионского этикета (при этом совершенно не замечая своего заплетающегося языка). — Я же записываю...

— В самом деле... — попытался уговорить спорящих Сократ. — Не будем превращать наш благородный симпозиум в банальную попойку! Вернемся лучше к сути и подведем предварительный итог. Иначе наш друг софист завтра вновь возьмется за розги, и в том уже будет наша вина. Я его завтра сам приглашу сюда, и посмотрим тогда, кого он будет пороть на другой день. Так выпьем же за мозоли истины! — предложил свой очередной тост Сократ. — У одних, как у нашего друга софиста, они образуются у заднего прохода в виде геморроя, у других, как у Пифагора — в мозгах, а у иных, как мы, в пузах от выпитого вина...

В продолжение последующих двух часов спорщики обсудили свое уже состоявшееся грехопадение с указанной выше гетерой и перспективу своего возрождения под чутким оком Сократа. А подъем к сияющим высотам разума всегда идет через спотыкание о простую житейскую глупость. Причем самого главного спорщика не было слышно, хотя Аристокл и видел, как он сидел, откинувшись на подушки, и снисходительно кивал всем говорящим. В конце концов спорщики чуть было не подрались и решили свалить всю вину на гетеру и с позором изгнать ее со своего философского собрания. Любовь к мудрости с помощью философии вина одолела их пристрастия к плотским наслаждениям.

— Стареем мы, братцы, стареем! — изрек кто-то из спорщиков. — А раньше бы мы этих гетер дюжинами за ночь одолевали! Эх, было ведь времечко! Так выпьем же за...

— А мне сейчас дивный сон приснился — пробудившись, поспешил поделиться своими впечатлениями с друзьями Сократ. — Будто я держу на коленях лебеденка, а тот вдруг покрылся перьями и взлетел с дивным криком...

В ответ ему раздался дружный храп его собеседников. Событыльники мирно спали, утомленные вином и отягощенные мудростью философского наставления своего идейного предводителя.

— Слабаки! — снисходительно отругал их Сократ. — Вот я, сколько бы ни пил, никогда не пьянею... Однако уже светает. Эй ты, как тебя! — обратился он к Аристоклу. — Вылезай из своего убежища и дай мне почитать, что ты там нацарапал...

Софистика роз. Шпион послушно вылез из своего убежища и протянул старику заляпаный кляксами папирус.

— Последние два часа трудно было что-либо разобрать! — словно оправдываясь за свои наброски, сказал он. — Стояла жуткая какофония.

— Оно и понятно, что записывать пьяный бред, когда кормчий уснул... — снисходительно улыбнулся ему в ответ Сократ. — Ты, это, сынок, выбрось... — указав на его записки, посоветовал он ему. — Не позорься. А лучше ступай к Горгию и приготовь свой зад для порки...

— Я к нему больше не вернусь. — решил Аристокл.

— Это еще почему?

— В твоих словах больше правды, чем в его софистике Истин. А самое главное я так и не понял, в чем же состоит суть Идеи, о которой говорилось на прошлом симпозиуме...

— Друг мой, — покровительственным тоном обратился к нему Сократ, наливая сам себе неразбавленного вина. — Идеи сами по себе к человеку не приходят. Случайно забредшие, они сами вскоре понимают, что не туда зашли, и покидают то место, ища более для себя подходящее... Садись и пиши. Будет потом что схолярху показать, — велел ему классик, кладя перед ним чистый клочок папируса. — Итак, пиши... Идея — суть нашего бытия. Она есть логически завершенная и содержащая Истину мысль, которая способна не просто к дальнейшему своему развитию (само-совершенствованию), но и к воплощению в вещах, делах и иных идеях. Идеи — дети Логоса. Идеи не могут быть ни прилагательными, ни суффиксами, ни глаголами, а лишь существительными, ибо они отражают сущность бытия. Идеи руководят нами, как кормчий кораблем. Внутри каждого из нас находится своя система знаний, которая является суммой конкретных идей, имеющих для нас определенную ценность. Они записываются в нашем логосе на скрижалях его жизни.

Выяснилось, что Сократ скептически относится к всезнайству и считает дилетантов носителями заблуждения, «кузнечиками».

— Я понимаю софистов, — признался он. — Они считают себя кончеными мудрецами. Но что такое завершенная мудрость, как не замаскированная глупость, возомнившая себя совершенным знанием?! Вот я точно знаю, что ничего не знаю, а некоторые не знают даже и этого. Софисты точно знают, что все знают. И это уже их диагноз. Знать все — значит быть образованным дилетантом. «Все» — это приблизительно сколько? Есть идея мудрости и демон глупости. Самые главные софисты — это не старики, а дети, ибо они совсем недавно созерцали мир Идей и пытаются своим криком всем об этом рассказать. Взрослые же не разбирая их крика, ничего не понимают и думают, что имеют полное право их поучать.

Аристокл вспомнил своего недавно народившегося племянника. Действительно — самое крикливое существо на свете, от воплей которого у него постоянно болела голова и ныли нервы коренных зубов.

«Такой достанет кого угодно... — подумалось ему. — Вот кого мне надо было слушать, а не этого старикашку Горгия...»

— Э! За нашим разговором мы и не заметили, как уже зорька заиграла на востоке! — спохватился Сократ. — У нас, кажется, кто-то сегодня должен был ехать в Мегары, — вспомнил он.

— Совершенно верно... — согласился с ним Аристокл. — Я это тоже помню. Я даже записал кто, куда и зачем, но вы, учитель, мои все записи порвали.

— Э! Зачем они тебе, когда у тебя есть я?! Помоги мне этого борова поднять... — попросил Сократ юношу. — Это Феникс, сын Филиппа. У него сегодня свадьба, на которую он едет в Мегары... Слуги, видать уже давно его ожидают у дверей дома. По-моему другу успеть на свое счастье. Иначе он нам этого опоздания вовек не простит.

Добряки. Аристокл взвалил себе на плечи завернутое в плащ бесчувственное тело Феникса и отнес его к дверям, где действительно его уже ждали слуги и лошади.

— Выпьем за сделанное доброе дело! — предложил Сократ, когда он вернулся в дом. — Хорошо начинать день с доброго дела.

— Так сделай добро и для меня! — Объявился из забвения лохматый хам. — Возьми меня к себе в ученики. Я буду тебе верным псом...

— Вот приставучий! — поморщился Сократ. — Уже неделю бегаешь за мной, как собачонка, и не даешь проходу... У тебя есть деньги? — обратился он к Аристоклу. Тот

утвердительно кивнул головой, доставая откуда-то кошелек. — Отдай ему, и пусть он убирается к софистам. За эти деньги они тебя научат всему, что ты пожелаешь.

Нищий взял кошелек, облаял на прощание благим матом своих благодетелей и, прихватив незаметно с собой папирусы Аристокла, выбежал прочь из дому.

— Вот собака («киник»)! — выругался Аристокл. — Киник, ей-ей, киник!

— А у тебя широкая душа! — похвалил его Сократ. — Взять и вот так первому встречному отдать свои деньги, особенно такому, как этот позорный пес из Синопа. Ты в курсе, что он у себя на родине сидел в тюрьме за фальшивомонетчество, объявив, что это боги посоветовали ему (казенному меняле) произвести переоценку всех его ценностей. — Сократ рассмеялся. — Глупец! Он считает главной ценностью деньги... Так выпьем же за творчество! — предложил мудрец. — А ты все-таки сходи к своему софисту, разберись с ним. А если действительно надумал быть с нами, то сегодня приходи на свадьбу Феникса, мы у него будем проводить следующий наш симпозиум. Там об идеях и поговорим...

Аристокл проводил до дома своего нового знакомого, который по дороге успел еще раз на ходу уснуть, проснуться и рассказать анекдот о Гомере и Гераклите. У дверей его хижины их грозою встретила его склочная жена со скалкой в руках:

— Явился, голубчик! Опять напился как скотина! — Скалкой огрела она мужа. — В доме ни крошки, а он ходит по гостям!

— Это моя Ксантиппа — Успел представить Аристоклу свою супружницу философ. — Самая вздорная баба на свете...

— Так разведись!

— Нельзя. Она воспитывает мою гордость. Именно она и сделала меня философом.

— Лучше бы ты пошел в софисты! — продолжая ворчать женщина, затаскивая мужа в дом. — Те хоть деньги домой приносят, а ты прешь один перегар...

— Так качественный перегар — воспоминание о благородном напитке... — попробовал отшутиться философ. Но был бит «железным аргументом» кухонной скалки.

По дороге домой у городского рынка Аристокл столкнулся с Горгием, вокруг которого суетливо прыгал лохматый хам (Киник) и что-то нашептывал ему на ухо.

— А! Вот ты где! — С кулаками набросился на Аристокла софист. — Я зачем тебя туда посылал? А ты с ним вино, значит, пил! Снюхался, значит! Предатель!

Аристокл выдохнул из себя дух гнева, схватил софиста за грудки и, приподняв, засунул его вниз головой в ближайшую навозную кучу. Тот даже и охнуть не успел. Зато взвизгнул от ужаса Киник и присел, словно всегда здесь и сидел.

— Все! Решено! — решил Аристокл. — С этой навозной кучей покончено. Буду заниматься философией вина! — Он расправил свои могучие плечи. — Идея и душе полезно, и пищеварение улучшает...

«Философия правильного вина». И он решительно направился к себе домой с твердым намерением как следует выспаться и со свежей головой явиться на следующий сократический симпозиум, дабы там набраться истинного вина его философской мудрости.

«Философия вина, — засыпая, сладостно размышлял он, — основана на чувстве меры, дающей нам правильный средний путь. Пить надо, зная меру. Без этого ты просто зверь, имеющий память. Вот Киник ни в чем меры не знает. Поэтому его собакой и кличут... Вино, как считали наши древние предки, дар богов. — продолжил он уже свои рассуждения во сне. — У Сократа как пьяницы с многолетним стажем была своя формула любви к мудрости. На ум пришли его слова, произнесенные в недавней беседе: „Вино — прекрасный реактив. В нем обнаруживается весь человек: кто скот, тот в вине станет совершенной скотиной, а кто человек, тот станет выше человека“. Многолетний опыт философского употребления вина делает его мне-

ние особенно авторитетным. Это целая диалектика вина: одно и то же вино может быть правильным и неправильным напитком. Все зависит от того, как и зачем мы его употребляем. Синопская собака лакает вино без меры, лишь бы напиться вусмерть. Любовь к мудрости касается лишь тех, кто знает меру. У каждого она своя. Но знать свою меру и следовать ей — первейший долг всякого, кто подступает к мудрости с любовью...»

Уже в глубокой фазе сна он вспомнил тосты, произносимые его новым знакомцем, и они у него сами собой улеглись в некую систему:

- (1) Первый тост: За нас, за Любовь (Мы есть Любовь).
- (2) За тех, кто знает истинную цену вина.
- (3) За Сократа — мудреца вина, открывшего нам его философскую силу.
- (4) За Идею (при этом во время пира необходимо родить какую-либо идею).
- (5) За Истину (куда же без нее, родимой?!).
- (6) За Красоту (она спасает мир).
- (7) За Добро (оно оберегает красоту от поругания).
- (8) За Совесть (дабы ее никогда не пропить).
- (9) За Творчество (чтобы оно никогда не иссякало).
- (10) За Абсолют (качество/элитность).
- (11) За детей (как возврат к истокам, то есть к нам, а мы есть Любовь).

— Ну... да... При такой постановке вопроса, — сделал вывод юноша, — мы как нация никогда не сопьемся. Главное — соблюдать философский подход. Этот перечень тостов поддерживает пир в философском русле и не позволяет ему скатиться до уровня банального застолья...

Р. С. История эта завершается тем, что софист Горгий, прогнав всех своих учеников, у себя на заднем дворе хлестал сам себя розгами, а ушедший от Сократа Киник туповато подавал ему новые розги, когда ломались старые, и нудно напрашивался к нему в ученики...

ВИСЕЛЬНИКИ СТРАШНОГО СУДА

В нашем мире нет совершенства. Даже самая раскрепасная из принцесс иногда пукает и регулярно ходит в туалет. Но в отличие от таких принцесс он был идеальным правителем — совершенным диктатором. Он — вождь всех времен и народов! Отец Отечества! Генералиссимус и гений. Святая икона современности! В этом никто, кроме него самого, в его стране давно уже не сомневался. У него же сомнения возникали всякий раз, когда он сталкивался с совестью. Поэтому он старался не замечать ее, и с годами она все реже и реже стала ему о себе напоминать. Когда совесть поняла, что ей до него не достучаться, она прибегла к хитрости — стала являться ему во сне. Он не был суеверным человеком. Сон разума ослабеваешь вожжи, которыми диктатор сдерживает власть совести.

То, что ему примерещилось в тот раз во сне, явилось ему уже под самое утро. Явилось и, как железные клещи, схватило за горло, затруднив дыхание.

Ему привиделся горящий Берлин, и гигантское пламя, словно красный стяг победы, колыхался над руинами поверженной нацистской столицы. На его голове возникла тяжелая шапка Мономаха, и Пушкин голосом Бориса Годунова бросил ему в лицо упрек: «Ну, что? Тяжела все-таки шапка Мономаха?!» — «Ой, как тяжела!» — застонала прибитая грузом абсолютной власти его разума раздавленная им совесть. Горящие руины Берлина рушились и превращались в кровавый прах — то, что для одних статистика, для других — трагедия.

Шапка медленно сползла по его лицу и обернулась удавкой, тугая петля которой обвилась вокруг его горла и сдавила его. Он всем телом ощутил, как повис на ней и как грехи тяжелыми, многопудовыми гирями обрушались на его больные ноги, растягивая их до самой могилы.

Вися над могилой, он болтался теперь в петле истории, не в силах что-либо сделать. Ужас, животный ужас охватил все его диктаторское нутро. Ведь и диктаторам тоже надо когда-то кого-нибудь бояться! Мрак отчаяния заглянул ему в душу и нашел там притаившийся ужас одиночества.

— Но нет! Я не одинок! — Мелькнула в его мозгу спасительная мысль. — Кто это тут рядом болтается в такой же петле и брыкает ножками? — Он попытался разглядеть крысиную соседскую морду и не смог. Тот сам проявил себя и обозвался всем ненавистным и до рвоты противным именем: «Гитлер»!

— И ты здесь!

— Да, куда ж я без тебя?

— Что? Неужто ты наконец-то сдох?! Ни разу еще мне не снился! — догадался первый висельник.

— Да, сегодня... Можно сказать, только что... Вот решил первым тебя навестить... Ты виноват! Ты — мой убийца! Но в аду мы будем вместе болтаться в геенне огненной.

— Тогда не скучай... Подожди, и мой черед не за горами... А это кто там внизу копошится возле кострища и дрова подкладывает? — Разглядел во тьме сновидения еще одну фигуру диктатор. — Ба! Уинстон! И ты здесь, хряк пузатый!

— Я же говорю, все здесь будем, только одни в виде «мяса», другие в виде «поваров»... — напомнила ему берлинская крыса.

В висках у диктатора болезненно застучала неприятная идея: «Что делает совесть с человеком?! Она делает из него человека...»

Нацист высвободил шею из петли и проворно нырнул в какую-то крысиную нору.

«Меня хочет подставить! — догадался первый висельник. — Хочет избежать наказания! Не выйдет!» — Он схватил убегающего за хвост и подтащил к себе. — Врешь! Не уйдешь! — повторил он уже для него, обвиняя его длинный хвост вокруг его же крысиного горла. — Куда? Вместе грешили, висеть теперь вместе тоже будем...

— Ты старше, ты и главней! — заверещал трусливо крысеныш. — Я с тебя во всем брал пример! Наша с тобою свара для него спасение... — Обратил он его внимание на пузатого демона, уже раздувающего под ними адский огонь лжи «холодной войны». — Ты больше его бойся, а не меня. Я хотел тебя всего лишь убить, а он желает из тебя сделать политическую проститутку...

Диктатор пнул своим копытом по англосаксонскому темечку.

— А ведь дойч не брешет. Этот бес куда опаснее предыдущего...

У висельников одна петля истории, в которой они болтаются по воле уже не контролируемых ими историков. Петля одна, но шея у каждого ведь своя.

— Подрыгай ножками, — посоветовал нацистской крысе его красный собрат. — Может, полегчает... Единственное, что мы можем сделать, — посоветовал он нацисту, — так это нагадить сверху на плешь этого мерзавца.

Они машинально взглянули вниз и, не сговариваясь, начали на него, как только могли, гадить. Было весело. Оказывается, и повешенным можно, если захотеть, придумать себе весьма приятные развлечения.

— Хоть напоследок душу отвели! — признался берлинский весельчак. — А ему все нипочем. Ему дерьмо в глаза, а он говорит, что это утренняя роса... Вот у кого следовало учиться цинизму и лицемерию!

— И то дело... Столько дерьма еще друг на друга вылить предстоит... — согласился кремлевский висельник.

— Нет, ну как не крути, а виселица — это надежно! — Попробовал на прочность свою веревку главный нацист. — Виселица — это высоко. Вы только не подумайте меня превратно, что я прославляю виселицу... — Поправил он у себя на шее пеньковый галстук. — Вам, коммунякам, все равно, поскольку вы за равенство. А нам нацистам нет. Нам подавай все самое лучшее, ибо мы самые-пресамые. Согласитесь, коллега, — одно дело утонуть, захлебнувшись навозом на скотном дворе, и совсем другое дело быть повешенным, например, на арке Эйфелевой башне... Эйфелева башня — это красиво! Вы бывали в Париже? Нет! Очень, очень жаль. Рекомендую... А я вот бывал... На своих танках в нем катался... Так себе... Подыхать ради этой старой б... Я вас умоляю! Не стоит! У вас, случайно, нет Эйфелевой башни? — суеливо осведомился нацист у коммуниста. — А то этот скот, — он указал своим копытом вниз, — нас может утянуть на свой скотный двор... Лыбится! Я эту его улыбку знаю. Я его теперь терпеть не могу. Да все евреи мира во сто раз лучше его... Эх, и зачем я не повесился на Эйфелевой башне в сороковом году?

— Я бы тебя и на Спасской башне не повесил... — честно признался ему российский диктатор. — Мараться не хочется.

— Наш спор еще не окончен!

— А о чем мы с тобою спорили? Правильно — о вождизме. Кто главнее! После тебя я окончательно стал вождем всех времен и всех народов. Так что не спорь... Мы с тобой вошли в историю как создатели собственного рая и ада...

Спящего словно что-то толкнуло. Нервы. Он приоткрыл глаз:

«Что за дурь голову мутит? — с опаской подумал он, прислушиваясь к ночным шорохам. — Все нормально... — тут же он сам себя успокоил: — Продолжаем спать... Мы страна победившего соцреализма! Поэтому все эти сновидения — хиромантия буржуазной отрыжки... — скомандовал он самому себе. — Это совесть кошмарит мой разум... Спи, разум, спи... Совесть тебя не пробудит, и зверь из бездны не придет, потому что он сам меня боится. Он знает, что я с ним здесь сделаю, если он сюда зайдет по мою душу... Тот, кто стал земным богом, может уже „своих“ не опасаться...»

Недосказ лучше чем пересказ...

— Я имел такую власть, — признался нацист, потащив его обратно в бред сновидения, — что мог бы, наверное, при желании отменить закон всемирного тяготения... — Он беззаботно поболтал ногами, стряхивая с них прах земного бремени. — Да, абсолютная власть порождает ощущения того, что политик может все, даже жить, презирая законы гравитации...

— А я так и поступил, — скромно заметил кремлевский мечтатель-реалист. — У меня многие жили, под собою не чуя страны. Потому что жили с ощущением того, что живут над открытой бездной...

— Вы читали мою «Mein Kampf», эту великую историю моего успеха? — поинтересовался у него германский гость. — Вижу, что не читали. Так вот, когда я ее писал, то тоже находился словно в параллельной реальности. Эйнштейн хотя и еврей, но прав, наша реальность относительная. Законы геометрии можно менять в зависимости от политической целесообразности.

— Похоже, что так. Закон гравитации создавался точно не для нас. — Не стал ему на это даже и возражать красный диктатор. — Висельники это знают наверняка. Быть висельником даже неплохо — на все можно смотреть свысока и, как в случае с этим вонючим англосаксом, гадить на всех, уже не опасаясь уголовной ответственности. Мне нравится моя безответственность. Для меня это есть высшая форма свободы. Особенно свободы от совести...

— Вы правы. Совесть нам действительно ни к чему! Совесть — это ненужный груз, от которого следует своевременно избавляться тем, кто метит во власть. Власть

есть ложь одних о том, что они творят благо во имя всеобщего счастья, и вера других в то, что это счастье возможно. Тяжелее всего живется совестливому человеку, которому приходится постоянно спотыкаться об хаос грехов бессовестных людей. Аморализм всех против всех — вот что такое политика.

— Надо будет свой «Майн кампф» написать, — решил красный диктатор. — Особенно о том, как я в молодости царские банки громил. Вот времечко было! Нет, что ни говори, а политики, которые вышли из грабителей, лучше тех, что пришли в нее из воров. Они гораздо более культурнее, что ли... Они гораздо более целостные натуры...

— А как быть тем, кто пришел в мир большой политики из мира искусства?

— Этих бездельников вообще следует расстреливать без суда и следствия на месте... Но больше всего мы должны опасаться философов. Эти могут любую глупость превратить в идеологию. Этих надо растворять в серной кислоте до молекулярного уровня.

Вот мы с вами — великие политические лидеры, высшие руководители своих держав, элита элиты, потому что можем эту самую элиту тасовать, как колоду карт, прекрасно зная, что эта крапленая колода собою представляет. Но большинство свято верит в то, что эта действительно элита, то есть самые лучшие и честно избранные. Для нас они дерьмо — мошенники, наиболее удачно забравшиеся во власть. Для народа — они небожители, оставившие на земле свои рога и копыта, чтобы честно служить своему народу.

Если бы не было совести, я был бы президентом мира. Вас бы назначил канцлером, а его, — он указал на истопника, все еще подкладывавшего дрова в воображаемый им костер, — даже сторожем не взял...

— Что? Не внушает доверия?

— Совершенно отмороженный тип. Думает, что он пуп земли, а по мне — он так и полная задница...

— Надо было мне все-таки вначале с ним разобраться, — посетовал нацист. — Ну, ничего, в следующий раз не ошибусь...

— Вы полагаете, что у вас будет «следующий раз»?

— А вы что, не верите в великую силу политической реинкарнации? Мы с вами, коллега, не просто из одного теста. Мы с вами есть единое целое великого и ужасного демона, имя которому «Власть». Бог придумал религию, чтобы исправить засевший в человеке грех, а дьявол дал ему политическую власть, чтобы он греховным могуществом своим никогда не достиг совершенства...

Бог создал святых, дьявол — политиков...

Какая-то мошка залетела диктатору в нос и, пропищав что-то противное, полезла куда-то в его внутренние органы.

— Тьфу, зараза! — Поморщил он нос. — Еще эти твари лезут не в свои дела...

Он присмотрелся. Вокруг них действительно носился какой-то странный рой. Повсюду шныряли какие-то странные существа, приглядевшись к которым первый висельник понял, что это самые настоящие ведьмы, устроившие вокруг них свой развеселый шабаш. Они догоняли совершенно нагих грешников и пронзали их тонкими острыми колышками, похожими на американские булавки.

«Гм, так вот откуда у америкосов пошла привычка в зубах ковыряться!» — невольно подумалось ему.

— Ты помнишь этих ведьм? — неожиданно спросила его коричневая берлинская крыса. — А они тебя узнали. Они нас помнили все это время. Они нас не забыли... Зря мы не послушались с тобой тогда Босха... Ой, как зря...

Первый висельник презрительно выплюнул забравшуюся в него «мошку», предвзвительно разжевав ее зубами.

— Я этих тварей всю свою сознательную жизнь травил и душил! — брезгливо изрек он с заметно усиленным кавказским акцентом.

Нацистская крыса озабоченно принялась:

— Ой, что-то серой изрядно пахнет!

— Да нам с тобой не до запаха сирени! Поздно, привыкай к сероводороду. У нас говорят, что в СССР его пруд пруди. На каждого русофоба своя припасена скважина...

— А что гуманисты нас адом пугают? Что нам ада бояться? Там ведь все свои. Все бесы служили или в СС, или в НКВД. И как нам только удалось с тобою их всех там собрать?! Так что не беспокойся! Устроимся и там на тепленьком местечке, еще и не раз в геополитические шахматки черными втемную сыграем... Нам ли с тобою ада бояться? Все тут лживо, все тут по-нашему...

* * *

Он очнулся в холодном поту и поспешно протер глаза, стараясь сбросить с них следы кошмарного сновидения. Он спал всего лишь четверть часа. Можно сказать, даже не спал, а так слегка прикорнул. В последнее время ему вообще плохо спалось.

Бред из сна так сильно потоптался на его лице, что страх не отпускал его ни на секунду. Он сел на край постели, опустив босые ноги на холодный пол.

— Пора вставать... Сегодня первомайский парад. Народ должен меня видеть бодрым и радостным. — Он символически забросил опять свою совесть на дальнюю полку разума и подошел к столу. — Я все равно победитель: Гитлер капут! А с этим толстым, — он вспомнил беса в черном смокинге и с сигарой в зубах, который в его сновидении подкладывал дровишки в костер адских мук его совести, — мы еще повоюем. У него тоже совесть глубоко зарыта. Мы-то знаем, что два бессовестных политика договорятся вперед двух совестливых гуманистов...

На столе лежала принесенная накануне из музея оружейной палаты Московского Кремля шапка Мономаха, которую он намеревался примерить, но так и не решился этого над собою сделать.

— Я ее изнасиловал бы своей головой! — пришло ему невольно на ум. — Но если не я, то кто?! — Он усмехнулся. — Выйти сегодня на Мавзолей в ней, и пусть хоть одна собака тявкнет по этому поводу! Ведь никто не возразит! Все, напротив, будут меня упрекать в том, что я раньше этого не сделал! А после смерти еще и в Мавзолей рядом с этим картавым положат... Я — победитель, хоть и по локоть в крови! Победителей не судят, но победу их могут завистники отсудить... Ох... — тяжело вздохнул диктатор, вспоминая известные слова из «Горя от ума»: — «Минуй нас пуще всех печалей // И барский гнев, и барская любовь». Любовь холопов всегда будет удавкой на шее их барина. Большой угрозы, чем любовь холопов, для политиков не существует...

— А что этот выродок давеча нес насчет Босха? — вдруг вспомнил и еще больше нахмурился диктатор. — На что это он там намекал? — В комнате повисла тревожная пауза, и кровь напряженно застучала в его висках. — Босх! Знал я одного Босха, в пятнадцатом веке жил... — Он шаркающей старческой походкой подошел к стеллажу с книгами и начал что-то искать на ней своими цепкими глазами. — Ах вот он, старый развратник... Давно я не брал в руки его демонов. — Он вытащил увесистый фолиант по искусству эпохи европейского Возрождения и тяжело бросил его на стол. — Босх... — Начал он листать тяжелые страницы. — Когда-то я был им заморожен... Даже, помнится, в Вене как-то час простоял возле его «Страшного суда»... Вот она, эта его картина. — Вождь склонился над репродукцией и внимательно

но ее рассмотрел. Что-то знакомое и давно забытое начало постепенно всплывать из глубин его памяти и, проявляясь в ней, формироваться в некий единый образ.

И тут его вновь толкнула неведомая сила. Он вспомнил. Он вспомнил все, что произошло за тридцать два года до описанной нами ночи. Но эта была история словно из другого мира, из другой его жизни. Это была история о совершенно других людях, которых неведомая случайность свела у одной таинственной картины...

* * *

Вена, Академия изобразительных искусств, январь 1913 года.

В пустынных залах венской галереи у картины голландского мастера пятнадцатого века Иеронима Босха каждый день одиноко стоял молодой австрийский художник и завороченно не сводил с нее глаз. Картина «Страшного суда» притягивала и манила его своей грандиозной перспективой и необъятной мистической глубиной.

Каждый день он стоял один лицом перед бездной и наслаждался своим экзистенциальным одиночеством. Но вот в тот день из темной глубины коридоров послышалась шаркающая каторжная походка. Художник обернулся, надеясь увидеть старого зрителя, но вместо него он увидел молодого мужчину лет тридцати с роскошными черными усами и такой же густой шевелюрой волос. Незнакомец приблизился к картине и, словно не замечая его присутствия, тоже впился в нее глазами. Кем был этот чернявый незнакомец? Как выяснилось чуть позже — революционером из России, романтиком с большой дороги. Он ощущал себя бунтарем и писателем и решил пройтись по Вене в будний день, чтобы размять свои затекшие после долгой работы кости. Два месяца он корпел над рукописью своей первой научной статьи, и вот сегодня — долгожданная свобода! Он ее завершил и мог теперь взглянуть на мир своим освобожденным взором.

В первый раз взглянув на картину, «русский» в страхе перекрестился.

— Ну, надо же! Страх Божий!

— Ты что?! — осуждающе зашипел на него австрияк. — Бога же нет! Он умер! Ты что, Ницше не читал?

— И в самом деле! Что это я?! — сам пристыдил себя пришелец. — Прости! Не буду больше. Это было в последний раз... А Ницше вашего читал... Мудрый профессор... Наши его тоже многие уважают. — Австриец снисходительно ему улыбнулся в ответ. — Слышал о нашем пролетарском писателе Максе Горьком? Так вот, даже из-за него стрелялся... А сейчас усы отпустил точь-в-точь как у него...

Пролетарских писателей австриец не читал, но на почве общей любви к Ницше признал в чужаке своего. Они заговорили и познакомились.

— Здесь собраны все сокровища мира, — пояснил приезжему австрияк, — но самое главное — вот эта картина. Она одна стоит всех! Но эта суперэлитарность открывается только для посвященных. Созерцая ее, ты нутром ощущаешь боль нашего падшего мира! Пойми, «русский», последние столетия мы живем в эпоху заката Европы, и ныне наступает его пик... Европа больна. Европа обречена. Европу надо спасти. И спасти ее придется нам. Если не мы, то кто? Мы — последняя надежда Европы. Мы погибнем, погибнет и Европа... Глядя на Босха, ты ощущаешь, как бесы живьем сдирают с тебя кожу своими раскаленными клещами... В суете городов ты этого не поймешь и не ощутишь... А здесь, только здесь ты один на один с неизбежностью... Ты почувствуешь ход истории лишь тогда, когда вся сталь ада будет у тебя торчать в зад!

— Ты прав, Ад-Ольф! — вынужденно согласился тот, вздрогнув при упоминании слова «стали». Он взглянул на торчащую у него из кармана только что написанную

рукопись под названием «Национальный вопрос и социал-демократия» и подумал: «И зачем я только подписался этим новым псевдонимом? Этот адский Ольф попал в самую точку...» — и, поборов в себе робость, обратился к собеседнику: — Ты, Алоизович, специалист по этим картинкам... Объясни тогда, зачем ты, атеист, стоишь и разглядываешь всю эту лабуду?

Австриец тяжело вздохнул и развел руками:

— Смотри сам... Здесь все давно, до нас написано...

Перед ними был знаменитый триптих Босха «Страшный суд». Картина словно была энергией. Все верили, что ад и рай именно такие, какими их увидел и изобразил живописец. А реально то, во что верит человек...

— Для меня эта картина — окно в другое измерение... — признался австриец и начал с увлечением рассказывать о тайных смыслах живописи великого голландского мистика. Оказалось, что этих смыслов в нем как листьев в капусте.

— Взгляни, и ты узришь все сам... — Начал экскурсовод свой поход по воображаемой действительности. — На левой створке триптиха изображена история Рая — рождение Адама и Евы, их грехопадение и изгнание из Рая. Но я вот о чем думаю, дьявол соблазнил человека в Раю и вместе с другими падшими ангелами был тоже изгнан из райских кущ сюда, на землю. Значит, он ушел из Рая вместе с человеком и продолжает сопровождать его род здесь, на земле, и пункт назначения к которому он нас всех ведет — это ад... На правой створки изображен ад, в котором пребывает большая и не самая лучшая часть человечества. Чудовищные ведьмы-дьяволицы убийц поджаривают на сковороде, скупцов запекают в очаге, гневливых, будто мясные туши, подвешивают на крюках... И всюду обжигающий адский пламень, стелания и скрежет бесовских зубов. Обрати внимание, — продолжал самозабвенно рассуждать о таинствах искусства молодой художник, — сколько грешников в аду и праведников в Раю. Райские пущи пустынно, а адские копи забиты. Рай пустынен потому, что после изгнания из него Адамы и Евы в нем некому оказалось жить. Отбор во святые слишком строг, тогда как во грешники — добро пожаловать всем, кому не лень! Праведники лишь приближаются к нему, — он указал на рой слабо различимых фигур, размещенных художником сверху картины «Рая», — но еще не в нем. Кучка праведников против толпы грешников. Праведниками правит Господь, грешниками управляют их грехи... Но эта кучка не просто противостоит этой массе, но и одерживает над ними победу. Организованные единицы всегда сильнее неорганизованных масс большинства.

Австрияк рассказывал взахлеб, и по всему было видно, что эта новая для него роль оратора-экскурсовода доставляет ему неопишное удовольствие. В какой-то момент ему даже показалось, что он впал в своего рода экстаз. Тогда он закатил в испуге глаза к потолку и начал отрывисто жестикулировать руками.

— Во дает! — сочувственно покачал головой гость из далекой России. — Я так никогда не смогу...

— Но самое главное не в этом... — вдруг уж совсем разоткровенничался художник. — Самое главное, как научиться руководить этой толпой грешников, раз ты сам не в состоянии стать праведником... Необходимо овладеть искусством манипуляции толпой и тогда... Вы читали труды французских психологов Гюстава Лебона и Габриэля Тарда? Нет? Рекомендую, коллега, рекомендую! Вот где вся тайна власти над толпой! Вот где, смысл бытия высокого политического идеала!

Он еще многое чего ему тогда наговорил. Половину слов усатый гость из России так тогда и не понял. Да это и не нужно было ему понимать. Главное, что он увидел снова ад, о котором после того, как ушел из семинарии, больше не вспоминал и понял, что их действительность недалеко ушла от тех его мистических реальностей.

«Все, что было попами обещано в аду как вечные муки, уже человек творит на земле... — невольно подумалось ему. — Дьявол действительно готовит нас к наступлению его реальности... Раз мы режем и грабим друг друга, значит, мы осуществляем его план... Но почему тогда от нас отвернулся Бог?»

Художник еще долго рассуждал о Ницше и Босхе, убеждая его пойти с ним сегодня вечером в оперу на Вагнера. Но у «русского» не оказалось, ни времени, ни денег, и они расстались добрыми друзьями, договорившись встретиться завтра снова. И как знать, как бы сложились их дальнейшие судьбы и каким путем дальше пошел закат Европы, если бы на следующий день усатый «русский» не был срочно вызван телеграммой в Петербург и не отбыл вечерним поездом навстречу своей революционной судьбе...

* * *

Эпилог.

Красный диктатор оцепенело сидел и не мог подняться с дивана. Раскрытая книга валялась сброшенной со стола на полу и картины Страшного суда сами лезли теперь в его мозг.

— Мы, оказывается, еще тогда были уже приговорены и повешены, — бурчал он себе под нос, то и дело прикрывая воспаленные от бесконечной бессонницы глаза. — Нам вынесла приговор эта самая картина. Это мы на ней... Это нас ведьмы гоняют и тиранят... А ведь я сдержал данное ему тогда обещание... — признался самому себе вождь всех времен и народов. — Ведь я с того раза больше ни разу не перекрестился... Быть может, именно поэтому мне не дается эта шапка... — Он вновь взглянул на лежащую на столе шапку Мономаха. — Есть кое-что, что и мне не подвластно... — грустно признался он. — Трудно быть святым, а еще труднее выдавать своего демона за святого...

А за окнами был уже праздничный Первомай.

Шабаш ведьм из прошлого прошел. Наступал другой...

ТРУТЕНЬ

Профессор Охаяси был в отчаянии, граничащем с начинающейся в его душе паникой. Оставалось двадцать минут до начала лекции, а его дрон-двойник оказался неисправленным. Он беспомощно валялся в кресле и не подавал никаких признаков своей электронной жизни. Вышел из строя в самый неподходящий момент. И, как назло, под рукой не оказалось инструкции по его ремонту.

— Вот сволочь! Нашел когда ломаться!! И кто только в министерстве придумал эту дрянь!!! — в сердцах ругался док, пытаясь судорожно что-то починить в вышедшем из строя агрегате. — Как он не вовремя навернулся! Когда не надо — доставал своими глупыми вопросами, а когда надо — взял да и сдох... Проклятие! Я с ума сойду от такого научно-технического прогресса!

Два года назад Министерство образования и науки Японии ввело новое правило: отныне лекции в университетах читать должны не сами профессора, а их роботы-двойники. Ученые лишь только оттачивали текст лекции и обновляли научные данные. Всю пыльную техническую работу в аудитории выполняют за них роботы-тчецы. Удобно, экономично и выгодно с точки зрения сбережения интеллектуальных сил. Абсолютная оптимизация учебного процесса, в духе философии Дао Ту-

ота. Предполагалось, что освободившееся время преподаватель может потратить на новые научные изобретения и духовное самосовершенствование. Эксперимент уже два учебных сезона работал в ведущих университетах страны и начал приносить обнадеживающие результаты. Но были, как вот только что выяснилось, и некоторые неприятные форс-мажорные обстоятельства.

Обычно за исправностью робота-дрона следил его ассистент Кобаяси. Но профессор сам накануне отпустил его на научную конференцию в Новосибирск и теперь не знал, когда тот вернется из заснеженной России. Все, как всегда, не вовремя, и все, как всегда, некстати. Не просто «ай-ай-ай», а «ух ты, е прст!» Короче — настало время паники, и причем самой ужасной паники.

— Что делать? Что делать!! — то и дело в отчаянии восклицал ученый, чувствуя, как безвозвратно тают секунды убегающих от него минут. — Декан Ямамото меня сейчас порвет, когда узнает о том, что я сорвал занятие! Он это умеет! Он это любит! — Пришел он уже в полное замешательство, чувствуя, как гены самурая потянули его руку к висевшему на стене ритуальному мечу катана. — Нет, это не выход... — Тут же отдернуло его руку чувство самосохранения. — Видать, придется самому идти читать лекцию... — ужаснулся он. — Авось никто не заметит... Боги! — взмолился синтоист. — За что мне такое наказание?! Я уже и забыл, как это раньше делал!

Он обреченно взглянул в бесстрастное лицо робота и успел отметить, что два года назад, когда с него делали точную копию для него, он выглядел значительно моложе и был значительно свежее.

— Вот что годы с человеком делают... — В сердцах покачал головой профессор, судорожно собирая на столе какие-то бумаги.

Счастливый мир успешного ученого рушился теперь на его же собственных глазах. Комфортная жизнь на диване трагически оборвалась банальной технической поломкой. Пришлось идти на растерзание студентам. А Охаяси уже успел действительно позабыть, как это делается. Его охватил тот самый трем, который он испытывал, когда двадцать лет назад впервые вошел в студенческую аудиторию на свою первую лекцию. И вот опять все сызнова. И как это было трудно заставить себя вновь встать за кафедру! Всегда приходится себя ломать, когда по принуждению возвращаемся к старому.

Он не помнил, как вошел в аудиторию. На студентов боялся даже взглянуть. После двухлетнего перерыва чтения лекций ему приходилось теперь ломать себя через колено. А раньше он просто парил мыслью по лекторской зале, купаясь в лучах своей научной славы, исходящих из широко раскрытых глаз его благодарных слушателей. Теперь он не мог и с места сдвинуться. Встав за кафедру, он обнял ее двумя руками и больше не выпускал из своих объятий. И этот «спасательный круг» придал ему силы, и он кое-как начал выкарабкиваться из трясины несчастья.

По существующей в университете традиции сидящая перед ним аудитория студентов делилась на три разряда: на первых рядах сидели патологические «отличники», по центру — «хорошисты-пофигисты» и «троечники», а на задних рядах — безнадёжные «тунеядцы-двоечники».

Охаяси собрал в единый кулак свою волю и начал по памяти читать давно отработанный им материал. Не все выходило гладко, но для сложившейся патовой ситуации это было даже неплохо. Не хватало только уверенности. В какой-то неловкий момент его память дала осечку, и он замялся, и он «споткнулся». Мысль его оборвалась на полупhrазе, память беспомощно повисла на обрывках информации. Студенты только этого и ждали. Они никогда не прощают своим мучителям подобные слабости.

— Все... Завис... — слышалось откуда-то из аудитории.
— Мне он еще в прошлый раз показался дефектным... — подхватил второй голос.
— Не нужно было тыкать в него отверткой! — вынес кто-то третий суровый приговор. — Опять контакты отошли...

Лектор взглянул в ту сторону, откуда доносились эти гнусные голоса. Трое наглых очкариков-отличников с претензиями на гениальность уже тянули к нему свои руки, намереваясь с ним что-то сделать. Профессор вопросительно взглянул на аудиторию — она никак на это не реагировала. На средних рядах «хорошисты» распивали пиво и играли в покер, на задних рядах бравые самураи бесцеремонно тискали какую-то самурайку, настойчиво склоняя ее к групповому сексу. Спасения не было — «отличники» грозили его распотрошить на запчасти и выкинуть как устаревшую модель на свалку технической истории. Профессору стало хреновато...

Медлить было нельзя, тем более что кто-то из «отличников» вместо отвертки достал уже вакидзаси, намереваясь им что-то в нем вскрывать и отвинчивать.

— Банзай! Отставить! — неожиданно сам для себя скомандовал Охаяси, и студенты невольно испуганно отпрянули назад.

Профессорский мозг начал судорожно концентрировать мысли, ища правильный вариант поведения. Он вспомнил все, что знал до этого. Ну, почти все... Знание вернулось к нему через испуг, и он выдал им все, что знал. Публика была шокирована.

— Его все равно надо отрегулировать... — не унимался один из отличников. — Видите, как он спешит, ничего нельзя толком разобрать...

— Сейчас отформатируем, как новенький будет! — пообещал самый умный, решив «взбодрить» лектора электрическим зарядом из соседней розетки.

Профессор схватил его за руки и отобрал у него инструмент.

— Если не угомонишься, ублюдок, я сам тебя порешу! — сурово изрек он ему в лицо, изобразив гримасу ярости и криминальной решимости.

— Роботы не должны угрожать жизни человека! — запротестовал тот, вспомнив один из основополагающих законов робототехники. — Это незаконно!

— Человеком надо еще стать! — парировал док его довод. — А вы ведете себя как варвары, на которых не распространяется ни один из существующих научных законов, потому что варвары живут вне поля их действия... Если не хочешь, — пригрозил он смутьяну, — чтобы я лишил тебя статуса человека, сядь на свое место и заткнись...

— Он слетел с катушек! — завопил другой отличник. — Его нужно срочно утилизировать! Он стал опасен для человечества!

Охаяси грязно выругался и принял стойку из конфу обороняющегося богомола.

Пока в лекционной аудитории происходили описанные нами события, в кабинет отбывшего на растерзание студентов профессора вошел декан их факультета Ямамото и предложил сидящему в креслу дрону выпить sake. Робот никак не отреагировал, хотя должен был бы это сделать. Декан повторил свое предложение. Дрон молчал. Декан озабоченно пощупал ему пульс. Его на месте не было.

— Тьфу ты! — выругался декан. — Опять его с роботом перепутал! А ты чего тут расселся! — крикнул он на умную машину. — Иди работать! Время пришло! — И он бесцеремонно пнул его ногой в бок.

Робот очнулся, словно он о чем-то напряженно все это время размышлял, и, пожелав здоровья своему высокому начальству, послушно отправился выполнять свой профессиональный долг.

Именно в это время косивший под него профессор пытался утихомирить своих взбунтовавшихся студентов-отличников, на все лады обсуждавших его конструктивные недоработки. Доводы его были красноречивы, но не убедительны.

Неожиданно лектор запнулся и посмотрел туда, куда устремились все взгляды студентов его аудитории. В дверях стоял робот и туповато глядел на него.

«Сам починился...» — успела промелькнуть в его мозгу первая догадка.

— Самозванец! — завопил неожиданно робот, указывая пальцем на Охаяси. — Держи вора!

Студенческая аудитория недоброжелательно взглянула на Охаяси, почему-то дружно перейдя на сторону его дрона.

— Ах, он еще и не наш! — воскликнул самый продвинутый отличник. — Шпион! К нам его подослали!

Профессор понял, что пора уносить ноги. Он вскочил на подоконник раскрытого окна и решительно ринулся вниз (хорошо, что аудитория была на первом, а не на последнем этаже их университета).

— Сам дурак! — успел он бросить в лицо роботу, скрываясь в кустах зелени.

Аудитория растерянно заморгала глазами. Большинство студентов было явно не готово к тому ходу событий и не ожидало увидеть сразу двух профессоров, один из которых предпочел почему-то панически ретироваться, выбросившись в окно.

— А что я ему мог еще сказать?! — Пожимал плечами док, возвращаясь окольными путями к себе в кабинет. — Сказать, что я его заменял, пока он был в отключке? Ха-ха! Что за чушь! Кто мне в это поверит?

Он вернулся на свой любимый диван и в ожидании своего робота с лекции налил себе sake. Обычно дрон приходил и докладывал ему о поведении студентов и успешно прочитанном материале. Но на этот раз вместо робота к нему в кабинет ворвался наряд полиции и заломил ему за спину руки.

— Что вы делаете? — возмущался потерпевший. — Я профессор Охаяси!

— Нам поступил сигнал, что вы незаконно пробрались в здание университета... — сообщил ему полицейский, конвоируя его в свою служебную машину.

— Это он! Самозванец! — Услышал профессор голос своего робота-двойника, который стоял с другими полицейскими и что-то живо им объяснял. — Он посягнул на мое рабочее место за кафедрой! Я этого так не оставлю!

— Вот сволочь! — в сердцах воскликнул профессор. — Это же бунт машин!

Но служители Фемиды были непреклонны и глухи к его стенаниям. Голос живого разума не действовал на их должностные инструкции. Они поспешно заключили мошенника под стражу и пообещали впаять ему солидный тюремный срок.

— Он узурпировал мои права человека! — возмущался арестант по дороге в полицейский участок. — Кто тут главный: он или я? Кто получает зарплату, тот и главный! — Сам для себя сформулировал вопрос и тут же сам на него и ответил. — Я вложил ему в его электронную башку информацию, я его создатель! А он всего лишь мой суфлер! Он устаревает морально быстрее, чем я устареваю физически... — продолжал агрессивно аргументировать свое превосходство ученый. — Я вправе его изменить, а он меня нет... — Обида просто застилала ему глаза и сдавливала грудь; обида стучала в висках, форматируя его научную мысль. — Или все-таки он меня тоже меняет? — Профессор призадумался. — Ну, да... конечно... Я стал ленив, он все делает за меня... Да, да... Я обленился по его вине! Главное, что он сотворил со мною, сделал меня благодушным и пассивным... Нет, он тоже как-то на меня влияет, но в этом я сам же и виноват... Я стал трутнем... — сам себе признался Охаяси, припоминая, что слово «drone» по-английски значит «трутень». — Фактически все эти годы дроном был не он, робот, а я — человек... — пришел он к неожиданному для себя выводу, видя, как полицейская машина увозит его от стен любимого университета.

Да, очень, очень жаль профессора Охаяси. Влип так влип. История и впрямь, скажем, скверная. Но, возможно, он сам виноват в том, что не до конца дочитал ин-

струкцию по правильному использованию своих мозгов. От того и погорел. От того и просидел несколько суток в полицейском участке, пока полиция не разобралась, что к чему, и не освободила его. Но за это время робот-двойник написал за него заявление об уходе из университета и отправился в Лас-Вегас оттягиваться в местных казино. Кто-то даже утверждал, что он в пух проигрался там в рулетку. Так что и роботам ничто человеческое бывает не чуждо, когда в них происходит системный сбой и когда сам человек уподобляется роботу...

ПРАКТИКАНТ

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись...»

Эту прописную истину из «Баллады о Востоке и Западе» английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга решил опровергнуть один невзрачный бомж, ранним утром пятницы 13 декабря поспоривший с одним итальянцем на Мальорке о том, что будет, если Восток и Запад все-таки сойдутся вместе.

Достопочтенной публике известно, что туристы на Мальорке по неписаному правилу делятся на две категории — пьющие и непьющие (последних всегда явное меньшинство). Второе неписаное правило гласит: на востоке острова пьют и отрываются только немецкие туристы, на западе острова — только английские. И желательно для спокойствия местных жителей, чтобы обе эти пьющие туристические группировки никогда не встречались. Но случилось так, что выпивка не развела, а, наоборот, свела, и причем не к добру, эти два враждующих мира. Свела так, что дело дошло до массового побоища.

Две разгоряченные спиртными напитками толпы сошлись на центральной площади под окнами особняка одного французского олигарха, отдохавшего в это время на острове. Причина бунта? Самая банальная: где-то кто-то кому-то почему-то за что-то что-то сказал обидное. Этот кто-то не на шутку обиделся и позвал своих друзей, те своих, а эти свои — еще других своих и т. д. и т. п. Ситуация не просто пошла и поехала, а сорвалась со скоростью взбесившегося принтера. В общем, прямо под окнами француза, предлагая ему бесплатное развлечение, собралась неадекватная толпа еврохулиганов и принялась уничтожать свое европейское достоинство.

Давние обиды пьяных англичан на обожравшихся немцев и «гордых дойче» на «великолепных бриттов» привели к массовой потасовке, в которой французский зритель чувствовал себя победителем, если бы не одно большое и противное «НО». Пока французы беспечно глазели с балкона и подначивали дерущихся, американская мафия итальянского происхождения вскрыла их сейф, в котором легкомысленные галлы хранили свои драгоценности.

— Лопухи! — высмеял их наивность главарь налетчиков, проворно опустошая их сокровищницу. — Что за идиоты! Придурки! — презрительно бросил он в сторону дерущихся, когда уже выходил с награбленным из французского особняка.

Мафиози поспешно сели в авто, и оно с визгом дымящихся покрышек рвануло с места в карьер. Но не успели они скрыться за углом, как раздался громкий удар и звук бьющегося стекла. Машина налетела на непреодолимое препятствие в виде железобетонного блока, положенного прямо посередине проезжей части дороги.

— Какая сволочь поставила здесь этот «кирпич»?! — в сердцах охнул главарь мафиози, теряя сознание. — Его же здесь пять минут назад еще не было...

К разбитому авто осторожно подошел ничем не приметный бомж, с которым итальянец утром опрометчиво заключил пари о возможной встрече «Востока» и «Запада»,

и аккуратно вынул из бандитских рук саквояж, набитый французскими побрякушками. Воровато озираясь по сторонам, похититель спешно покинул место происшествия и, обходя стороной площадь, на которой все еще бушевала драка англичан с немцами (или немцев с англичанами!), присел на лавочку в тихом скверике за углом.

— Задание выполнено... — доложил он второму бомжу, ставя рядом с ним на лавочке принесенный саквояж.

— Зачет... — лаконично и загадочно произнес тот ему в ответ, беззаботно напевая «*La Balanguera*» (национальный гимн Мальорки). — Можешь отправляться теперь домой... Две недели отпуска...

— Спасибо, товарищ майор! — Цокнул первый каблуками своих разбитых ботинок. — Вы тоже со мной в Москву?

— Куда там! У меня еще командировка в Вашингтон и Буэнос-Айрес... — устало отвечал второй. — Еще не все из вашей группы зачет по практике мне сдали...

И бомжи расстались. Растворились в серых сумерках зимнего вечера Пальма-де-Мальорки, словно их там никогда и не бывало. А дерущаяся под балконом французского олигарха пьяненькая толпа граждан Европейского союза так никогда и не узнала, что стала жертвами «развода» зачетной сессии выпускного курса ГРУ ГШ ВС России...

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН

* * *

Отключу телефон
и уткнусь в тишину.
Одиночество, право, не благо ли?
И тревогу свою
я в снега заверну,
Чтоб она, как младенец,
не плакала.
А на озере белом
рыбачит февраль,
И весна золотую рыбкою
Начинает уже
с ним азартно играть
И хватать за приманку урывками.
Юркий солнечный зайчик,
как будто блесна
В незамерзшей февральской проруби.
Бьет метельным хвостом,
упираясь, весна...
Только где-то воркуют голуби...

ФЕВРАЛЬ

Хвост поджав, пушистая зима
От элитной северной породы
Сиротливо нюхает дома,
Ест с ладони матери-природы.
Притомилась. Потемнела шерсть.
На обочинах и вовсе встала дыбом,
И зима, как Змей Горыныч, дымом
Дышит на замерзнувшую жуть
Тусклых, томных, незвещающих звезд,
Что недавно празднично висели!
А февраль на вьюжной карусели
Праздник за полярный круг увез.

Елена Евгеньевна Пиетилляйнен – главный редактор журнала «Север». Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат премии Президента РФ. Лауреат международных поэтических конкурсов «Золотое перо» – 2009, «Звезда полей» – 2010, «Душа и слово» – 2011, лауреат премии им. А. Фатьянова – 2017. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями им. Ф. И. Тютчева и им. М. Ю. Лермонтова, а также медалью Союза писателей Белоруссии «За большой вклад в литературу». Кандидат педагогических наук. Заслуженный учитель Республики Карелия.

Буднично. Скрипучею метлой
Дворник выгребаёт вяло мусор.
Но зато за мной заходит Муза
По утрам. И вечером светло!

СЕВЕРНОЕ ЛЕТО

Вдохновенно творит, как художник, природа,
Выбирая в палитре вдумчиво цвет.
И в прозрачных ночах на холсте небосвода
Золотою каймой проступает рассвет.
О, прозрачная ночь! Это — севера лето!
Не созрели еще и соцветия звезд.
Только ломтик луны рыхловатой и бледной
Осыпается вниз — в шелестящий овес.
Крошки птицы клюют, как молочные зерна.
Оттого до утра их слышны голоса.
И туманами томно исходят озера.
И росой, как слезой, истекают леса.
А в прозрачных лесах, как в прозрачных озерах,
Все бесхитростно ясно, но тайной влечет.
И цветастую шаль — паутинку с узором —
Мне накинуло лето легко на плечо...

* * *

Между Ладогой и Онего,
Где горячий пахучий мох,
В колеснице июль проехал,
Август лето закрыл на замок.

Между Ладогой и Онего —
Жилы счастья и вены рек.
Путешествует на телеге
Странный искренний человек.

Между Ладогой и Онего,
Где у елей растет борода,
В предвкушении первого снега
Деревянные спят города...

* * *

Все не так, все не так, как хочется.
И падение — не прыжок.
Окрыленное одиночество
Сердце тайной мечтою жжет.

И не пишется, и не плачется,
И затынут хрусталь вином.
Где ты, девочка в ярком платице,
С одуванчиковым венком?
Где костер осыпался искрами,
Там вросла в берега река.
Все мы были смелей и искренней.
Только время ли упрекать?
Мы становимся сами временем,
И судьба бороздит ладонь.
Соскользнула нога со стремя —
И без всадника мчится конь...

* * *

Над взлетной полосой — снегопад.
На взлетной полосе — обледенелость.
А я живу, шагая невпопад,
Себя коря за слабость и несмелость.

Над взлетной полосой — горизонт.
На взлетной полосе — рябые лужи.
Не парашют держу — всего лишь зонт,
Он мне единственной
защитой
служит.

Топчась внизу, я вверх смотрю,
как все —
Идет гроза! Я от нее укроюсь!
Но нет! — Бегу по взлетной полосе
И постепенно набираю скорость...

Борис КРАСИН

ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ

Повесть

Вместо предисловия

Много лет назад Валентин Петрович Катаев, тогда — главный редактор журнала «Юность», был приятно удивлен удачной находкой одного начинающего автора, сравнившего стоячую воду пруда с пыльной крышкой рояля. Вскоре после дебюта в «Юности» молодой писатель опубликовал повесть и несколько рассказов, отразивших дух эпохи, настроения и переживания его сверстников, а потому стал литературным кумиром нескольких поколений читателей. Впоследствии, испытав себя в таких сочинениях, как «Поиски жанра» и «Опыт записи летнего сна», он пустился в странствие по вольным просторам литературного авангарда, где нет тормозов и ориентиров, кроме всплесков собственной фантазии. Прошлая жизнь в его изображении все более приобретала черты фантазмагии. В последнем его романе отголоски этой жизни слились в подобие кваканья, сопровождавшего хлопотливую возню обитателей водоема, обманчиво спокойная поверхность которого когда-то напомнила нашему кумиру пыльный рояль. Кваканье, доносившееся оттуда, было настолько отчетливым, что именитый писатель вынес его в заглавие романа — «Москва ква-ква».

Его бывшим почитателям повезло больше. В нашей памяти прежняя жизнь сохранилась такой, какой она была в реальности — наполненной воздухом, солнечным светом, невыдуманными радостями, печалью, весельем, грустью, тоской. Эти настроения наш бывший кумир на редкость точно передал в одном из своих рассказов, когда писал о том, как они всей компанией сидели в буфете симферопольского вокзала в ожидании поезда, «шумно пируя, словно рыцари и прекрасные дамы под сводами нормандского замка. Мы делили голубой огонь пунша и перловку и бросали кости нашим собакам. Боже мой, думал я, смертные люди! Ведь невозможно даже подумать, что всех нас когда-нибудь не станет, в это невозможно поверить, это невозможно понять... Что же делать? Может быть, нужно верить друг в друга, в то, что соединило нас сейчас здесь? Ведь мы же все должны друг друга утешать, ободрять, все время разговаривать друг с другом о хорошем, житейском, чуть-чуть заговаривать зубы, устраивать веселую кутерьму, а не ехидничать и не подкладывать друг другу свинью».

Такой нам и запомнилась прежняя жизнь, а в ней — те несколько дней ранней осени, что мы провели однажды на пляжах Рижского взморья.

Борис Всеволодович Красин живет в Москве. Окончил Институт иностранных языков им. М. Тореза. По опыту работы — журналист, политолог. Член Союза журналистов. Работал корреспондентом на радио, литсотрудником в газете «Московский комсомолец», писал сценарии для телевидения. В настоящее время — ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. Примакова, где был главным редактором журнала «Россия и новые государства Евразии». В жанре художественной прозы публиковался в журналах «Нева» и «Ковчег».

День первый

Со стороны пляжа вдоль ограды тянулась густая поросль жимолости, и сначала мне показалось, что на корте никого нет. Лишь подойдя ближе, я увидел Валентина и его девушку. Они сидели под парусиновым тентом на скамье, где мы оставляли свои доспехи, когда приходили играть в теннис. Его девица — дородная блондинка с миловидным лицом добросердечной простушки — совсем раскисла. Губы у нее слегка распухли, она раз или два шмыгнула носиком, прижимая скомканный платок к покрасневшим глазам. Валентин выглядел растерянным. Чувствовалось, что затянувшееся прощание выбило его из привычной колеи.

— Надо идти, — сказал я. — Иначе она опоздает.

Валентин с готовностью встал и поднял с земли ее чемодан. Девушка всхлипнула. Я отвернулся и не спеша пошел к выходу. За спиной у меня послышались срывающийся плаксивый голос и басок моего приятеля. Мы обогнули главный корпус турбазы и еще издали увидели, что все отъезжающие уже погрузились в автобус.

— Давайте-ка поторапливаться, друзья, — сказал я и перешел на иноходь.

Взревел мотор. Валентин с ходу втащил чемодан в автобус, вышел и подтолкнул свою подругу к двери. Она потянулась к нему, глядя обожающими страдальческими глазами.

— Ну-ну, Зоенька, не унывай, — сказал мой приятель, чуть смутившись.

Он наклонился, торопливо поцеловал девушку в щеку и посадил ее на подножку. Она обернулась, хотела что-то еще сказать, но лишь махнула рукой. Дверь со скрежетом захлопнулась. Кругом махали руками, кто-то, высунувшись из окна, посылал провожающим воздушные поцелуи.

— Ну, кажется, этих отправили, — сказал Валентин с облегчением, когда автобус тронулся.

— Погоди, ты для приличия хоть помаша ей ручкой на прощание.

Он принялся махать, потом поднес руку к лицу и сделал движение, будто вытирает слезу.

— Ну, это уже лишнее, — сказал я.

— Ничего не лишнее, — пробормотал Валентин, провожая взглядом автобус. — Когда девчушка в таких растрепанных чувствах, скупые мужские слезы не повредят. Знаешь, похоже, она и правда в меня втрескалась. Давненько такого не видел.

— Она откуда?

— Кажется, из Сызрани. Или из Саранска.

— Чего же ты удивляешься? Такого орла, как ты, не то что в Сызрани, в самой Москве надо поискать, и то не сразу найдешь.

— Ты так считаешь?

— Как будто ты сам не знаешь! По-моему, ты переборщил. Надо же было довести девчушку до такого состояния.

— Да я особо и не старался. Все как-то само собой получилось. Ну, теперь немного поспим и снова в бой, — сказал Валентин и засмеялся.

Мы жили в Плависе уже вторую неделю. К самому корпусу турбазы подступали сосны, и у нас в комнате всегда пахло хвоей и смолой. В редкие ненастные дни глухой рокот прибоя, доносившийся с залива, сливался с шумом ветра в кронах деревьев, и тогда нам всю ночь был слышен монотонный успокоительный гул. По утрам мы просыпались от музыки, гремевшей над турбазой. Наш радист каждый день заводил одну и ту же пластинку — попури из «Бриллиантовой руки». И эта

музыка, мелодии песен про зайцев и про остров невезения, льющаяся в окно комнаты с запахом хвои и морского воздуха, с сиянием солнца и голубого неба, с блестящими каплями на влажных сосновых иглах за окном, давали такое ощущение радости и полноты жизни, что хотелось продлить счастливый миг пробуждения к благодатной действительности нового дня.

Стояла солнечная, необычно теплая для начала сентября погода, и мы много времени проводили на берегу, купались, загорали, играли в кружок в волейбол. Лишь два дня выдались ненастными, с залива дул ветер, становилось прохладно. пляж пустел, обитатели турбазы разбрелись в читальню, бильярдную, собирались в музыкальном салоне — небольшом зале с роялем и радиолой, где по вечерам устраивались танцы.

База «Плавис» была перевалочным пунктом какого-то туристского маршрута по Прибалтике, и каждые три дня на смену отъезжающим прибывала новая группа туристов. Их возили на экскурсии в Ригу, Сигулду, устраивали прогулки на теплоходе по Леилупе. Иногда мы с Валентином приглашали к себе на вечеринку кого-нибудь из новых знакомых. Организацией досуга и развлечений «отдыхальщиков», как он нас называл, на турбазе ведал симпатичный литовец Йонас, с которым мы сразу подружились. Он дал нам шестиструнную гитару из своего инвентаря. Немного поупражнявшись, я вспомнил те несколько песенок, которые выучил еще в институте. Мой репертуар был более чем скромным — три или четыре романса да с полдюжины песен на английском языке, — но Валентин уверял, что на девчушек пение действует лучше, чем выпивка.

Он разбудил меня в начале первого. Мы спустились на широкий балкон, тянувшийся вдоль корпуса турбазы на уровне второго этажа. Отсюда удобно было наблюдать, как внизу из подъехавшего автобуса выгружается очередная группа туристов. Растянувшись цепочкой, с чемоданами и спортивными сумками они шли от автобуса к нашему корпусу. Валентин, облокотившись о перила, разглядывал приезжих.

— С каждым заездом все хуже, — пробормотал он, однако уже спустя минуту воскликнул: — Э, гляди-ка, какой цыпленок! Кажется, это то, что я искал всю жизнь.

Девушка была небольшого роста и обликом действительно напоминала недавно вылупившегося цыпленка — желтое платье с пышной юбкой, пышные, светлорусые волосы, хорошенькое личико с золотистым загаром, какой бывает только у блондинок.

— Симпатичная девчушка, — сказал я.

— Симпатичная — это не то слово, — возразил Валентин, глядя на девушку в желтом не отрываясь. — Таких здесь еще не было. Это тебе не чушка из Сызрани. Тут есть ради чего расстараться.

Он быстрым шагом пересек балкон и сбежал по лестнице вниз. Не подозревая об опасности, девушка в желтом с трудом тащила чемодан, который, судя по размеру, вместил весь ее гардероб. Дальше в веренице приезжих я заметил двух девиц в больших солнцезащитных очках. Их лиц я разглядеть не мог, но, судя по туалетам и по какой-то неуловимой особенности облика, решил, что они приехали из Москвы.

Валентин подошел к девушке в желтом платье и решительно забрал у нее чемодан. Вскоре он и его хорошенькая спутница появились на балконе, и до меня донесся красивый басок моего приятеля.

— Я тут приставлен специально, чтобы таскать большие чемоданы маленьким девчушкам. И знакомить их с местными достопримечательностями. А главное, не давать им скучать.

Валентин, голубоглазый и загорелый, в облегающих белых брюках и голубой рубашке с короткими рукавами, открывавшими его мускулистые руки, с выражением бесшабашной отваги на лице был необыкновенно хорош собой.

— Правда?! — изумленно лепетала девушка, всплескивая руками. — Первый раз такое встречаю.

— У нас тут сервис на европейском уровне, — басил Валентин. — А если будешь себя хорошо вести, я покажу тебе разные местные чудеса.

— Какие чудеса? — допытывалась девушка, не спуская с него глаз.

Держась на расстоянии, я прошел за ними в вестибюль, где уже толпились приезжие. В регистратуре Инга и вторая девушка, имени которой я не помню, распределяли вновь прибывших по комнатам. Инга, в ладном светло-зеленом костюмчике с русыми волосами, подвязанными белой ленточкой, хорошенькая и деловитая, оформляла документы приезжих. Я втайне симпатизировал ей с первого дня, с того самого момента, когда, вернувшись с пляжа, подошел к регистратуре за ключом от нашей комнаты. Издали увидев меня, она с приветливой улыбкой протянула мне ключ прежде, чем я успел сказать ей наш номер. Я подумал, что, должно быть, она обратила на меня внимание, и потому чувствовал к ней особое расположение.

В очереди у регистратуры я увидел человека лет тридцати пяти с зачесанными назад светлыми курчавыми волосами, с очками на кончике носа, в тренировочных шароварах и красной клетчатой ковбойке. Он озирался по сторонам с таким выражением лица, словно ему только что дали понюхать тухлое яйцо, и теперь он ищет, с кем поделиться своими ощущениями. Впоследствии, когда мы познакомились поближе, оказалось, что эта мина присутствует у него на лице постоянно. Однако Валерий Алексеевич Павленко оказался на редкость добродушным человеком и тонким юмористом. Мы с Валентином потом не раз приглашали его к себе на вечеринки. Он по большей части молчал, но при взгляде на его унылую физиономию самый никудышный тост казался шедевром остроумия.

Через несколько человек от Павленко в очереди стояли две девушки, которых я принял за москвичек. Одна из них, кареглазая блондинка, стриженная «под мальчика», была по-настоящему красива. Слегка вздернутый носик придавал ее личику надменное выражение — на нем застыла гримаска брезгливости. У другой девушки, не такой яркой, но тоже очень хорошенькой, было более живое и осмысленное лицо.

Очередь продвигалась, и наконец Валентин, подхватив увесистый чемодан, затопал вверх по лестнице. Девушка в желтом поспешила за ним.

На обед мы опоздали. Валентин рассчитывал сесть за один стол с Цыпленком — так он теперь называл девушку в желтом, — но когда мы спустились в столовую, у окна раздачи уже никого не было. Погрузив тарелки на подносы, мы двинулись по проходу, высматривая свободные места, и еще издали увидели Цыпленка в дальнем конце зала. За одним столом с ней сидели другая темноволосая девушка и двое молодых людей, видимо, тоже из нового заезда — раньше я не видел их среди отдыхающих.

— Похоже, ты опоздал, — сказал я, когда мы шли по проходу, высматривая свободный стол.

— Это не страшно, — ответил Валентин на ходу. — Мы с ней договорились после обеда встретиться на пляже. Так что никуда она не денется.

Когда мы проходили мимо них, девушка в желтом приветливо улыбнулась ему. Валентин с довольным видом подмигнул мне.

— Видал?

Мы расположились за соседним столиком, и Валентин принялся с аппетитом уплетать селянку, плотоядно поглядывая на девушку в желтом. Она и впрямь была необыкновенно мила. С хорошенького почти детского личика с пухлым ртом и живыми лукавыми глазками почти не сходила улыбка. Коротковатая верхняя губка приоткрывала щербинку между зубами. Очевидно, девушка стеснялась этого изъяна своей внешности и старалась держать ротик закрытым. Она внимательно слушала своих соседей по столу, переводя взгляд с одного на другого — те наперебой рассказывали что-то смешное, — и поминутно заливалась звонким смехом. Рассмеявшись, она тут же спохватывалась, пыталась сомкнуть губки, но снова прыскала от смеха.

— И правда девочка прелесть, — сказал я.

— Говорят же тебе, таких здесь еще не было, — проговорил Валентин, смачно прожевывая лангет. — Я собираюсь заняться ей всерьез, — доверительно сообщил он, понизив голос.

Она, не подозревая об опасности, смеялась так, что на нее оглаживались из-за соседних столиков. Мне окончательно перестала нравиться затея Валентина.

— Ты зря будешь терять время, — сказал я. — Она не из таких. Это же сразу видно.

— Тем больше спортивный интерес.

— Если тебе нужен спортивный интерес, займись-ка лучше вон теми девицами, — я показал глазами на девушек, по моим предположениям, приехавших из Москвы. — Здесь тебе будет и спортивный интерес, и все остальное. Правда, я думаю, они тебе не по зубам, — добавил я, чтобы раззадорить Валентина и отвлечь его внимание от Цыпленка.

Он окинул внимательным взглядом девушек, сидевших через два столика от нас. Они с независимым и немного брезгливым видом ели суфле.

— Мне не по зубам?! — Валентин снисходительно рассмеялся.

— Конечно, тебе. Хочешь на спор?

— Ты наверняка проспоришь.

— Сомневаюсь.

— На что спорим?

— На что угодно. В пределах разумного, конечно.

— Ладно, я подумаю, на что тебя наказать, — сказал Валентин. — Но сперва надо поближе разглядеть этих девчушек.

Он встал из-за стола и пошел за второй порцией лангета. Проходя мимо москвичек, Валентин засмотрелся на них и споткнулся о стул, который кто-то оставил в проходе между столиками. Обе девушки засмеялись.

— Не знаю, что делать, — озадаченно сказал Валентин, возвращаясь на место и не спуская глаз с улыбавшихся девиц. — У меня прямо-таки мозги набекрень.

— А что тут можно делать?

— Не могу решить, кем заняться в первую очередь, — пояснил он. — Как видно, придется действовать на два фронта.

После обеда я поднялся к себе в комнату, захватил с постели покрывало, мохнатое полотенце, книгу, сложил все это в спортивную сумку и отправился на пляж. От турбазы до берега было не больше двухсот метров, и я шел между деревьями по упругой пахучей хвое, устилавшей землю. За грядой прибрежных дюн, поросших ивняком, открывался вид на белый под ярким солнцем песчаный пляж, на залив, голубое небо с редкими белыми облачками.

У кустов, где из песка растет бледно-зеленая колючая травка, я расстелил покрывало, разделся до плавок и некоторое время сидел, глядя на залив. В прозрачном воз-

духе хорошо была видна вышка спасательной станции в двух километрах к югу, в сторону Каугури, которую обычно скрывала дымка, висевшая над пляжами. Над водой с пронзительными криками носились чайки.

От жары и послеобеденной истомы я быстро сомлел и, чувствуя приятную расслабленность, откинулся навзничь, прикрыл глаза полотенцем от слепящего солнца и погрузился в блаженную невесомость между сном и явью. До меня еще доносились детские голоса и отдаленные крики чаек, потом все стихло. Кажется, я задремал.

Проснулся я от звонких ударов мяча, бодрых выкриков и смеха. Неподалеку отдыхающие с турбазы играли в кружок в волейбол. Среди них я увидел Валентина. Рядом со мной на покрывале лежали его аккуратно сложенные белые брюки и рубашка. Скоро из-за кустов показались две девушки, которых я принял за москвичек, обе в ярких халатиках и солнцезащитных очках. Они в нерешительности постояли, озираясь по сторонам, разделись до купальников и отчужденно улеглись на песок в стороне от играющих, но достаточно близко, чтобы быть на виду. Наконец из-за кустов в нескольких шагах от меня в сопровождении своей темноволосой подруги появился Цыпленок. Валентин отделился от круга играющих и бодрой трусцой направился к ним.

— Цыпленок, опаздываете, — сказал он, подбегая. — Мы вас уже сорок минут ждем.

— Как сорок минут?! — девушка в желтом сарафане в изумлении замерла на месте.

— Ну, шучу, шучу, — снисходительно засмеялся Валентин. — Не сорок минут, но полчаса уже точно. Если вы будете и дальше так копать, то пропустите все самое интересное.

Он взял из рук второй девушки покрывало и расстелил его на песке рядом.

— Располагайтесь, девчухи. Здесь вам будет хорошо, — сказал Валентин, усаживаясь на мою подстилку. — Кстати, познакомьтесь, это мой лучший друг Герман. Да, Цыпленок, а тебя-то как зовут?

— Ира.

— А твою подругу?

— Олечка. Она тоже моя самая близкая подруга, — сказала девушка в желтом и с любопытством посмотрела на меня.

— Вот и отлично. Значит, будем дружить четвером, — твердо сказал Валентин.

Ирочка стала через голову стаскивать с себя сарафан. Прежде чем уронить его на песок, она на секунду грациозным движением задержала свое одеяние двумя пальчиками, затем, нимало не смущаясь присутствия двух мужчин, с непосредственностью ребенка начала охорашиваться и поправлять свое оранжевое бикини там, где ей резало и тянуло. Не знаю, какая мысль застыла в плотоядном воображении моего приятеля вместе с остолбенелым выражением на его лице, когда Ирочка освободилась от своего сарафана. Но я, помню это очень хорошо, подумал, что природа потрудилась над этой девочкой руками не просто даровитого ваятеля, но утонченного эстета. Ни до, ни после я не видел столь безупречно выточенной, волшебной рельефной девичьей фигурки. У Валентина буквально отвисла челюсть. Взглянув на него, Оленька залилась румянцем и перестала расстегивать свой халатик.

— Ира, где же это у нас живут такие хорошенькие девочки? — спросил я. — Откуда вы приехали?

— Из Любеча, — сказала она, нисколько не смутившись.

— Это где?

— На Украине. Не так уж далеко от Киева, на Днепре.

Очевидно желая переменить тему разговора, девушка присела на корточки и взяла в руки мою книгу.

— А что это у вас?

- Очень симпатичный детектив. Называется «The smell of money» — «Запах денег».
- Это на английском?
- Да.
- А откуда вы знаете английский?
- Я когда-то учился в Институте иностранных языков.
- А потом совершенствовался в секретной разведшколе, — подхватил Валентин.

Это была его старая шутка. Рассказы о разведшколе были выдумкой Валентина. Он прибегал к ней каждый раз, когда хотел произвести впечатление на девиц, с которыми знакомился. Скорее всего, для него это не было банальным враньем. Во время службы в армии Валентин действительно имел какое-то отношение к разведке — кажется, работал на радиоперехвате, и теперь в своих развесистых фантазиях он мысленно продолжал карьеру сотрудника спецслужб. Однако у моего приятеля недоставало изобретательности, чтобы его воображаемая шпионская деятельность не выглядела слишком примитивной или откровенно смешной, а поскольку он постоянно приплетал меня к своим подвигам, то отдуваться за него и сочинять небывлицы о наших похождениях приходилось мне. Свое недовольство я вымещал тем, что старался придать подвигам Валентина карикатурный характер. Я уже несколько раз просил не ставить меня в глупое положение, и он божился, что больше это не повторится, но, как видно, очаровательная девочка из Любеча так подействовала на его воображение, что он снова не выдержал.

Я многозначительно покрутил пальцем у виска.

— Герман, а почему вы ему так показываете? — Ирочка с забавной неуклюжестью повторила мой жест.

— Он не хочет, чтобы я выдавал наши профессиональные секреты, — ответил за меня Валентин. — Но это потому, что он совсем тебя не знает. Я-то сразу понял, что тебе можно довериться.

— Как бывалый разведчик, — вставил я.

— А какие секреты? — глаза Цыпенка зажглись детским любопытством.

— Мы с Германом учились в сверхсекретной разведшколе.

— Между прочим, Валентин свободно говорит на шести языках, причем таких, которые, кроме него, никто не знает, — сказал я. — И еще он может почти полтора месяца обходиться без воды и пищи. Поэтому сейчас в столовой ест за троих.

— Ну, ты все же не очень-то, — попытался вставить Валентин.

— К чему скромничать, Валя? — перебил я. — Уж если ты доверяешь Ирине и Олечке, то у меня от них тоже нет секретов. Свержение режима кровавого диктатора Скаперландера, может, слышали? — девушки переглянулись. — Так вот, это его работа. Валентина внедрили в ближайшее окружение этого кровопийцы и душителя своего свободолюбивого народа в качестве то ли камердинера, то ли капельдинера. Потом он выполнял обязанности его личного адъютанта, причем ему доверили по ночам отгонять мух и давить клопов на койке у диктатора, пока тот спал. Валентин настолько хорошо справлялся с этой работой, что за полгода дослужился до чина полковника и стал начальником личной охраны этого палача. Ну, а остальное, как говорится, было делом техники.

— Валя, вы уже полковник?! — ахнула Ирочка. — А мой папа только майор...

— Это он в ихней армии был полковником, — пояснил я. — А какой его чин у нас, никто толком не знает. За особые заслуги Валя не раз получал повышения по службе вне очереди. Ведь он возглавлял ударную группу при высадке наших в заливе Кочинос. Там такое было!

— Ой, как интересно! — воскликнула Ирочка, не спуская восхищенных глаз с Валентина.

— Если вам это интересно, он потом расскажет и про эту операцию, и про клопов, и про все остальное. Только, пожалуйста, не сейчас! — добавил я, заметив, что мой приятель порывается что-то сказать. — Мне эта история известна во всех подробностях. Она у нас в разведорганах наделала тогда много шума.

— Олечка, ты только подумай, с какими замечательными людьми мы познакомились! — сказала Ирочка.

— Валентин же обещал, что ты узнаешь массу интересного, если будешь умницей.

— А что вы делаете в Плависе?

— Находимся на заслуженном отдыхе, — со скромным достоинством ответил Валентин.

— После выполнения очередного сверхсекретного задания, — добавил я. — Возможно, скоро об этом напишут в газетах. Фотографий, конечно, не будет. Мы ведь засекречены. И фамилии будут изменены. Валентин там выступает под именем майора Пронина, а я — капитана Кольцова. Валя, может, расскажешь девочкам об этой операции?

— Нет, еще не время, — важно изрек Валентин и встал. — Ну ладно, ребятаки, я пойду немного разомнусь. Гера, а ты пока покарауль девчушек, чтобы их никто не увел. Смотрите у меня!

Валентин погрозил девушкам пальцем и бодрой трусцой направился к кружку играющих в волейбол. Ирочка проводила его мечтательным взглядом. Ольга тоже приготовилась загорать. Синеглазая, с миловидным лицом, густыми черными волосами, собранными в тяжелый узел на затылке, она была красива медлительной южной красотой. Когда она сняла халатик и осталась в закрытом синем — под цвет глаз — купальнике, я отметил, что у нее красивая, но, пожалуй, чуть грузноватая для такой молоденькой девушки фигура. Похоже, она стеснялась своих откровенно соблазнительных форм, и очаровательная застенчивость делала ее необыкновенно женственной и привлекательной.

Ирочка была расположена поболтать. Похоже, ее всерьез заинтриговал разговор о подвигах Валентина.

— Гера, а знаете, я ведь тоже хотела поступить в Институт иностранных языков, как вы с Валею. Ездил в Москву, сдавала экзамены в Институт Мориса Тореза.

— Не поступила?

— Нет. Получила тройку за сочинение и больше не стала сдавать.

— Зря. Надо было попробовать свои силы в английском. По крайней мере, знала бы, на что ты способна и какие там требования.

— На следующий год попробую. Я уже решила, что опять буду поступать.

— А чем пока будешь заниматься?

— Пойду работать на почту. Мама уже с ними договорилась.

— Сколько же тебе лет?

— Уже скоро восемнадцать.

— Как же папа с мамой не побоялись отпустить тебя одну так далеко?

— Не одну, а с Олечкой.

— Олечка ведь, наверное, не старше тебя.

— Нет, ей уже исполнилось восемнадцать.

— О, совсем взрослая!

— Конечно, взрослая. И я скоро буду взрослой.

— Только когда будешь заканчивать инъяз, ни в коем случае не соглашайся потом поступать в разведку.

— А разве девушек туда берут?

— Конечно, берут. Особенно таких хорошеньких.

— Но это так интересно! И там такие замечательные люди!

— Конечно, интересно. Но это очень опасная и трудная работа. Вот Валентин, например...

Я не успел развить свою мысль, меня прервали громкие возгласы. Мы обернулись и увидели, как Валентин в эффектном прыжке у самой земли отбил безнадежный мяч, красиво упал на песок и тут же пружинисто вскочил. В кружке волейболистов дружно зааплодировали. После этого Ирочка уже не отрываясь смотрела на моего приятеля.

Валентин неспроста пригласил ее на пляж и затеял игру в мяч. Высокий, подтянутый, с рельефной мускулатурой ладного торса и ровным загаром, он одним своим видом привлекал к себе завистливые взгляды мужчин и восхищенные взоры девушек, собиравшихся на пляже. В его движениях чувствовалась пластика спортсмена, прекрасно владеющего своим телом. Принимая мяч, он упруго приседал, красивым и точным движением отдавал пас, подбадривал играющих. Я заметил, что москвички, расположившиеся у кустов, сняв темные очки, тоже не отрываясь смотрят на волейболистов.

— Как Валя хорошо играет! — с восхищением произнесла Ирочка.

— Да, он занимался многими видами спорта, — подтвердил я, — и по одиннадцати или двенадцати видам выполнил нормативы заслуженного мастера. Например, в волейбол он тренировался с нашей олимпийской сборной. Его должны были забросить на британскую военную базу в Танжере. Они тогда держали первенство по волейболу среди частей британского экспедиционного корпуса в Африке. Валентин должен был во время банкетов, когда все напивались после очередной победы над соперниками, выведывать у них секреты о планах операции против Роммеля и о настроях в их войсках. Как видишь, ему это очень пригодилось. И мне, кстати, тоже.

— А вам почему? — Ирочка с любопытством обернулась ко мне. — Вы тоже тренировались с нашими олимпийцами?

— Нет, Бог с тобой. Мне до этого далеко. Но когда Валентин играет в волейбол, я говорю всем, что я близкий друг этого замечательного парня.

— Но вы ведь, наверное, тоже что-нибудь умеете? — попыталась утешить меня Ирочка.

— Конечно, и даже очень многое. Но с Валентином я тягаться все же не могу.

Другой приметной фигурой в кружке волейболистов был наш радист Боря из АПН. Глядя на Валентина, на его прыжки и падения, он, как мог, старался подражать ему. Но при его худосочном телосложении, при синюшной, не поддающейся загару коже, покрытой рыжим волосом, при угловатой неуклюжести движений его тяжеловесные прыжки и падения выглядели просто жутко. Каждый раз казалось, что, рухнув на землю, он переломает себе кости и не сможет встать. Однако Боря из АПН чувствовал себя вполне комфортно. Он косился сквозь темные очки на московских девиц, раз или два как бы невзначай посылал мяч в их сторону и сам бежал за ним, работая руками, как вентилятор. При этом он выворачивал шею, чтобы получше разглядеть двух красоток.

— А это кто? — почти с ужасом спросила Ирочка.

— Это наш радист. То есть считается, что он работает на турбазе радистом.

— А на самом деле?

Я уловил в ее вопросе нотку надежды, что хоть этот странный субъект не имеет отношения к разведорганам.

— А на самом деле он под видом представителя внешнеторгового объединения «Тяжмашлегпромзагранпоставка» возглавляет нашу резидентуру в Бурунди. Сейчас он тоже на заслуженном отдыхе.

— Сколько же здесь разведчиков! — озадаченно произнесла Ирочка.

— Наше начальство выбрало эту турбазу потому, что она находится на отшибе и здесь тихое место. Нам не разрешают отдыхать на модных курортах.

— Но почему?! Ведь у вас такая трудная работа.

— Там можно нарваться на людей из иностранных разведок. А в Плависе никого, кроме своих, не встретишь. Правда, на всякий случай мы делаем вид, что не знакомы друг с другом. Обрати внимание, например, вот на этого товарища. Только осторожно, не смотри так пристально в его сторону.

Шагах в пятнадцати от нас на песке лежал мужчина средних лет, во всяком случае, еще не старый и отнюдь не толстый, но с очень большим животом. Приподнявшись на локте, из-под надвинутой на глаза соломенной шляпы он смотрел на играющих в мяч. Его большое розовое брюхо скособочилось и лежало рядом, как бы отдельно от него, словно тыква на грядке в огороде. Взглянув на него, Ирочка засмеялась рассыпчатым серебристым смехом.

— Оленька, посмотри, какой смешной дядечка!

— Не надо над ним смеяться, — сказал я. — Ему живется вовсе не сладко.

— Откуда вы знаете?

— Неважно откуда, но знаю. Имей в виду, если у человека отрастает такой живот, значит, он мало двигается и много страдает.

— От чего страдает?

— От несварения желудка.

— Нет, вы, наверное, шутите!

— У нас не принято шутить над товарищами по оружию, — сказал я сухо. — Этот человек почти четыре месяца не слезал с пальмы и питался одними бананами, выполняя спецзадание в низовьях Амазонки.

— Правда?!

— Зачем же мне тебя обманывать?

Ирочка испытующе посмотрела на меня.

— Ой, да ну вас, Герман! — она снова рассмеялась, но тут же спохватилась и сомкнула губки, чтобы скрыть щербинку. — Я думала, вы и правда, а вы, оказывается, шутите.

— Это я специально.

— Зачем?

— Чтобы увидеть, как ты смеешься. Когда ты смеешься, то становишься еще более хорошенькой.

— Ой, ну вы меня прямо в краску вгоняете! — она приложила руку тыльной стороной к щеке. — Олечка, посмотри, я покраснела?

Оленька внимательно и серьезно взглянула на подругу и, хотя на загорелом личике Цыпленка румянец не был заметен, молча кивнула. Мне кажется, за все время я так ни разу и не услышал ее голос.

— Ну, вот видите! — сказала Ирочка. — Герман, ну правда, не надо так!

— Я не могу тебе обещать, что больше не буду.

— Почему же?

— Потому что когда ты смущаешься и краснеешь, то становишься даже еще красивее, чем когда смеешься. И смотреть на тебя в это время очень даже приятно. Зачем же я буду лишать себя такого удовольствия?

— Ну вот, вы опять! Ну, вы прямо совсем какой-то невозможный!

— Хорошо, солнышко, я больше не буду. Если тебе это неприятно, я не стану говорить тебе, что ты на редкость хорошенькая и милая девочка.

— Просто я очень стесняюсь, — сказала Ирочка и действительно залилась румянцем.

Впрочем, мне и самому перестал нравиться этот разговор. «Вот так всегда, — подумал я. — Вовремя не остановишься, а потом самому становится противно от своей болтовни». Кроме того, мне вовсе не хотелось, чтобы эта милая, доверчивая девочка с первых шагов своей взрослой самостоятельной жизни стала объектом кобеляжных маневров Валентина. Между тем, рассказывая небылицы о подвигах моего приятеля, которым она, похоже, по большей части верила, я, по сути дела, лил воду на его мельницу. От этой мысли мне и вовсе стало не по себе. Я лег на спину и закрыл глаза.

Ирочка некоторое время возилась, шуршала чем-то, щелкала замочком пудреницы, потом затихла. Совсем легкий ветерок с залива приятно оведал мое тело, и было хорошо лежать так без мыслей, без чувств, словно растворившись в истоме и в солнечном свете этого прекрасного дня.

Позже, когда я открыл глаза, обе девушки лежали рядом, наверное, задремали. Ирочка налепила на курносый носик клочок белой бумаги. Я бесшумно встал и пошел к воде. Песок под ногами становился влажным и прохладным. От берега до отмели вода была прозрачная и совсем теплая — прогрелась от солнца. За отмелью дно плавно понижалось. Погрузившись по пояс, я несколько раз окунулся с головой, чувствуя, как холод охватывает все тело, лег на спину и, глядя в глубокую синь неба, медленно поплыл от берега.

Валентин вернулся с пляжа через полчаса после меня. Чуть раньше заходил Боря из АПН, и мы договорились ближе к шести встретиться на корте. Когда пришел Валентин, я лежал на кровати. В комнате была приятная прохлада, свежо и сильно пахло хвоей.

— Знаешь, похоже, у меня дело идет на лад, — сообщил Валентин, с довольным видом усаживаясь против меня на свою постель.

— Поздравляю.

— Поздравлять пока рано, но, во всяком случае, она не брыкалась, когда я после волейбола сгреб ее в охапку и потащил в воду, чтобы искупать.

— Просто она по своей наивности не догадывается, что будет дальше.

— Я, конечно, ничего такого себе не позволял. Но, по-моему, девчушка порядком сомлела.

— Еще бы! Ты бы видел, с каким восхищением она смотрела на твои ужимки и прыжки.

— Ты тоже заметил? — Валентин рассмеялся. — И мне показалось, что тут я попал в точку.

— Ты попал сразу в две точки, если уж на то пошло. Московские девицы тоже не спускали с тебя глаз.

— Но ты не расстраивайся, — сказал Валентин, укладываясь на постель. — Ты тоже понравился Цыпленку.

— Мне ей нравится совершенно ни к чему.

— Рассказывай! Стал бы ты вешать ей на уши всю эту лапшу! Не представляю, чем ты ее довел до такого состояния. Она мне все уши прожужжала. Герман, говорит, такой умный, такой умный!

— Девчушки всегда говорят про мужиков, что они умные, когда им больше нечего сказать, а обижать человека не хочется. Так что успокойся, я тебе не конкурент.

— Никогда не поверю, что тебе не нравится никто из этих девиц.

— Почему же? Нравится, конечно.

— Кто, например?

— Да хотя бы Цыпленок.

- Ты же сам сказал, что она слишком маленькая.
 - Слишком маленькая, чтобы приставать к ней с глупостями. А чтобы нравиться, она достаточно большая.
 - Давно ли ты стал так заботиться о нравственности девчушек?
 - Достаточно давно, — нехотя ответил я.
 - Что-то я не замечал.
 - Таких девочек надо беречь, иначе скоро их совсем не останется. Странно, что ты сам этого не понимаешь.
 - Пускай берегут другие. А мне нравится с ними дружить.
- Разговор был вполне мирный, даже дружелюбный, но я почувствовал, что самоуверенность и самодовольство Валентина начинают меня раздражать.
- Дружи на здоровье, — сказал я. — Но только учти, что с Цыпленком ты только зря потеряешь время.
 - Это еще почему?
 - Я ее предупредил, чтобы она не очень-то развешивала уши, — соврал я.
 - Чует мое сердце, что ты подложил мне какую-то свинью.
 - Сам виноват. Нечего было опять затевать этот идиотский разговор о разведшколе. Я же тебя просил.
 - Не обижайся. Уж очень мне понравилась эта девчушка. Надо было как-то нейтрализовать конкурентов.
 - Ты зря беспокоишься. Конкурентов у тебя здесь нет.
 - А эти двое, что были с ними в столовой?
 - Они не в счет. Посмотри на себя в зеркало. Им с тобой тягаться просто невозможно. Особенно после твоего выступления на пляже.
 - Ведь они к ней пристали еще до пляжа.
 - Во всяком случае, не вздумай лезть к ней с глупостями. Иначе она будет от тебя шарахаться.
 - Что ты ей сказал?
 - Сказал, что ты действительно настоящий герой, гордость отечественных разведслужб. Но за тобой водится маленькая слабинка, из-за которой получают всякие неприятности.
 - Какая еще слабинка?! — Валентин сел на кровати и уставился на меня.
 - По части девчушек. Я рассказал ей, что ты провалил из-за этого ответственную операцию в Стокгольме и тебя едва не уволили из органов, но за особые заслуги временно разжаловали в простые прапорщики.
 - Этого мне только не хватало!

Валентин снова лег на спину, уставился в потолок и обиженно замолчал. Зная отходчивость моего приятеля, я не придавал этому значения. Позже я собирался признаться ему, что история со стокгольмским провалом — очередная брехня и что никакого разговора с Цыпленком у меня не было. Однако молчание становилось тягостным. Я поднялся с постели, взял ракетку, теннисные тапочки и спустился вниз — каждый день перед ужином, когда спадала жара, мы с Борей из АПН час-полтора играли в теннис.

На балконе обладатель большого розового живота, не подозревая о своих подвигах в низовьях Амазонки, резался в поддавки с другим любителем шашек. Несколько человек, и среди них доктор Павленко, наблюдали за их игрой. В дальнем конце балкона сидела в шезлонге, подставив солнцу лицо, одна из московских девиц.

Чтобы скоротать время до прихода Бори из АПН, я достал из будочки в углу площадки метлу и стал подметать корт. Он был уже довольно густо усыпан сухими листьями и сосновыми иглами.

Боря из АПН жил где-то в поселке, кажется, снимал комнату. Он ни разу не пригласил нас к себе, хотя проводил с нами достаточно много времени и нередко заглядывал к нам на вечеринки. Знакомясь в день нашего приезда на турбазу, он сообщил, что вообще-то работает в Агентстве печати «Новости» — поэтому мы и прозвали его Боря из АПН, — но взял отпуск за свой счет на все лето и устроился на турбазу радистом, чтобы, по его словам, отдохнуть от сумасшедшей московской жизни.

Подспудно я чувствовал к нему не то чтобы расположение, но интерес, особенно после того, как услышал его игру на рояле. Проходя однажды после ужина через вестибюль, я обратил внимание на звуки фортепиано за закрытой дверью музыкального салона. Кто-то с большим чувством исполнял тему Терри из чаплинских «Огней рампы» — одну из самых завораживающих мелодий, которые мне когда-либо довелось слышать. Приоткрыв дверь, я увидел в пустом полутемном зале Борю из АПН. Он сидел за пианино и проникновенно, с большим чувством играл прекрасную музыку. Я подумал тогда, что, очевидно, у нас с ним гораздо больше общего, чем я мог предполагать. Помнится, эта догадка меня не обрадовала: Боря из АПН был не совсем обычным, но не слишком приятным человеком.

Я так и не смог привыкнуть к его чудачествам и никогда не знал, чего от него можно ожидать. На этот раз он вытворял на корте такое, что впору было не играть в теннис, а принимать усиленную дозу транквилизаторов. Он носился по площадке как ошпаренный, высоко подбрасывая колени и растопырив локти. При его черных «семейных» трусах до колен и мохлятых волосатых ногах зрелище было настолько несуразным, что я смотрел главным образом на него и часто промахивался по мячу. Минут через двадцать я не выдержал и подозвал его к сетке. Он подошел, поправляя на носу очки.

— Чего тебе?

— Откуда у тебя такая манера носиться по корту? Я такого никогда не видел.

— Я прочитал в книге Анри Коше, что это позволяет лучше мобилизоваться и увеличивает быстроту реакции.

— Ты что-то перепутал, — сказал я. — У нас дома тоже есть книжица Коше, но мне помнится, он рекомендовал такую беготню, чтобы после игры попасть в душевую раньше своих соперников.

— Тебе бы все шутки шутить, — сказал Боря из АПН, поджимая губы.

— Я тебя прошу, перестань. Я не попадаю по мячу, из-за того, что приходится смотреть, как ты бегаешь. Зрелище не для слабонервных.

— Это твоя проблема, — он тонко усмехнулся. — А мне надо отрабатывать новый стиль. Я же вижу, насколько это повышает класс игры. В следующий раз, когда будем играть на счет, я разделаю тебя в пух и прах.

К счастью, скоро пришли Цыпленок с Ольгой.

— Можно мы тут посидим? — робко спросила Ирочка.

— Конечно! — обрадовался я. — А где Валентин?

— Он сказал, что у него деловое свидание.

— Садитесь и смотрите. Сейчас Борис Аркадьевич покажет вам такое, чего вы в жизни не видели. Может, после этого и вам захочется поиграть.

Девушки сели на скамеечку под тентом и стали наблюдать за игрой. При них Боря из АПН перестал кривляться, и игра у нас наладилась.

Ужинали мы за одним столом с Цыпленком и Оленькой. Валентин был молчалив и потому особенно импозантен. Очевидно почувствовав перемену в его настроении, Ирочка немного сникла, казалась рассеянной и грустной. Я надеялся, что Валентин отнесет подавленность Цыпленка за счет того, что она переживает свое ра-

зочарование в нем в связи со стокгольмским конфузом, и что это сдержит его напор. Действительно, когда потом мы вместе до самых сумерек гуляли по пляжу, любуясь розовым закатом, мой приятель был более разговорчив, но на свой обычный слегка развязный тон не переходил и, по-моему, очень от этого выигрывал. Он лишь отпускал колкие шуточки в адрес гуляющих.

Мы несколько раз на встречах курсах разминулись с двумя москвичками. Для вечерней прогулки они переоделись и выглядели очень нарядными. При их приближении в голосе Валентина появлялись мужественные басовитые нотки. Постепенно он впал в свое обычное, боевое расположение духа и, как мне показалось, был готов к новым подвигам. Я не без удовольствия подумал, что заигрывать теперь он будет не с Ирочкой — к ней он почти не обращался.

После захода солнца мы в прохладных сумерках вернулись на турбазу. Из открытой двери зала в вестибюль доносилась музыка. Йонас и Боря из АПН хлопотали около большой радиолы, стоявшей у окна. Валентин окончательно взбодрился.

— Сейчас мы от души попляшем! — сказал он, потирая руки.

Когда, переодевшись, мы снова спустились вниз, посредине ярко освещенного зала под рокоучущие такты «Голубого Дуная» уже кружились несколько пар. Боря из АПН с легкостью и щегольством, удивительным при его нескладной фигуре, скользил по паркету, увлекая в стремительном и плавном движении нашего Цыпленка. Широкая юбка Ирочкиного белого платья с крупными бордовыми цветами по подолу винтообразной волной вздымалась вокруг ее ног. На стульях вдоль стен сидела публика, наблюдая за танцующими.

После вальса Ирочка разругаясь, ее глаза влажно блеснули. Она улыбалась рассеянной и мечтательной улыбкой, и было приятно, но почему-то грустно смотреть на нее. Мы стояли и болтали о каких-то пустяках. К нам подходили мальчишки из их группы, Боря из АПН, еще какие-то молодые люди. Они уводили наших девушек танцевать, но каждый раз Ирочка, а за ней и Ольга возвращались к нам.

Танцующих прибывало. Доктор Павленко, покачивая плечами и стараясь попасть в такт, топтался возле молодой толстой тетке без талии. Он обхватил ее так, словно это был холодильник, который он собирался в одиночку сдвинуть с места. С его лица не сходило выражение, удивившее меня утром в вестибюле. Москвички сидели в сторонке, смотрели на танцующих и, кривя губки, обменивались репликами. Они явно выделялись из этой беззаботно веселившейся толпы своими нарядами и особым московским налетом. К ним никто не решался подойти. Валентин, приосанившись, издали бросал в их сторону гипнотизирующие взгляды. В его лице читалась несложная гамма чувств — мысленно он уже преодолел разделявшую нас дистанцию, но подойти к ним явно робел.

— Клевые девчушки, — сказал он, заметив мой взгляд, когда Цыпленка и Оленьку в очередной раз увели танцевать.

— Да, девчушки хоть куда, — согласился я.

— Надо их кадрить, — сказал Боря из АПН, который стоял рядом.

— У тебя нет никаких шансов, — сказал я. — Не надо было на пляже выступать в negligé. Ты бы видел, с каким ужасом они смотрели на твои прыжки. — Зрелище и правда было жуткое.

— Это мы еще посмотрим.

— Но я думаю, Гера, и тебе слабо к ним подойти, — сказал Валентин.

Я мысленно поздравил своего приятеля с находкой. Он придумал не самый плохой ход, чтобы завести знакомство.

— Мне это не надо, а то бы я подошел.

— Рассказывай, не надо! Скажи уж прямо, что кишка тонка!

Валентин меня явно подзуживал. Чтобы дать ему возможность отыграться за давешнюю обиду, которую я причинил ему разговором с Цыпленком о стокгольмском скандале, приходилось делать вид, что его подначка задела меня за живое. На самом деле московские красотки не вызывали у меня ни симпатии, ни интереса. Тем не менее я сказал:

— Давай поспорим, что подойду.

— Спорим на бутылку коньяка! — обрадовался Валентин.

— Годится. Вместе и выпьем.

Видимо, моя решимость его смутила, потому что он добавил:

— Только сразу договоримся: ты к ним не будешь приставать с глупостями. А то, пожалуй, тебе достанется и коньяк, и девчушки. Ведь ты их уболтаешь.

— Не беспокойся. Они меня не интересуют.

— Если тебя не интересуют такие клеевые девчушки, то плохи твои дела, — констатировал Валентин.

— Только не вздумай заикаться насчет разведшколы, — предупредил я. — Здесь этот номер не пройдет. Только поставишь и себя, и меня в дурацкое положение.

— За кого ты меня принимаешь!

— Извините, пожалуйста, наше любопытство, — сказал я, когда мы с Валентином подошли к двум девицам. — Если это не секрет, откуда вы приехали?

— Из Москвы, — ответила та из них, что была поживее и держалась более естественно.

— Тогда нам нужен ваш совет. Моему товарищу очень хотелось бы узнать, какие у вас там порядки.

— Что вы имеете в виду?

— Например, что у вас принято говорить, если хочешь подружиться с незнакомой девчушкой, но при этом не хочешь, чтобы она подумала, будто ты собираешься приставать к ней с глупостями?

Девушки переглянулись и засмеялись.

— А вы оригинал! — сказала моя собеседница, блестя глазами.

— Я тут ни при чем. Это все мой друг. Кстати, его зовут Валентин. Вы произвели на него прямо-таки ошеломляющее впечатление.

— Но-но, ты не очень-то загибай! — вставил Валентин.

— Валя, не надо стыдиться этого чувства. Когда встречаешь таких девчушек, немудрено лишиться дара речи.

— Ну, вы, однако, и болтун, — сказала девушка.

Мне показалось, что она заинтригована.

— Вовсе нет. Валентин подтвердит, что обычно я немногословен. Просто за этим словоблудием я пытаюсь скрыть дрожь в коленях, которую до сих пор не могу унять.

Девушка снова засмеялась. Ее подруга отчужденно молчала.

— Короче, давайте дружить, — брякнул Валентин.

— Мой друг хочет сказать, что мы собираемся танцевать медисон и будем счастливы, если вы составите нам компанию.

— А вы танцуете медисон? — наконец подала голос вторая девушка, которая была очень красива.

— Почему бы и нет?

— Гера, короче, — перебил Валентин. — Пойди закажи Йонасу подходящую музыку, а я пока посторожу девчушек, чтобы их никто не увел.

Йонас стал мотать кассету, чтобы найти запись Луи Прима «На солнечной стороне улицы», а я вышел в пустой вестибюль и подошел к регистратуре. Инга одино-

ко сидела с книгой в руках в кресле, где наши регистраторы коротали часы вечерних дежурств.

— Инга, пойдем потанцуем.

Она подняла на меня свои ясные глаза, улыбнулась и покачала головой.

— Спасибо за приглашение. Но я не могу.

— Почему?

— Я же на работе.

Она заложила пальчиком страницу книги, которую держала на коленях.

— Никто не заметит, если ты отлучишься на пять минут. А тебя это немного развлечет.

— Мне вовсе не скучно

— Ну, пожалуйста, Инга! Мне так нравится танцевать с тобой медисон. Не зря же я тебя учил.

— А сейчас будет медисон?

Я увидел, что она колеблется.

— Поэтому я за тобой и пришел. Я же знаю, что он тебе нравится.

— Конечно, нравится, но все-таки я не могу, — повторила она.

— Очень жаль.

— И мне жаль, — сказала она просто и снова раскрыла книгу.

Вместе с девушками из Москвы, Йонасом и Борей из АПН желающих потанцевать медисон набралось человек восемь. Мне пришлось пристраиваться к ним уже на ходу. Вернувшись в зал, я подумал, что когда сам танцуешь этот танец, не видишь, насколько красиво выглядят со стороны замысловатые плавные движения, выполняемые синхронно несколькими танцорами. Хуциев неспроста снял его в одном из эпизодов «Июльского дождя», но, на мой взгляд, он выбрал не самые красивые па, чтобы получилось действительно эффектное зрелище.

Музыка стихла, цепочка танцующих рассыпалась. Со всех сторон раздались громкие и довольно дружные аплодисменты. К девицам из Москвы подошел Боря из АПН. Не говоря ни слова, он взял руку Алены и молча припал к ней в долгом поцелуе. Девушка в изумлении и замешательстве смотрела на странного субъекта в темных очках, не зная, как себя вести. Я первый раз видел ее растерянной.

— Но послушайте... — произнесла наконец Алена.

— Ради бога, молчите! — воскликнул Боря из АПН. — Дайте мне справиться с волнением.

Он продолжал смотреть ей в лицо с карикатурным благоговением, не выпуская ее руки. Девушка не выдержала и засмеялась. Она хотела что-то сказать, но он снова перебил ее.

— Умоляю, не надо ничего говорить! Такие мгновения должны проходить в полном молчании! — он снова поцеловал ей руку. — Страшно подумать, что эта встреча могла не состояться!

— Ну, вы оригинал! — сказала Алена. — Я такого еще не встречала...

К нам подошла Ирочка, и я не слышал продолжения их разговора.

— Какой чудесный танец! — глаза Цыпленка сияли. — Я тоже хочу научиться.

— Хорошо, завтра я тебе его покажу, — сказал я. — Ты так хорошо танцуешь, что тебе будет нетрудно его выучить.

— И Олечку тоже научите, хорошо?

— Конечно, и Олечку научу.

— Тогда мы сможем потанцевать его на мой день рождения.

— А когда он у тебя? — спросил я.

- Уже совсем скоро. Двадцать второго сентября.
- Когда?! — невольно переспросил я.
- Двадцать второго. Меньше, чем через три недели. А почему вы так удивились?
- Потому что, у меня тоже двадцать второго.
- Правда?! — она всплеснула руками. — Как это замечательно! Как было бы хорошо отпраздновать вместе! Вы такие добрые и веселые!
- Мы исключительно добрые, — вставил Валентин совсем некстати. — Особенно когда спим зубами к стенке.
- Ирочка рассмеялась своим звенящим смехом.
- Валечка, какой же вы смешной и милый!
- Заиграла музыка.
- Сейчас мы опять спляшем медисон! — воскликнул Валентин и хлопнул в ладоши. — А ну, приготовиться!
- Мимо нас, лавируя между людьми, прошел доктор Павленко. Я окликнул его.
- Простите, коллега. Можно вас на минутку?
- Он в нерешительности остановился.
- Сейчас мы снова танцуем медисон. Не хотите ли к нам присоединиться?
- Я не умею его танцевать.
- Нужно срочно научиться. Это очень облегчит вам жизнь.
- Каким образом? — он недоверчиво сощурился на меня сквозь очки.
- Вы увидите мир другими глазами.
- Едва ли это возможно. Видите ли, я по специальности эндоскопист. Так что увидеть мир другим у меня наверняка не получится.
- Тем более надо попробовать! Я при первой же возможности преподам вам урок.
- Ну что же, я согласен. Вот только...
- Извините, — сказал я, потому что Боря из АПН крепко взял меня за локоть и довольно решительно повлек в сторону.
- Гера, послушай, — сказал он, дыша мне в лицо. — Я договорился с одной девчушкой, чтобы поехать ко мне. Но она ни в какую не хочет ехать без подруги. Выручи, будь другом. Поедем, а?
- Позови лучше Валентина.
- Нет уж, спасибо. Он так выручит, что потом сам останешься ни с чем. Я же вижу, какой у него нахрап. Ты мне подходишь больше.
- Но у меня совершенно нет настроения для таких забав.
- Да от тебя ничего и не требуется! Проводишь нас до моего бунгало, посидишь для блезиру минут двадцать, пока они расслабятся, а потом смоешься, если захочешь. У меня и выпить найдется, — добавил он для убедительности, — я взял в буфете бутылку коньяка.
- Я покачал головой.
- Уволь, друг мой. И пить я не настроен.
- Ты лишаешь меня возможности совершить высшее из всех таинств, — дрогнувшим голосом, мрачно проговорил он.
- Интересно, какое?
- Таинство любви, конечно. В конце концов, должна же быть какая-то мужская солидарность.

Они ждали нас на балконе, и при свете, падавшем из окон вестибюля, я успел разглядеть их. Рядом с плотной, даже толстой блондинкой, щекастой и курносой, с близко поставленными маленькими глазками (про себя я сразу окрестил ее

Хрюшкой), я увидел девушку, которую заметил еще на пляже. Она стояла тогда в кружке играющих в волейбол с таким видом, словно не надеялась, что кто-нибудь подаст ей мяч, и по-женски неуклюже, стесняясь своей неловкости, отбивала его. У нее были неразвитые плечи, красивая прямая осанка и такие длинные полноватые ноги, что она казалась даже высокой, хотя теперь на балконе я увидел, что она среднего роста.

«Ай да Боря! — думал я, налегая на педали и едва поспевая за Борей из АПН, катившим впереди меня по темному шоссе (к счастью, мне достался дамский велосипед, и Хрюшка сидела у меня за спиной на багажнике). — Ай да Боря! Мне бы и в голову не пришло вот так сразу пригласить девушку с пляжа к себе. Я был бы уверен, что она откажется, такой она выглядит застенчивой и скромной».

На веранде, где было достаточно света, она показалась мне даже миловидной. Серые, как бы наплаканные глаза придавали ее лицу трогательное и беззащитное выражение. Мне уже тогда больше нравились не эффектные и самоуверенные девицы, на которых в толпе оглядываются мужчины, а неброские, на первый взгляд неприметные девушки, погруженные в себя, в свои невеселые мысли. Они что-то скромно делают в сторонке, ворошат какие-то бумажки, моют посуду, прибираются, словно понимая, что все равно не могут тягаться с нахрапистыми красотками. Те умеют себя подать и пользуются близорукостью мужчин, неспособных отличить умелый макияж и яркую стандартную внешность, позаимствованную у рекламных прототипов, от подлинной женственности.

Уже потом, став старше, я осознал, что именно так привлекало меня в этих застенчивых, скромных девочках. Это было рано проснувшееся почти отеческое, а по сути, настоящее мужское чувство, к которому примешивалось нечто похожее на жалость. Мне казалось, что они незаслуженно обделены вниманием, хотелось сказать им что-нибудь хорошее, утешительное, как-то объяснить, что на самом деле они-то и есть самые очаровательные, самые милые и женственные существа. И эта девушка с пляжа, что сидела с нами за столом на веранде у Бори из АПН, казалась мне несравненно более привлекательной, чем московские красотки, даже чем наша Ирочка. Тогда на взморье она была всего лишь прелестным беспечным ребенком. В ней еще не пробудилась пленительная женственность, которую тонко чувствует мужчина, если, конечно, над прочими побуждениями у него не доминирует кобелиная похоть.

Хрюшка хихикала на двусмысленные шуточки нашего хозяина, девушка с пляжа сидела пригорюнившись, не притрагиваясь к рюмке, подавленная и особенно трогательная. Но теперь я чувствовал к ней почти неприязнь, во всяком случае досаду. Почему-то меня задело, что она так легко поддалась на уговоры Бори из АПН. Впрочем, и тут я нашел для нее оправдание. Мне хотелось думать, что она согласилась поехать к нему по своей неискренности, не задумываясь о том, что последует за этим приглашением.

От скромной закуски — на столе, кроме черствого хлеба и банки болгарского лечо в томате, не было ничего — Боря из АПН быстро окосел. Он нес какую-то скабрезную чушь. Хрюшка веселилась, девушка с пляжа выглядела грустной, но не испуганной. Казалось, обе они вполне освоились с обстановкой. Я решил, что в моем присутствии нет больше никакой нужды, и уже собирался удалиться, но тут Боря из АПН поволок свою девицу на улицу, якобы чтобы нарвать яблок к столу. Она несмело последовала за ним.

Не прошло и минуты, как снаружи — за окнами веранды стояла непроглядная темень — послышался шум, возня, как будто треск ломаемых сучьев. Потом раздался возмущенный возглас Бори из АПН, и в распахнувшуюся со звоном стекол дверь

влетела девушка с пляжа с красным изменившимся лицом и сбившейся прической. За ней, потирая скулу и глухо матерясь, ввалился наш хозяин. Девушка с пляжа забилась в угол и при каждой попытке Бори из АПН приблизиться к ней — он норовил схватить ее за руки — она шарахалась и жалась к своей толстой подруге.

Я избегаю пить в незнакомой компании. Две рюмки коньяка не произвели на меня никакого действия, а потому очень скоро я почувствовал, что хамское поведение Бори из АПН по отношению к девицам — за кого бы он их ни считал — задевает и мое мужское достоинство. По сути, мое бездействие означало, что я отношусь к его безобразиям с сочувствием или, по крайней мере, с пониманием.

— Кончай дурить! — сказал я довольно строго. — Или мы сейчас уходим.

Он зловеще уставился на меня через стол сквозь дымчатые очки, пытаюсь осмыслить услышанное. Девушка с пляжа, почувствовав поддержку с неожиданной стороны, пересела поближе ко мне. Боря из АПН тяжело поднялся из-за стола и, пошатываясь, направился к двери.

— Выйди на минутку, — бросил он мне на ходу.

Мы остановились в нескольких шагах от веранды.

— Так и быть, я займусь толстухой, а ты можешь разбираться с моей девчужкой. Договорились?

— Я же сразу тебе сказал, что мне это ни к чему. Разбирайся с ними сам, а я пошел.

— Нехорошо предавать друга в такую минуту, — проговорил он глухо, с обидой. — Это не по-мужски.

— Так ты считаешь меня своим другом?

— Конечно, — ответил он и рыгнул.

— Так бы сразу и сказал.

Прокляная своя слабохарактерность, я поплелся за ним обратно в дом. В комнате света не было — якобы перегорела лампочка. Постель была узкая, неудобная, с провисшей панцирной сеткой, и как я ни пытался отодвинуться, мы с ней лежали словно в люльке, вытянувшись во весь рост, тесно прижатые друг к другу. В темноте из другого угла доносились возня, сопение, вздохи. На все лады скрежетала и лязгала металлическая арматура их кровати. Время от времени слышался сдавленный голос Хрюшки: «Ну, ты чё, совсем, что ли?!», «Ну, ты и даешь!», «Да ты чё?!». Девушка с пляжа лежала не шевелясь, точно окаменела, только вздрагивала при каждом возгласе подруги.

Потом все стихло, и почти сразу раздался храп Бори из АПН, причем такой, как если бы рядом завели трактор без глушителя. Казалось, можно было расслабиться, но она никак не могла унять дрожь. И тут во мне теплой волной поднялась жалость и нежность к этой милой блеклой девочке с красивой фигурой, которой и так-то несладко живется в каком-нибудь беспросветно унылом Веневе или Белеве, без радости, без надежды на что-то лучшее. Стало обидно за нее, за все то хамство, которое ей только что пришлось вытерпеть от этого вдрызг пьяного мужика, за то, что ей приходится лежать в постели с незнакомым и совершенно чужим ей мужчиной. Я высвободил руку, осторожно погладил ее по голове и шепнул: «Лежи спокойно и ничего не бойся». Она затихла и перестала дрожать.

Как видно, подруга ткнула Борю из АПН кулаком в бок — храп внезапно оборвался. Девушка с пляжа лежала так тихо, что я не слышал ее дыхания, только немного обмякла, была уже не так напряжена. Я стал засыпать. Уже начали подступать ко мне какие-то фигуры и образы из сновидений, когда она вдруг приподнялась на локте и в темноте нашла мои губы своим горячим жадным ртом.

День второй

Спал я плохо, во сне гонял по чужим огородам злого, бодливого козла и никак не мог за ним угнаться. Я был в отчаянии оттого, что так и не сумел перехитрить коварное животное, проснулся в поту, разбитый и недовольный собой, не сразу сообразил, где нахожусь, а вспомнив вчерашнее, еще больше расстроился. Голова не болела, но во всем теле была ломота. Я с трудом доковылял от кровати до веранды, ярко освещенной солнцем. С вечера я забыл завести часы, и они остановились на половине шестого. В доме никого не было. На столе среди остатков вчерашнего ужина лежали ключ и записка: «Запри дверь и сдай ключ хозяину бунгало».

Как видно, у Бори из АПН настроение было не лучше моего. Когда я зашел к нему в радиоузел, его лицо напоминало стоптанный башмак. Взглянув на него, я окончательно приуныл. Стало понятно, почему Инга, отдавая мне ключ от комнаты, так пристально посмотрела мне в лицо и отвела взгляд. Сильно хотелось есть, но завтракать я не пошел, даже обрадовался, что все уже ушли в столовую и ни с кем не нужно вступать в разговор. Я, не раздеваясь, лег на кровать, отвернулся к стене и притворился спящим.

Валентин, вернувшись с завтрака, стал собираться на пляж, доставал что-то из тумбочки, несколько раз сдержанно кашлянул. Его наверняка разбирало любопытство, но я не собирался делиться с ним впечатлениями о вчерашнем приключении. Потоптавшись по комнате, он ушел. Где-то в коридоре еще хлопали двери, слышались шаги и голоса, потом все стихло. Кажется, я ненадолго задремал. Краткий беспокойный сон не принес облегчения. Избегая смотреть в зеркало, я умылся холодной водой из-под крана, наскоро перекусил в буфете, не вступая в разговор со словоохотливой буфетчицей Марией Густавовной, и через заднюю дверь вышел из корпуса под сосны. Ближний пляж, где собирались отдыхающие с турбазы, я обошел стороной. Мне не хотелось видеть ни Валентина, ни Цыпленка, вообще никого из нашей компании.

Я довольно долго шел, не разбирая дороги, между деревьями, наконец, миновав дюны, вышел на берег, оглянулся и с облегчением вздохнул. Самая людная часть пляжа осталась далеко позади, кругом были лишь белый песок, темная зелень сосен да блеск моря там, где ветер сдувал гладь с поверхности залива. Я разулся, закатал брюки до колен, снял рубаху и, всячески презирая себя, не спеша побрел вдоль кромки воды. Я был на берегу совсем один, с обостренным чувством одиночества, простора, окружающей красоты. Постепенно опустошенность и недовольство собой уступили место мыслям, которые с самого приезда в Плавис я от себя упорно гнал.

В то лето я пережил первую в своей жизни и, возможно, единственную настоящую любовь. Я полюбил девушку настолько пленительную, что первые дни от одного взгляда на нее у меня сбивалось дыхание и начинали путаться мысли. Она проходила практику в одной из редакций на радио, где мы с Валентином работали звукооператорами. Ее отношение ко мне не оставляло надежды на взаимность. Она не тяготилась мною, порой мне казалось, что мое присутствие ей даже приятно, но во время наших встреч, прогулок, поездок к ней на дачу она чаще всего просто не замечала меня, была постоянно погружена в свои мысли, жила в каком-то своем, недоступном для меня мирке. Глядя на ее прелестное лицо, на застенчиво потупленные прекрасные глаза, я все больше погружался в стихию волшебных грез и все лучше сознавал, что погибаю. Для меня было очевидно, что ничего, кроме жестоких страданий, это чувство мне не принесет, но у меня не доставало силы воли прекратить наши встречи. Я обнаружил, что в буквальном смысле этого слова не могу без нее жить.

Полтора месяца продолжалась эта пытка, и вдруг в один из дней середины июля на меня свалилось счастье, о котором я не мог и помышлять. Она не умела притворяться, и ее внезапная нежность ко мне не могла быть вызвана одной лишь признательностью за то благоговейное обожание, которое я испытывал к этой целомудренной девочке и которого она не могла не замечать. Я пережил тогда дни, наполненные такими упоительными чувствами и переживаниями, после которых, как мне казалось, не страшны долгие годы бесцветного и беспросветного существования. А спустя три недели это кончилось так же внезапно, как началось. Она перестала звонить мне, не отвечала на мои звонки и явно меня избегала.

С тех пор я пребывал в странном состоянии, словно постоянное употребление сильных транквилизаторов притупило мои рефлексy и способность соображать. Все происходящее вокруг я воспринимал так, словно оно не имело ко мне отношения, а потому не вызывало у меня естественных реакций и чувств. На работе, во время наших вечеринок, разговоров с девушками я безучастно наблюдал себя со стороны, был постоянно собой недоволен, а когда оставался один, меня охватывало беспросветное уныние. Из-за жестокого внутреннего разлада я находил даже какое-то злорадное удовлетворение, рассказывая нашим новым знакомым на турбазе небылицы о подвигах Валентина и наших коллег-разведчиков. Я все ждал, когда же очевидная абсурдность всей этой абракадабры заставит кого-нибудь из моих слушателей без обиняков сказать, что нам надо отдыхать не на турбазе, а в психиатрическом стационаре.

Меня, как никогда прежде, раздражало бахвальство Валентина, его бесконечные разговоры о девушках, суета, которую он затевал вокруг каждой мало-мальски приметной юбки. Прежде я оправдывал его тем, что после пережитого потрясения (около года назад девушка, считавшаяся его невестой, скоропалительно вышла замуж за туповатого, самоуверенного, недалекого и к тому же рыжего слушателя военной академии) Валентин вроде бы имеет право отвести душу. Но теперь, понаблюдав за маневрами моего приятеля вокруг Цыпленка, я взглянул на наши забавы другими глазами и неожиданно для себя обнаружил, что вовсе не хочу, чтобы эта очаровательная простодушная девочка с первых шагов своей самостоятельной жизни вкусила прелести тех отношений, которые с таким усердием и — увы — не без моей помощи культивировал Валентин. До меня наконец дошла очевидная нечистоплотность наших, казалось бы, невинных затей.

Два часа, проведенные в полном одиночестве на берегу, когда не нужно было казаться оживленным, выдержанным и придумывать бредовые небылицы про разведку, пошли мне на пользу. Ко мне стало возвращаться душевное равновесие, а недовольство собой сменилось унынием.

В таком настроении я дошел до Меллужи и, поравнявшись с сосновой рощицей, подступавшей к самому пляжу по откосам дюн, свернул в сторону и присел на землю в тени сосны. Мне вспомнилось, как четыре года назад мы с моей любимой тетусшкой и ее сыном, моим кузеном Костей, проводили здесь целые дни. Как и теперь, стояла теплая солнечная погода. Из Дзинтари к нам приезжали двое Костиных приятелей — они отдыхали там с родителями в Доме творчества архитекторов. Мы подолгу валялись на белом песке, купались, играли в чехарду, изредка знакомились с девушками. Те каникулы на взморье запомнились ощущением ничем не омраченной радости молодой, беспечной, свободной жизни. И теперь я подумал, что ничего подобного в моей жизни уже никогда не будет.

Над заливом стояли редкие белые облака, с моря дул ровный ветер. В воздухе то бесшумно, то сухо потрескивая крыльями носились стрекозы, садились совсем

близко на стебли травы. И тогда были видны их радужные, как мыльные пузыри, выпуклые глаза и длинные хвосты, покрытые бурым ворсом. Вдоль пляжа по щиколотку в воде медленно шли, взявшись за руки, загорелый юноша в плавках и девушка с распущенными волосами. Она подобрала подол, не замечая, что сзади ее длинная юбка касается воды. Девушка смеялась гортанным смехом. Им невдомек, подумал я, провожая их взглядом, что ничего нет лучше такой прогулки с любимым среди этого моря света и воздуха, что когда-нибудь она будет вспоминаться как миг счастья, который невозможно вернуть никакими силами. И еще я подумал: остановить бы это мгновение, сохранить в памяти эту красоту, чтобы всегда был со мной этот солнечный день бабьего лета, этот пляж, эта морская даль. И чтобы всегда летали стрекозы, и эти двое, обнявшись, брели по щиколотку в воде, и девушка смеялась счастливым гортанным смехом.

По дороге с пляжа к рестораничку «Меллужи», где я собирался пообедать, мне захотелось взглянуть на дом, где мы с кузенком Костей провели чудесные летние каникулы. Мы снимали тогда комнату на улице Капу у четы Берзиньш. Я хотел зайти к ним, но передумал, а потому сразу знакомой тропинкой прошел через пустырь до улицы Каналу и повернул к нашему рестораничку. Здесь меня ожидал удар. На месте ресторана, где мы каждый день обедали с моей тетушкой и Костей, где по вечерам играл небольшой оркестр, а на площадке перед эстрадой степенно танцевали нарядные пары, — на месте всего этого стоял обгоревший остов. Наружные стены частично уцелели, в окнах кое-где сохранились цветные стеклышки, от которых в солнечные дни таким праздничным казалось освещение в зале. Но теперь в окна были видны лишь обуглившиеся балки провалившихся перекрытий. Наш рестораничок сгорел дотла.

Я несколько минут смотрел на пепелище, ничего не соображая, с таким чувством, будто что-то оборвалось, безвозвратно ушло из жизни. Я постоял так, чувствуя себя постаревшим не на четыре года, а на двадцать лет, потом перешел на другую сторону улицы и, не оборачиваясь, зашагал к остановке автобуса, чтобы ехать в Майори.

Обедал я в кафе «Фантик» на улице Йомас. Случайный сосед по столику, крупный мужчина с добродушным мясистым лицом, достал из свернутой в кулек газеты бутылку водки, воровато оглянувшись, наполнил до краев стакан из-под компота и неожиданно обратился ко мне.

— Будешь?

— Нет, спасибо, — почти с испугом сказал я.

— Ну и ладно, — он спрятал поллитровку, большими глотками опорожнил стакан, вытер губы ладонью, понюхал горбушку и доверительно сообщил: — А я, если не приму хоть стакан, считаю, что день прошел зря. Бульдозеристом в Якутии работаю, так что сам понимаешь.

«Какая же у меня должна быть физиономия, что этот тип так сразу расположился ко мне и стал поверять свои маленькие секреты, — подумал я с горечью. — Видно, совсем плохи мои дела».

На Турайдас мне вспомнилось, как однажды с Костей и его приятелями мы шли по мостовой с пляжа в одних плавках под теплым ливнем, и у нас под ногами, словно мелкая речка, бурлил поток. И люди, спрятавшиеся от дождя под козырьками кафе и магазинчиков, весело подбадривали нас. Снова вспомнилось ощущение беспечной молодости, и стало грустно. Теперь по Турайдас тоже прогуливались курортники, фланировали эмансипированные девицы. Но теперь я почувствовал себя здесь чужим.

На пляже у воды бесформенными темными кучами лежали водоросли, сильно пахнувшие йодом. Отдыхающие копошились в них, вороша мохнатую массу в поисках янтаря. В тире ударами хлыста шелкали выстрелы пневматических винтовок. Курортники кормили чаек, и те, пикируя с резкими криками, хватали хлеб на лету.

Лишь на обратном пути мне повезло. В универмаге не углу Йомас и Стабу, в отделе игрушек на полке я увидел целый выводок обезьянок разного размера и попросил продавщицу показать мне одну из них. Мартышка, сделанная из светло-бурой шерсти и замши, с лукавой симпатичной мордочкой и сильно косящими глазами была необыкновенно хороша. Лучшего подарка к дню рождения Цыпленка не найти, подумал я, а заодно купил еще одну мартышку, самую маленькую, — себе на память. Эта удача меня немного взбодрила. Стоя на остановке автобуса у станции Майори, я с удовольствием представил себе, в каком восторге будет Ирочка от такого подарка.

В битком набитом автобусе я протиснулся подальше от двери и стал смотреть в окно, соображая, когда лучше всего подарить Цыпленку купленную игрушку. В автобусе было тесно и жарко, слева от меня назойливо звучал молодой женский голос. Его обладательница, не умолкая ни на минуту, говорила о тряпках, которые присмотрела в комиссионке в Дзинтари. Между болтливой пассажиркой и мной стояла другая молодая женщина, судя по акценту — латышка. Она односложно отвечала подруге низким сипловатым голосом, слегка растягивая слова. Я чувствовал жар ее упругого бока, плотно прижатого ко мне в толчее автобуса. Не поворачивая головы, я мог разглядеть прядь ее светлых волос, шелушащуюся щеку и выгоревшие ресницы. Перед остановкой автобус притормозил, и ее еще сильнее прижало ко мне. Девушка попыталась отодвинуться, но это ей не удалось. Я стоял не шевелясь, и, повозившись немного, она успокоилась. У нее на пальце я увидел два узких обручальных колечка.

— Интересно, что это тут такое? — спросила ее подруга, с любопытством разглядывая довольно большую толпу мужчин с характерными лицами у магазинчика против остановки, когда мы въехали в Яункемери.

— А кто их знает, — пожал плечом моя соседка.

— Это местная достопримечательность, — сказал я, обращаясь к болтливой девице. — По четвергам для любителей пива здесь бесплатная раздача воблы.

Она была маленького роста, видимо, довольно полная, со смазливym личиком и красивыми голубыми глазами.

— Спасибо, — сказала она с улыбкой. — А то ведь уеду в Москву, так ничего и не узнав.

— Если будут еще вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Я тут немного ориентируюсь, так что смогу вам кое-что объяснить.

— Вы что же, не первый раз на взморье?

— Нет, не первый.

Чтобы перекрыть шум мотора и голоса других пассажиров, мне пришлось наклониться и говорить довольно громко.

— По-моему, тут страшная скучища, — сказала она, играя глазами.

— Кому как. Мы с приятелем не скучаем.

— А вы где отдыхаете?

— В Плависе. Там на турбазе столько веселья, что иной раз не знаешь, куда деваться.

— Как жалко, что я не знала! Хоть бы к вам приехала. А то почти целый месяц прожила в Каугури у Алдоны, а вспомнить нечего.

— Это еще можно поправить.

— Я послезавтра уезжаю, и мне еще нужно кое-что купить.

— Ну, значит, не судьба, — сказал я.

Продолжать пустой разговор с болтливой москвичкой мне не хотелось, а рослая латышка, которая стояла между нами и сразу мне приглянулась, едва я увидел ее лицо, за все время не произнесла ни слова.

— Фу, как противно пахнет бензином, — жеманясь, произнесла московская девица.

В стареньком лазовском автобусе действительно ощутимо попахивало. Я решил предпринять еще одну попытку и сказал:

— Некоторым этот запах нравится.

— Интересно, кому же он может нравиться?

— Мне, например.

— Но почему?! — удивилась девушка.

— Он напоминает мне о трудном, но интересном периоде моей жизни.

— Как может запах бензина напоминать о чем-то интересном?

— Когда я служил в армии, то возил на своем грузовике артиллерийские снаряды для союзников. И в кабине моего «студебеккера» всегда немного пахло бензином.

— Для каких союзников?

— По антигитлеровской коалиции. Дело было в Северной Африке, где мы воевали против корпуса Роммеля.

— Когда же это было?

— Во время войны, в сорок третьем году.

— В сорок третьем?! Сколько же вам лет?

— Скоро стукнет пятьдесят семь.

— Да ладно! — произнесла наконец Алдона.

— Не может быть! — подхватила москвичка.

— Может. Просто там, где я служил, год считался за три. Поэтому чисто внешне я неплохо сохранился.

— Да ладно! — повторила Алдона своим низким сипловатым голосом и усмехнулась.

Немного позже я наклонился к ней и тихо, чтобы не слышала подруга, спросил:

— Извините, а что значат эти два обручальных колечка? Никогда такого не видел.

— Ничего хорошего не значат, — сказала она, мельком взглянув на меня.

При въезде в Меллужи на развилке шоссе у маленького рынка мы сошли с автобуса — девушкам нужно было что-то купить. Дальше пошли пешком по дорожке на обочине шоссе, мимо домиков с пышно цветущими осенними цветами в палисадниках, мимо сгоревшего ресторанчика и маленькой почты, куда мы с кузенком Костей ходили звонить домой, когда жили у стариков Берзиньш. Алдона помалкивала, казалась немного скованной. Ее подруга, наоборот, говорила не умолкая, жеманилась, играла глазками, причем ее монолог протекал в жанре потока сознания, как у акына — «что вижу, о том пою»: «Глядите-ка, видать, этот забор недавно покрасили. Такой длинный, и откуда у людей столько денег?», «Интересно, куда эта тетка поволокла такую большую сумку», «А вон те два мужика сейчас подерутся, я вам точно говорю!». По ходу своего монолога она несколько раз как бы невзначай произнесла: «А вот у нас в Москве...» Когда мы подошли к автобусной остановке в Асари, я не выдержал и спросил.

— У вас в Москве все такие разговорчивые?

Алдона бросила на меня быстрый взгляд, а ее подруга, не заметив подвоха, прощбетала.

— Конечно, когда есть о чем поговорить. А чего же?

По тому, как Алдона искоса поглядывала на меня, как усмехалась на мои невинные подначки в адрес ее подруги, мне показалось, что между ней и мной сплелась тонкая паутинка понимания. В Асари на остановке, где несколько человек дожидались

автобуса, мы сели на лавочку. Подруга Алдоны что-то шепнула ей на ухо, перешла на ту сторону шоссе и засемила по аллее к железнодорожной станции. Подошел автобус, забрал пассажиров, и мы остались на остановке вдвоем. По шоссе мимо нас изредка проезжали машины. Болтливая подруга не возвращалась, мы сидели молча, я не знал, о чем говорить, но чувствовал, что прибаутки сейчас будут неуместны. Рассеянно я взял ее руку и, разглядывая обручальные кольца на ее безымянном пальце, спросил:

— А правда, почему у тебя их два? Как будто два мужа.

— Наоборот, ни одного. Был один, да весь вышел.

— Извини, — сказал я, немного смутившись. — Извини, пожалуйста, что я спросил тебя об этом. Я не хотел...

— Да ладно, чего уж.

Помолчав, она спросила:

— Ты всегда так легко знакомишься с девушками?

— Нет, конечно. Вообще-то я очень стеснительный.

— Не похоже.

Она говорила чуть замедленно, словно с усилием подбирая слова, но правильно строила фразу по-русски. Голос у нее был глуховатый, приятный, грудной. А может быть, мне приятно было слушать ее, потому что с тех пор, как я впервые побывал на Рижском взморье, мне вообще нравится русская речь с латышским акцентом. А главное, мне очень нравилась эта статная молодая женщина, что сидела рядом со мной на опустевшей автобусной остановке. От ее волос, от дешевенького платья, которое казалось тесноватым для ее красивого тела, пахло морем, ветром, свежестью. Я смотрел на ее сухие потрескавшиеся губы, на обветренное лицо, которого не касались кремы и косметика, на ее большие шершавые руки, и такая мне почудилась в ней первозданная грубоватая красота, что от ее близости, от прикосновения ее руки меня вдруг охватило волнение.

Она работала в Каугури в столовой торгового центра и перед новым годом вышла замуж. А через несколько месяцев ее муж загулял, «завел себе шалаву», — сказала Алдона. Он где-то пропал до глубокой ночи, гонял на мотоцикле с такими же балбесами, посадив на закорки свою подругу. Алдона терпела это, сколько могла, все надеялась, что он образумится. Ей не хватало духа сразу выгнать своего супруга. «Очень его любила», — сказала она с горечью. Потом она отобрала у него обручальное кольцо и спокойно, без скандала выставила вон. Он несколько раз пытался вернуться, но ни видеть его, ни разговаривать с ним она не хотела. Каждый раз, когда он приходил, она молча закрывала перед ним дверь.

— Поэтому я не люблю, когда пахнет бензином, — сказала она. — От него всегда так пахло, когда он приходил домой ночью.

— Извини, что напомнил тебе об этом, — повторил я.

— Да ладно. Все это уже прошло.

И думая о чем-то своем, она рассеянно взяла мою руку и сжала ее между своих горячих крепких ладоней. Я повернул голову, посмотрел ей в лицо, и наши взгляды встретились — в упор, глаза в глаза. Она смотрела на меня прямо и открыто, и взгляд ее зеленых глаз был женственным и кротким. А я с ненавистью думал об ублюдке, не сумевшем понять, какая женщина досталась ему в жены, женщина, с которой не страшны никакие невзгоды и испытания, которая на долгие годы останется верной женой, надежным другом, пылкой возлюбленной. Мне захотелось найти какие-то слова, объяснить ей, насколько она выше и чище этого недоумка, выше меня; сказать ей, что, пробыв рядом с ней всего лишь час, я распознал в ней ту

редкую женщину, которая заслуживает самой глубокой душевной привязанности, что я преклоняюсь перед ее кротостью, женственностью, стоицизмом.

Во взгляде ее устремленных на меня зеленых глаз, в пожатии ее руки мне почудились тоска одиночества, застенчивость и нежность, надежда и призыв — да разве можно высказать словами все то, что возникает в такую минуту между мужчиной и женщиной? Мне до помутнения рассудка захотелось обнять ее, прижать к себе, увести ее в дюны под сосны, утешить и обласкать так, чтобы она хоть ненадолго забыла о своих печалях, одиночестве, тоске.

Я встал, и, повинаясь моему движению, она с пылающим лицом тоже поднялась со скамьи. И в тот же миг я услышал постылый голос:

— Алдона!

Ее подруга переходила шоссе, направляясь к нам. И сразу потухло, стало замкнутым и чужим лицо Алдоны. Болтливая девица что-то захлеб рассказывала ей, но я не мог без отвращения слышать ее, не мог дожидаться, когда же наконец подойдет автобус.

— А ты разве не едешь? — уже с подножки удивленно спросила москвичка, увидев, что я не последовал за ними.

— Нет, не еду.

И снова я был на берегу один, опустошенный и недовольный собой больше прежнего. Я медленно шел по пляжу у самой кромки воды, и у меня под ногами похрустывали скорлупки мелких ракушек. Пенистые языки, набегаая, слизывали песок и с журчанием откатывались вспять. Уже солнце стояло над морем, и под его лучами вода залива слепила отраженным светом. Над соснами за пляжем сгущалась синева предвечернего неба, и легкий теплый ветер тянул теперь с берега, принося запах дыма сосновых шишек.

— Гера, а куда это вы с Борисом Аркадьевичем уехали вчера с этими девочками?

Ирочка с любопытством смотрела на меня, ожидая ответа.

— С какими девочками? Ты о чем? — переспросил я, чтобы выиграть время, и стал лихорадочно соображать, как объяснить Цыпленку свой вчерашний отъезд в столь непрезентабельной компании.

— Ну, вчера вечером, после того, как вы танцевали медисон, помнишь?

«Так, значит, это она стояла тогда на балконе», — подумал я.

Отъезжая от турбазы с Хрюшкой на багажнике, я в последний момент оглянулся и увидел на балконе у перил женский силуэт.

— Борис Аркадьевич хотел показать девочкам свою коллекцию бабочек, — с самым простодушным видом сказал я. — Оказывается, он большой любитель и знаток бабочек. Совсем как Владимир Набоков.

— Ой, как интересно! — воскликнула Ирочка, сияя глазами.

— Ты обратила внимание, как он бегал, когда мы играли в теннис? Это он наловчился у себя в Бурунди, пока носился там по кочкам за разными редкими экземплярами бабочек.

— А можно и нам с Олечкой посмотреть?

— Не знаю. Я попробую с ним договориться. Но вообще-то он не любит распространяться об этом своем увлечении. Считает, что для такого взрослого и волосатого дяди это несерьезное занятие. И совершенно напрасно, ведь правда?

— Конечно! Ведь они бывают такие красивые! Что ж тут такого?

— У него есть сачок такой большой, что он может одним махом накрыть тебя с головой. Поэтому он ухитряется ловить бабочек даже там, где их вроде бы и нет.

— Разве так бывает?

— В жизни всякое бывает. Сама увидишь, если мне удастся его уговорить, — повторил я. — Только ему об этом ни слова, хорошо?

— Конечно! Я же все понимаю! — Ирочка сделала большие глаза.

Мы разговаривали с ней после ужина в музыкальном салоне возле радиолы, пока я подбирал подходящую мелодию для медисона. Услышав музыку, из вестибюля в дверь стали заглядывать обитатели турбазы. Всего вместе с Цыпленком, Оленькой и доктором Павленко на урок танцев собралось больше десяти человек. Цыпленку даже первые, самые незамысловатые шаги медисона давались с трудом. Она очень старалась, но движения ее выглядели довольно неуклюже. Доктор Павленко отнесся к танцу чересчур серьезно и очень скоро взопрел. Впрочем, через полчаса и у меня на лбу выступила испарина, хотя в зале не было жарко. Я предложил сделать перерыв. К этому времени Ирочка и Валерий Алексеевич с грехом пополам освоили основные па. Но лучше всего медисон получался у Оленьки. При некоторой тяжеловесности она оказалась на редкость пластичной и способной ученицей. Я совершенно искренне похвалил ее, и девушка мило смутилась. Было видно, что ей приятно услышать комплимент.

— Гера, а где ты научился танцевать медисон? — спросила Ирочка.

— С этим вышла очень забавная история. Однажды, когда я учился в институте, мы праздновали день рождения одной девушки из нашей группы. Напитков было много, а закуски настолько мало, что наутро я ничего не помнил — ни чем закончилась вечеринка, ни как добрался домой. Зато на другой день оказалось, что я умею танцевать медисон, который до этого никогда в жизни не танцевал.

— Удивительно! — воскликнула Ирочка. — Сколько же у тебя всего необыкновенного случается в жизни! А вот со мной ничего такого не происходит, ужасная скучища!

— Может, оно и к лучшему. Когда есть что вспомнить, то много и такого, о чем хочется забыть. — Мне на ум пришло вчерашнее приключение с девушкой с пляжа, и я добавил: — А то можно вляпаться так, что сама потом будешь не рада.

В зал заглянул Валентин и поманил меня в вестибюль.

— Ну, Гера, мы сегодня гуляем! — радостно сообщил он.

— В каком составе?

— С московскими девчужками. Я их окучивал еще на пляже, да не тут-то было. Их не так просто было уломать.

— Как же тебе это удалось?

— Пришлось сказать, что у тебя сегодня день рождения и что ты хочешь их пригласить, но стесняешься. Им неудобно было отказать.

— Этого еще не хватало!

— Да ладно тебе, не бери в голову! Какая разница? У тебя день рождения или у дяди Васи? В конце концов, все люди — братья.

— Конечно, братья, но не до такой же степени. Неужели ты не мог придумать чего-нибудь пооригинальнее?

— Иначе я бы их ни за что не уговорил. Они ведь с большим гонором.

— Невелика была бы потеря.

— Ты сам виноват. Перекрыл мне кислород с Цыпленком, наплел ей про меня всякую чушь. А мне что прикажешь делать?

— Тогда я приглашу Цыпленка с Оленькой. И доктора Павленко тоже.

— Его-то зачем?

— Для веселья. Мне совсем не улыбается провести целый вечер в обществе этих твоих девчушек.

— Ладно, как знаешь. А сейчас пойдем в буфет немного освежиться. Ты не забыл, что я проспорил тебе коньяк?

Я вернулся в зал и отвел в сторону Цыпленка.

— Валентин организует у нас в комнате маленькое ликование и хочет пригласить вас с Оленькой тоже.

— Какой он добрый!

— Да, он исключительно добрый. И постоянно твердит, что все люди — братья и должны дружить. Поэтому сейчас он приглашает нас всех в буфет немного освежиться.

В буфете было занято два столика. За одним, уставленном пивными бутылками, в обществе двух других краснолицых туристов сидел наш пузатый знакомец с пляжа.

— А вот и мои джентльмены пожаловали! — радостно приветствовала нас Мария Густавовна.

Первые дни она говорила нам «мои мальчики». Потом я попросил ее называть нас джентльменами.

— Почему так? — удивилась она, высоко подняв нарисованные брови.

— Это больше соответствует нашему душевному состоянию, — понизив голос, пояснил я. — И нашей профессии, кстати, тоже.

Не знаю, как истолковала мои слова добрая женщина (она почему-то настолько расположилась к нам с Валентином, что даже приглашала нас приехать к ней в Сложку на пироги), но только она залилась громким басовитым смехом, от которого тряслись и колыхались все ее тучное тело и оплывшее лицо. Мы пришли тогда в буфет с какими-то девицами, и наши подруги воззрились на хохочущую буфетчицу с округлившимися от изумления глазами. Заметив это, она окончательно развеселилась и захохотала густым басом громче прежнего. Мне кажется, она немного гордилась своим смехом, во всяком случае, явно забавлялась впечатлением, которое он производил на посетителей буфета. Вот и теперь Цыпленок и Оленька, почти с ужасом глядя на нее, остолбенели с приоткрытыми ртами. Взглянув на девушек, Мария Густавовна хлопнула себя по пышным бокам. «Ой, не могу!» — с трудом произнесла она и, сотрясаясь всем телом, заготовала так, что встрепенулись посетители за столиками.

— Джентльмены, вам как обычно? — произнесла она наконец, вытирая слезы.

— И девушкам тоже, — сказал я.

— Как обычно — это как? — спросила Ирочка.

— На британский манер.

— Цыпленок, спрячь кошелек и запомни: офицеры британской армии с дам денег не берут, — сказал Валентин и обратился к Марии Густавовне: — Четыре кофе, два пирожных для дам, лимон и бутылку коньяка.

— Бутылку не надо! — запротестовал я. — Вполне хватит по сто грамм для разогрева.

— Гера, а Валя и правда офицер британской армии? — спросила Ирочка, когда мы, оставив Валентина расплачиваться, сели за стол.

— Раз говорит, значит, так и есть. Но для меня это тоже новость.

— Сэр, прошу! Вот ваш коньяк. — Валентин поставил на стол два до половины наполненных стакана. — Девчухи, а может, вы тоже пригубите коньячку? Я проспорил Герману бутылку, так что мы сегодня гуляем.

— Нет, что ты! — замахала руками Ирочка. — А о чем вы спорили?

— Да так, на профессиональные темы. Ничего интересного.

— В вашей работе все интересно.

— Это насчет того товарища, который просидел четыре месяца на пальме, — сказал я. — Помнишь, с пляжа? Вон он.

Я показал глазами на столик в углу маленького зала.

— Конечно, помню! Такой смешной и симпатичный. И что же?

— Я считаю, что еще два месяца такой жизни он не выдержит и обязательно упадет со своей пальмы. Ты видела, какое у него пузо?

— Такое большущее и розовое.

— А Валентин говорил, что он еще и целых полгода может там просидеть и ничего ему не сделается. Но Валя судит по себе. Видишь, какой он у нас крепыш.

Валентин с довольным видом усмехнулся

— Тот дядя тоже был крепыш, пока не посидел на пальме, — продолжал я. — А теперь видишь, что с ним стало. Вот мы и поспорили на бутылку коньяка.

— Так вы ведь еще только через два месяца узнаете, просидит он или не просидит.

— Верно. Но Валя представил себя на пальме, да еще с таким пузом, и сразу понял, что он не прав.

— За наших прекрасных дам! — сказал Валентин, стукнув доньшком своего стакана о край моего.

Собравшись на вечеринку, мы расселись на двух кроватях, поставив между ними журнальный столик с напитками. Было шумно, безалаберно и не слишком весело. В дверь то и дело заглядывали соседи по этажу, постоянно кто-то приходил и уходил, батарея бутылок на столе росла. К счастью, Валентин взялся сам развлекать компанию. Он был в ударе, выгибал бровь дугой, произносил аляповатые тосты, требовал выпить за прекрасных дам, стоя во фрунт и держа на отлете локоть. Боря из АПН умничал, говорил витиевато и все больше мрачнел, видя, что не может перехватить инициативу. Московские девицы значительно переглядывались. Вероника кривила губки, Алена, наоборот, держалась естественно и мило. У нее были хорошая улыбка и ироничный взгляд. Она почти приветливо посматривала на меня через стол и первая сказала:

— Давайте же наконец выпьем за именинника.

— С удовольствием, — ответил я, прежде чем Валентин успел вставить хоть слово. — Жаль только, что его здесь нет. Но можно выпить и заочно. Главное, чтобы человеку стало от этого хорошо.

— Как заочно? Разве не у тебя сегодня день рождения?

— Нет, конечно.

— А Валя сказал...

— Валя все перепутал. День рождения у нашего с ним общего друга. Но когда Валентин попадает в общество таких красивых девчушек, ему в голову ударяет струя и начинается мерещиться всякая чертовщина.

— Ты не очень-то! — сказал Валентин, слегка изменившись в лице.

— Ну, вы и оригиналы! — засмеялась Алена. — Пригласили на день рождения, а виновника торжества, оказывается, нет.

— Просто Валя боялся, что вы откажетесь, а ему очень хотелось с вами дружить.

У девушек кончились сигареты, и мне пришлось спуститься в буфет. Я взял две пачки «БТ» и увесистую гроздь бананов. В вестибюле я встретил скупающего доктора Павленко.

— Коллега, приходите к нам. Без вас у нас совсем не клеится веселье. Да и сами вы немного развлечетесь.

— Как-то неудобно, ведь я там никого не знаю.

— Я тоже никого толком не знаю, но это ничего не значит. В общем, если надумаете, вам все будут рады.

В результате всех пересаживаний и рокировок я оказался между Ольгой и Аленой. Мы с Йонасом наперебой потчевали Оленьку виноградом. Она смущалась от внимания двух мужчин и осторожно отщипывала по ягодке черной «изабеллы». Йонас рассказывал забавные истории из жизни турбазы, и я про себя отметил, что ни разу еще

не видел его таким оживленным и разговорчивым. Только Ирочка, сидевшая рядом с Валентином, казалась грустной и задумчивой.

С Аленой я заговаривать не решался, боялся сказать что-нибудь невпопад. И кроме того, уж очень надменная мордашка была у ее подруги, сидевшей напротив по правую руку от Валентина. Я лишь исправно доливал напитки в стаканчик Алены, а она так же исправно пригубливала вино. Я не раз замечал, что дистанцию до приглянувшейся девушки можно преодолеть, не произнеся ни слова, — эту работу проделает за тебя атмосфера компании. Наконец, когда мне показалось, что она должна была созреть для душевного разговора, а у меня самого появилась приятная легкость в мыслях, я обратился к ней:

— Скажи, ты и правда из Москвы?

— А разве я похожа на провинциалку? — она с живостью обернулась ко мне, глядя весело и открыто.

— Прежде всего ты похожа на очень хорошенькую девушку, — я сделал вид, что внимательно разглядываю ее. — И при ближайшем рассмотрении кажешься еще красивее, чем издали. Хотя обычно бывает как раз наоборот.

— Спасибо за комплимент, — сказала она с довольной улыбкой.

— Не считай это комплиментом.

— Почему?

— Комплимент — это когда говорят не то, что есть, а когда хотят сделать девушке приятное, чтобы усыпить ее бдительность. Я же говорю тебе правду. У тебя на редкость красивые глаза с большим зрачком, почти без райка. От этого они кажутся глубокими и загадочными. И эти прекрасные темные волосы... Вообще, при взгляде на тебя начинает сладко щемить сердце, вспоминается Италия или Испания, в крайнем случае пляжи солнечного Бурунди. Словом, что-то южное.

— Ты был в Италии? — удивилась она.

— Конечно, не был. А в Испании тем более. Но наверняка именно там, у южных теплых морей, живут такие очаровательные женщины. Когда думаешь об этом, глядя на тебя, то охватывает тоска по красивой жизни.

— Ну, ты и болтун!

— Вовсе нет. Обычно я очень застенчив. А в обществе красивых девушек окончательно теряюсь.

— По твоей болтовне этого не скажешь.

— Просто ты самая красивая из всех девчушек, побывавших на турбазе за эти полторы недели. И я не имею морального права не сказать тебе об этом.

— А Вероника? Я всегда считала, что она гораздо интереснее меня.

— Она наверняка считает так же. И сильно ошибается. Ты очень выигрываешь рядом с ней.

— Правда? Почему же? — моя соседка была явно заинтригована.

Тут я заметил, что Вероника напряженно прислушивается к нашему разговору и, перейдя почти на шепот, наклонился к Алене.

— Этот вздернутый носик, оттопыренная губка, взгляд поверх голов... Почему-то считается, что такая брезгливая мордашка, которую все время строит Вероника, особенно привлекает мужчин, потому что создает иллюзию неприступности.

— А разве не так?

— Может, и привлекает, но довольно специфический контингент с очень специфическим образом мыслей. Настоящих мужчин привлекает не это.

— А что?

— То, что есть, например, в тебе: женственность, непосредственность, необыкновенный шарм. В твоём облике чувствуется настоящий класс, который дается очень

немногим. К примеру, твои туалеты сделаны с редким вкусом и к тому же очень удачно подчеркивают красоту твоей фигуры.

— По-моему, мне надо немного похудеть.

— Ни в коем случае! — с жаром воскликнул я и снова перешел на полусшепот: — В твоей фигуре есть нечто такое, что выше избитых представлений об идеальном телосложении.

«Эк, однако, меня заносит!» — отметил я про себя даже с каким-то восхищением, дивясь своему удалству и не испытывая ни малейшей неловкости. Примерно к этому времени я стал замечать, что у меня слегка заплетается язык, вернее, было такое чувство, словно я не вполне свободно владею русским. Мысль работала четко, но не поспевала за словоизвержением, текла параллельно, и мне никак не удавалось соединить эти два потока вместе. До меня как бы со стороны дошло, что стилистика моих высказываний напоминает лексику массовика-затейника. Думаю, меня выручало лишь то, что у моей собеседницы то ли от напитков, то ли от моих речей лицо пошло красными пятнами. Она уже вполне откровенно прижималась ко мне плечом.

— А знаешь, ты интересный собеседник.

Она игриво толкнула меня так, что я расплескал рюмку, которую держал в руке.

— А с каким изяществом ты откусываешь в столовой кусок сосиски, насадив ее на вилку! — продолжал я. — Не всякой женщине в этот момент удастся сохранить такое достоинство и грациозность.

Она снова засмеялась.

— Вообще-то, я привыкла пользоваться ножом.

— Значит, я перепутал. Наверное, это была Вероника.

Тут в дверях, переминаясь с ноги на ногу, с бутылкой в руке появился доктор Павленко. Я обрадовался возможности прервать рискованный разговор с Аленой — она впала в нервическое возбуждение, в ее глазах появился нехороший блеск. Похоже, интрига нашей беседы завела меня слишком далеко, и чем заметнее хмелела моя соседка, тем сильнее у нее разливалась желчь.

— Этот волосатый супермен лучше бы помалкивал, — пробормотала она, когда Боря из АПН произносил один из своих тостов.

Потом, глядя с откровенной неприязнью на свежее грустное личико Цыпленка, она произнесла почти вслух:

— Интересно, из какой дыры приехала эта цыпочка?

— И совсем даже не из дыры, а из симпатичного украинского городка Любеча, — ответил я. — И никакая она не цыпочка, а очень славная и простодушная девчушка.

— Знаем мы этих простушек!

— Ты все же по себе не суди, — сказал я довольно резко.

Эта московская девица нравилась мне все меньше. А Ирочка, заметив, что мы смотрим на нее, сделала круглые непонимающие глаза. Я улыбнулся ей и, подняв рюмку, сказал:

— Мы хотим за тебя выпить.

— Этого еще не хватало! — процедила Алена. — Сам за нее и пей.

— С удовольствием.

Тут Валентин достал из-за кровати гитару и передал ее мне. «Похоже, я все-таки перебрал лишнего, — отсутствующе подумал я. — Развлекать московских красоток — это уж слишком. Не надо было пить». Но потом я решил, что нелишне будет немного сбить с них спесь.

Для разогрева я, как обычно, начал с популярной тогда песенки «Не печалься, любимая». Компания одобрительно загалдела, а Ирочка захлопала в ладоши и звонким голосом воскликнула:

— Какая прелесть! Пожалуйста, спой еще!

Потом я перешел на английский, спел две или три песенки из репертуара Трини Лопеса и закончил балладой Вика Деймона «The only man on the island», которая благодаря красивой мелодии всегда шла на ура.

— I've got a kick out of you, buddy! — пробормотал Боря из АПН, который уже заметно опьянел и с трудом ворочал языком.

— А неплохо у тебя получается, — снисходительно заметила Алена. — И английский у тебя вполне приличный.

— Как ты можешь об этом судить? — сказал я как можно суше.

— Мы же с Вероникой учимся в МГИМО, — она пустила мне в лицо струю дыма. — Где ты так насобачился по-английски?

— Как, вы разве не знаете?! — воскликнула Ирочка, обрадовавшись возможности сообщить пикантную новость. — Ведь они учились...

— Тс-с! — я свирепо посмотрел на нее. — В педагогическом институте. Когда-то я учился на английском факультете, — хмуро ответил я Алене, отложил гитару и встал.

— погоди, — сказала Алена, берясь за бутылку. — Я хочу с тобой еще выпить.

— А тебе не хватит?

— Ты куда? — встрепенулся и Валентин.

— Я сейчас вернусь.

Как и всегда после приступа возбуждения, когда хочется много говорить и балагурить, настроение у меня резко испортилось. Я спустился вниз. В пустом гулком вестибюле было слышно как регистраторша, сменщица Инги, по-латышски разговаривает по телефону. На балконе тоже никого не было. Я сел в шезлонг и вытянул ноги. Солнце давно зашло, наступила ясная звездная ночь. У фонарей в световых ореолах, словно снежинки, мелькали мотыльки и мошкара.

Я довольно долго сидел неподвижно, наслаждаясь тишиной и свежестью ночи. Потом снизу послышались голоса. Я подошел к краю балкона и осторожно заглянул через перила. Йонас и Боря из АПН, переговариваясь, сели на велосипеды и покатали к подъездной аллее. Я проводил их взглядом, обернулся и у перил балкона в трех шагах от себя увидел Алену.

— Дышим свежим воздухом? — сказала она. Я промолчал, и она добавила: — Такая скука! И вся эта публика... Хочу пройтись по пляжу перед сном.

Намек был достаточно прозрачным, но я сделал вид, что не понял его.

— Конечно, пройди. Сейчас на берегу очень хорошо. Там никого нет, и это быдло не будет мозолить тебе глаза.

— Кого ты имеешь в виду?

— Всю эту публику, о которой ты говоришь. В первую очередь себя, конечно, ну и доктора Павленко, Ирочку...

— Какую еще Ирочку?

— Девчущку из Любеча.

— Ах, эту... Ну, насчет себя ты, по-моему, скромничаешь.

— Нисколько. Поверь, я ничем не лучше их. Так что желаю тебе приятной прогулки, — сказал я и пошел в дом.

Больше всего на свете мне хотелось теперь завалиться спать, но, поднявшись на третий этаж, я обнаружил, что дверь нашей комнаты заперта изнутри. За ней стояла напряженная тишина. Часы в вестибюле показывали начало двенадцатого. Турбаза спала, только где-то на втором этаже еще шла гулянка.

Не зажигая верхний свет в музыкальном салоне, я прошел в дальний угол, сел в низкое кресло у окна, включил радиоприемник и не спеша стал шарить по эфиру в коротковолновом диапазоне. Сквозь шумы и потрескивания до меня долетали обрывки мелодий, голоса дикторов, писк морзянки. И от этих голосов в просторной полутемной комнате, наполненной шорохами эфира, куда с током свежего ночного воздуха в открытое окно струился бледный отсвет звездного неба, я вдруг явственно почувствовал безбрежность пространств, наполненных мерцанием звезд и позывными далекими радиостанций.

Скрипнула дверь. На пороге, вглядываясь в темноту зала, стояла Ирочка. Она несмело подошла и робко спросила:

— Можно и я тут с тобой посижу?

— Ну, посиди, — сказал я не слишком приветливо и подумал, что пришла она совсем некстати. Мне ни с кем не хотелось делить мое блаженное уединение.

Ирочка тихо села в придвинутое мною кресло, и я сразу забыл о ней, потому услышал знакомую до рези в глазах, до мурашек по спине прекрасную мелодию. Чарующие голоса пели без слов в сопровождении струнных, и воздушное пиццикато вторило ангельскому пению. Эта музыка завораживала ощущением невесомости, света, какого-то невысказанного счастья. Песня то удалялась, растворяясь среди шорохов эфира, словно манила за собой, то возвращалась вновь. Наверное, так инженер Лось услышал когда-то голос Аэлиты, доносившийся к нему с красной звезды: «Сын неба, где ты?» Должно быть, сказалось мое подавленное настроение, но, помню, я подумал тогда, что в жизни не слышал такого красивого и проникновенного пения.

«John's song», — произнес глуховатый голос диктора, когда всплеском струн замер последний аккорд. Я сразу выключил приемник — после этой мелодии невозможно было слушать никакую другую музыку, — встал и только теперь вспомнил об Ирочке. В вестибюле даже при неярком свете я увидел, что девушка выглядит совершенно подавленной.

— Уже поздно, солнышко, пора спать, — сказал я как можно мягче. — Пойдем, я провожу тебя до твоих покоев.

— А ты тоже пойдешь спать?

— Еще не знаю, — сказал я, хотя знал совершенно точно, что пойду к морю и хочу пойти туда один. — Может быть, немного прогуляюсь.

— Можно и я с тобой пойду? Совсем не хочется спать.

У меня не хватило духа отказать ей.

Луна только что взошла. Непривычно большой, сверкающий серебром чуть сплюснутый диск висел низко над заливом, освещая окрестность голубоватым светом.

— Как же здесь хорошо! — с грустью сказала Ирочка.

Мы сидели на лавочке среди пустынного голубого безмолвия под мерцающим звездным небом.

— А ты чего сегодня киснешь, Цыпленок?

— Я не кисну.

— Меня не проведешь. Я же вижу. Тебя что-нибудь расстроило?

— Нет, — она покачала головой.

— Тогда в чем дело? Что можно сделать, чтобы тебе опять было хорошо?

— Ничего нельзя сделать, — вздохнула она.

Я не стал больше допытывать ее расспросами и сидел молча, смотрел на черную зеркальную поверхность залива с дорожкой лунного света, на вспыхивающий огонек далекого маяка на мысу где-то у Каугури. Изредка в небе, оставляя искрящийся след, падали звезды.

— Говорят, если загадать желание, когда падает звезда, то оно обязательно исполнится.

— Мое не исполнится, — сказала Ирочка потухшим голосом.

— Почему же?

— Ах, Гера, я такая несчастливая.

— Отчего же может быть несчастливой такая милая маленькая девочка?

— Гера, не надо мной шутить. Ведь ты совсем ничего про меня не знаешь.

Она неожиданно всхлипнула и уткнулась личиком мне в плечо.

— Ну-ну, солнышко, успокойся, — сказал я ласково и обнял ее за плечи. — В твоём возрасте нет такой беды, которую нельзя поправить.

— Есть, — она снова всхлипнула.

— Расскажи, какое у тебя несчастье. Подумаем вместе, может быть, что-нибудь можно сделать, чтобы тебе помочь.

И тогда она рассказала, что уже несколько лет без памяти влюблена в друга своего отца, что совершенно извелась от этого чувства, потому что он постоянно бывает у них, но не замечает или не хочет замечать ее влюбленности и обращается с ней как с маленьким ребенком.

— Гера, ты такой взрослый, умный, скажи, как мне жить? — говорила Ирочка сквозь слезы. — Это такая мука! Ну почему он меня совсем не любит? Неужели я такая некрасивая, дурная, что он не может полюбить меня? Ведь я уже совсем взрослая!

— Ты не просто красивая, ты одна из самых очаровательных девушек, которых я встречал. А это гораздо важнее, чем быть просто красивой.

— Когда я была маленькая, он носил меня на руках, и это было такое счастье! — лепетала Ирочка сквозь слезы. — Мне до сих пор снится, как он держит меня на руках, такой сильный, красивый, веселый. А просыпаюсь, и хочется плакать, потому что ничего этого нет.

Она плакала уже всерьез, трогательно шмыгала носиком, совсем по-детски терла кулачком глаза. Горе ее казалось таким искренним и безутешным, что я почувствовал острую жалость. Я легко приподнял ее со скамьи, пересадил к себе на колени, достал платок и вытер ей слезы. Она, как ребенок, положила мне голову на плечо, обняла меня рукой за шею и притихла, только изредка сморкалась в мой платок да горестно, прерывисто вздыхала. Я держал ее на руках и тихо говорил.

— Не надо так горевать, малышка. Поверь, жизнь на этом не кончена, и в ней еще будет очень много хорошего. И у тебя еще будет настоящая, большая и красивая любовь. А сейчас тебе не надо добиваться его взаимности. Этим ты только все испортишь.

— Почему? — спросила она сквозь слезы.

— Может быть, и он тебя любит. Но если он настоящий мужчина, он никогда не признается в этом даже самому себе.

— Но почему? — повторила она.

— Подумай, ведь ты годишься ему в дочери.

— Ну и что? Разве так не бывает?

— Конечно, бывает. Но его жена — подруга твоей мамы, и если ты станешь добиваться его, ему будет неловко, и он станет тебя избегать.

— Что же мне делать?

— Ничего. Самое лучшее — оставь все как есть. Ничем не напоминай ему о своем чувстве, постарайся быть с ним простой и естественной, как будто ничего нет. И ты увидишь, он ответит тебе вниманием и добротой. Может быть, ты и добьешься того, о чем мечтаешь, и будешь принадлежать ему целиком, но поверь, это не принесет тебе счастья. В настоящей любви не это главное.

— А что же?

— Это невозможно объяснить. Слова тебе ничего не скажут. Поживешь с мое, и поймешь сама. Поймешь и то, что у твоего любимого есть жена, дети, которых он обожает и которых не оставит никогда даже ради такой чудесной девочки, как ты. И ты будешь еще больше терзаться от ревности, и тогда жизнь и для тебя, и для него превратится в настоящую пытку. Ведь ты не хочешь, чтобы он мучился и страдал?

Она потрясла головой.

— Нет.

— Поэтому не нужно ничего делать. Постепенно это чувство пройдет или, во всяком случае, уже не будет таким острым и мучительным. Это только в книжках люди любят вечно. Пройдет оно и у тебя. Но на всю жизнь останется чистое и красивое воспоминание о твоей самой первой любви. О том, что был в твоей жизни чудесный городок Любеч и жил в нем сильный, добрый и красивый человек, которого ты нежно и сильно любила. И казалось тебе тогда, что ты была очень несчастна от этой своей безответной любви. А на самом деле потом, в твоей взрослой жизни это будет вспоминаться как большое, настоящее счастье, вот увидишь. И все у тебя будет хорошо, малышка. Ты обязательно встретишь хорошего мальчика, и он полюбит тебя искренно и нежно, потому что хороший мальчик не может не полюбить такую чудесную и красивую девочку, как ты. Выйдешь за него замуж, родишь ему ребеночка или, лучше, двух. Только обязательно девочек.

— Почему не мальчиков? — всхлипнула она.

— Потому что мальчики не бывают такими красивыми. А твои дочки обязательно будут похожи на тебя. И они будут очень тебя любить, потому что ни у кого не будет такой доброй, заботливой и красивой мамы, как у них. И твой муж тоже будет тебя обожать и тоже будет носить тебя на руках, потому что носить на руках такую жену ему будет легко и очень приятно. И все вместе вы будете очень счастливы, вот увидишь.

— Почему обязательно? — она подняла голову с моего плеча.

— Потому что такая милая и добросердечная девчужка обязательно должна быть счастливой. И еще потому, что у тебя между зубками есть эта щербинка, которой ты так стесняешься. А стесняться ее совсем не надо, потому что это самый верный признак, что человек с такой щербинкой когда-нибудь будет счастлив.

— Правда?

— Зачем же мне тебя обманывать?

Она крепче обняла меня.

— Гера, ты такой добрый, умный. И мне так с тобой хорошо.

— Я совсем даже не добрый и не умный. Просто я говорю тебе то, что есть на самом деле. А для этого не нужно никакой доброты.

Она подняла лицо, потянулась ко мне, и я несколько раз осторожно поцеловал ее влажные от слез глаза, лоб, поцеловал ее личико, избегая губ. Она вдруг задышала прерывисто и часто и ответила мне восхитительным страстным поцелуем.

— Гера! — пролепетала Ирочка, задыхаясь, и снова поцеловала меня в губы.

«Э, нет, братец, так дело не пойдет», — успел подумать я, прежде чем у меня окончательно помутилось в голове. Чего греха таить, не сразу решил я ссадить ее со своих коленей.

— Пойдем, малышка, уже поздно. Чего доброго закроют корпус, и мы не попадем домой.

Валентин наверняка высмеял бы меня за такую щепетильность. Но шагая с ней в лунном свете между сосен к турбазе, я меньше всего думал о Валентине. Я думал о том, что Ирочка очень скоро пожалела бы о своей минутной слабости, а я — о том,

что воспользовался ею. В те годы мы еще не научились упрощать такие отношения до животного примитива — в них обязательно должно было присутствовать чувство. Я не стал первопроходцем, указавшим этой девочке скользкий путь, где от мимолетного соблазна к растлению души ведет прямая и ясная дорога, особенно если на ней встречаются умелые наставники. Моя совесть не отягощена этим грешком.

Всю дорогу до турбазы Ирочка не выпускала моей руки. В полумраке пустого коридора у двери их комнаты я на прощание поцеловал ее в лоб и пожелал спокойной ночи.

День третий

На экскурсию в Сигулду я не поехал, сразу после завтрака пошел на пляж и встретил там скучающего доктора Павленко. Мы чудесно провели с ним время за разговорами и, по-моему, остались довольны друг другом. Он оказался приятным собеседником и к тому же большим почитателем Бунина. После обеда я хорошо выспался, остаток дня пребывал в прекрасном настроении, а потому даже обрадовался, когда Валентин, вернувшись из Сигулды, сказал, что они договорились отправиться вечером всей компанией в «Лидо» отметить завтрашний отъезд девушек. Я подумал, что все они, даже московские девицы, — в сущности, симпатичные и славные люди. Утром мы расстанемся, и я забуду об их существовании, а они — о моем, так стоит ли придавать значение всяким пустякам? Надо быть проще и не обращать внимания на их маленькие причуды. К тому же мне хотелось последний вечер провести с Цыпленком. Теперь я испытывал к ней прямо-таки отеческую нежность.

— Ой, мальчики, какие же вы красивые! — воскликнула Ирочка, когда мы собрались в вестибюле, чтобы ехать в Дзинтари.

Действительно, Валентин — загорелый, в голубом териленовом пиджаке и синем в мелкий белый горошек галстуке выглядел просто вызывающе красивым. Йонас в строгом синем блейзере с гербом какого-то клуба казался на редкость значительным и элегантным. Последним появился Боря из АПН, загадочный и почти неузнаваемый в своих темных очках, облаченный в двубортный белый пиджак, голубой батник и синий шейный платок.

На Турайдас ярко горели фонари. В дальнем конце улицы в просвете между деревьями тлела полоска закатного неба над заливом. Из полупустых кафе и ресторанчиков доносилась музыка, не спеша прогуливались последние курортники.

В «Лидо» мы разместились на боковом балкончике, куда вела невысокая лесенка. С нашего возвышения можно было обозревать просторный зал, площадку для танцев, невысокую эстраду. За одним из столиков неподалеку от нас я увидел своего давешнего соседа, бульдозериста из Якутии, в обществе еще двух таких же крепких плечистых мужиков и очень плотной дамы.

Цыпленка я усадил рядом с собой. Разглаживая на коленях крахмальную салфетку, она с любопытством осматривала просторный зал, публику за столиками, ярко освещенную эстраду. Там флегматичного вида пожилой пианист извлекал из черного, блестящего лаком рояля обрывки мелодий и ронял их в зал. Барабанщик тербил металлической кисточкой сверкавшую золотом тарелку своей установки, и она издавала тонкий, как шипение шампанского, звук, а конферансье, бодрячок в голубом костюме и лакированных башмаках, прохаживался по эстраде, сосредоточенно тискал пятерней подбородок, колдуя над текстом репризы. И было видно, что Ирочке все это в диковинку, что она ждет чего-то необыкновенного, волнующего и приятного.

Вообще, все у нас в этот вечер как-то ладилось — было спокойно, дружелюбно и хорошо. Молоденький официант в бабочке казался на редкость вежливым и предупредительным, а зал «Лидо» — особенно уютным. Все обещало хорошее настроение, прекрасный вечер в окружении симпатичных гуляк. Валентин, вопреки обыкновению, был молчалив и потому необыкновенно импозантен. И мне уже казалось, что Вероника, сидевшая рядом с ним, совсем не так уж чванлива, что, в сущности, она милая и славная девчужка, что я был к ней несправедлив. Она, заметив мой взгляд, победительно усмехалась — наверняка решила, что Валентин похвастался мне своими вчерашними достижениями, а значит, ее чары распространяются теперь и на меня. Впрочем, если бы она слышала его сетования, то не сидела бы теперь с видом княгини Юсуповой на известной картине Серова. «Удалось совершить таинство, но радости никакой, — жаловался Валентин. — Мероприятие получилось на редкость унылым. Ты не поверишь, но во время второго заезда я чуть не заснул. Вот тебе и московские девчужки! А сколько гонора, сколько понта!»

И только Алена своим видом портила мне настроение. Боря из АПН, сидевший на другом конце стола напротив меня, непрерывно вливал ей в ухо поток своего сознания. Она слушала его с рассеянной усмешкой и изредка бросала на меня ободряющие взгляды. Похоже, она проглотила вчерашнюю обиду, когда ей пришлось чуть ли не в полночь тащиться одной на пляж. Но теперь я не мог смотреть на нее без острой антипатии. Перед отъездом в «Лидо», когда мы собрались в вестибюле турбазы, Алена резко, почти грубо отчитала за что-то Ингу, и та расплакалась. К тому же я припомнил вчерашнюю колкость Алены в адрес Цыпленка.

Мы много танцевали. В перерыве между танцами я оставил Ирочку на попечение Йонаса и Ольги и подошел к конферансье.

— Коллега, позвольте попросить вас о маленькой любезности, — как можно душевнее сказал я.

— В чем дело?

Наклонившись с эстрады, он смотрел на меня водянистыми глазами, думая о чем-то своем. Вблизи я увидел, что у него лицо сильно пьющего человека.

— У одной из ваших посетительниц, очаровательной девушки, которая впервые в жизни приехала в вашу гостеприимную республику и впервые в жизни пришла в такой роскошный ресторан, на днях день рождения. Ей впервые в жизни исполнится восемнадцать лет. Если не трудно, скажите несколько слов в ее адрес. Для вас пустяк, а для нее незабываемое воспоминание на всю жизнь.

— Я, право, не знаю, — сказал он неуверенно.

— А если вы доставите нам удовольствие и хотя бы ненадолго присоединитесь к нам за нашим столом, то это будет вторым незабываемым воспоминанием для Ирочки.

— Ну, хорошо, — нехотя согласился он. — Только вот что. Без цветов неудобно. Если у вас найдется немного денег, я раздобуду букет.

— Конечно!

Я скороговоркой сообщил ему необходимые сведения, сунул в руку деньги и напоследок добавил:

— Сейчас я пойду с ней танцевать. Когда вы увидите, насколько она мила, у вас отпадут последние сомнения.

Конферансье объявил медленный вальс. Во время танца я норовил развернуть Цыпленка лицом к эстраде. До сих пор помню легкость ее податливого стана, плавное покачивание под сомнамбулические звуки прекрасного вальса «Fascination», мечтательное и счастливое личико Ирочки.

— А теперь, друзья, прошу минуточку внимания! — праздничным тоном возвестил конференсье, перекрывая своим усиленным динамиками голосом последние такты бостона. — Рад сообщить вам, что сегодня нам всем по-настоящему повезло. У нас в гостях самая очаровательная и красивая из всех девушек, побывавших в этом сезоне на Рижском взморье. Принцесса нашего сегодняшнего вечера Ирина Цыпленкина из города Любеча!

Он оглянулся, посмотрел на меня, и я кивнул.

— Более того, сегодня у нашей феи день рождения, и какой! Ей исполняется восемнадцать лет! Попрошу принцессу взморья на эстраду!

— Цыпленок, пошли, — сказал я и окликнул Валентина: — Валя, помоги!

Втроем мы поспешно прошли к эстраде, конференсье протянул Цыпленку руку, и мы посадили ее на невысокое возвышение. Обернувшись к залу, Ирочка замерла там, в ярком переливающимся свете. В своем нарядном белом платье, с цветами в руках, растерянная и счастливая, она была необыкновенно хороша.

— Оркестр, туш! — тоном массовика-затейника, впавшего в экстатическое состояние, завопил конференсье. — И аплодисменты! Не слышу аплодисментов, друзья, в честь королевы бала!

В зале «Лидо» дружно зааплодировали, оркестр грянул туш. Выждав, когда стихнет этот гвалт, мы с Валентином подхватили Цыпленка под руки и осторожно сняли ее с эстрады.

— Ты разве знаком с этим дядечкой? — все еще сия возбуждением, спросила она, когда мы снова пошли танцевать. — Ну, который меня поздравил.

— Он учился в нашей разведшколе, только на кулинарном факультете.

— В разведшколе, и на кулинарном?!

— Ну и что? В разведке первое дело — добывать секретные сведения в ресторанах. Здесь люди расслабляются и могут выболтать любой секрет.

— А почему ты сказал ему, что у меня день рождения сегодня?

— Я не сказал, что сегодня. Это он сам все напутал. Он вообще все путает, поэтому его и отчислили из органов. Он с горя стал выпивать и, видишь, до чего докатился. Я и сам не ожидал его здесь встретить. Когда-то он был круглым отличником, а разве теперь скажешь?

— Ни за что не скажешь! — согласилась Ирочка. — Спасибо вам с Валею. Все так неожиданно и очень приятно получилось. Но говорят, заранее праздновать день рождения — дурная примета.

— Мы и не празднуем. Но по лунному календарю сегодня как раз двадцать второе сентября. Помнишь, какая вчера была луна?

Она с улыбкой посмотрела на меня и ничего не ответила.

Валентину хотелось потанцевать медисон. Боря из АПН, похоже, был готов на все, мы с Йонасом сначала отнекивались, говорили, что это неудобно, но потом расхрабрились и, дождавшись мелодии с подходящим ритмическим рисунком, всей компанией спустились с нашего балкона. Скоро на площадке перед эстрадой не осталось никого, кроме нас. Публика расступилась, подошли посетители, сидевшие за столиками, чтобы поглазеть на диковинный танец, и мы оказались в кольце зрителей. К нам присоединились еще несколько человек, и, подхваченные пульсирующим бодрым ритмом, мы под взглядами десятков глаз стали отплясывать медисон.

Во время поворотов и боковых шагов через несколько человек от себя я заметил знакомое лицо. Я не мог как следует разглядеть его, но мне показалось, что танцевавший с нами человек похож на Игоря Париянца — преподавателя из моего института, который вел у нас занятия по военному переводу. На курсе училось много переростков, ребят, отслуживших в армии и поработавших на производстве, и Пари-

янец был всего на три или четыре года старше нас. Он оказался приятным человеком: живым, остроумным, без всякого чванства, хотя и с легким налетом снобизма, приобретенным за время работы переводчиком за границей. Мы стали приглашать его на наши вечеринки в общежитие. Он веселился и танцевал наравне со всеми.

У меня осталось бы о нем самое приятное воспоминание, если бы не одно обстоятельство. Однажды я заметил, что моя тогдашняя подружка слегка кокетничает с симпатичным молодым преподавателем, а он отвечает на ее заигрывания. Не знаю, входил ли в ее планы более серьезный роман, но уже тогда я почувствовал, что дело не ограничится легким флиртом. Париянец поработал за границей, обзавелся «москвичом» кирпичного цвета и, конечно, очень выигрывал по сравнению с нами, безденежной студенческой шантрапой.

Увидев его в «Лидо» среди танцующих, я неожиданно для себя обнаружил, что не испытываю к нему ни малейшей неприязни, хотя пять лет назад его роман с моей девушкой доставил мне массу болезненных переживаний. И теперь, когда танец закончился, я охотно ответил на его крепкое рукопожатие и познакомил его с подошедшим Валентином.

— Давай выйдем на воздух, — предложил Париянец. — Душновато, да и не поговоришь толком в таком гаме.

Мы прошли через ярко освещенный вестибюль, весь в зеркалах, где слонялась какая-то публика и дежурили девицы легкого поведения, и остановились в нескольких шагах от входа.

— Да, здесь дышится совсем иначе, — сказал я. — Какими ветрами тебя сюда занесло?

— Мы с приятелем отдыхаем в Дубултах в Доме творчества писателей.

— Разве ты не должен быть в институте? Семестр ведь уже начался.

— Я ушел из института. Еду в Вену синхронить в МАГАТЭ.

— Поздравляю.

— Поздравлять, пожалуй, не с чем. Это в первый раз казалось событием, а по правде сказать, ничего особенного.

Я не видел его больше четырех лет, но он совсем не изменился, разве что чуточку раздобрел да взгляд стал потверже — все то же холеное лицо, добротный костюм, вальяжная самоуверенность.

— Ты со Светкой видишься? — спросил он, помолчав.

— Нет. И даже ничего не знаю о ней.

— Она после института год работала в Багдаде, потом вышла замуж. По-моему, он военный переводчик. Мы иногда встречаемся с ней, — сказал он и со значением уточнил: — Ненадолго.

— Знаешь, теперь я тебе даже благодарен за то, что ты ее у меня увел.

— Ну, зачем ты так, — мягко возразил он. — Если так рассуждать, то и жену у меня тоже увели.

— А почему бы иногда не называть вещи своими именами?

Он пристально посмотрел на меня и невесело усмехнулся.

— И то верно. А почему ты сказал, что благодарен мне за это?

— Если бы мы тогда с ней не расстались, то не было бы всего того хорошего, что было в моей жизни после нее.

— Значит, тебе повезло. А мне и вспомнить нечего. Так, чепуха какая-то.

— Наверное, мне действительно повезло.

— По крайней мере, теперь ты на меня не в обиде.

— Я и тогда был не в обиде. А то, что она спуталась с тобой, относил за счет ее здорового прагматизма. Конечно, досадно было, что она держала меня про запас.

— Раз ты теперь так говоришь об этом, значит, это уже не имеет значения.

— Это действительно давно уже не имеет значения. В любом случае я рад тебя видеть, — сказал я совершенно искренне.

И мы вернулись в зал.

— Где Цыпленок?

— Не знаю, — Валентин, занятый разговором, едва взглянул на меня.

Ни Ирочки, ни Йонаса с Ольгой за столом не было.

— Ее кто-то пригласил танцевать, — сказал Боря из АПН.

Предчувствуя недоброе, я стал сверху смотреть на танцующих и почти сразу увидел нашего Цыпленка в объятиях какого-то невысокого чернявого типа. В сильной тревоге я спустился с балкона и остановился на краю площадки для танцев. Он обхватил ее так, что, пытаясь отстраниться, Ирочка неестественно прогнулась в талии. Чернявый что-то говорил ей, не закрывая рта. На ее лице застыла гримаса замешательства, но не испуга.

Танец кончился, и ее кавалер, взяв Цыпленка под локоть, решительно повел в другой конец зала, видимо, к своему столику. Она оглянулась, нашла глазами Ольгу и улыбнулась ей не то чтобы растерянной, но какой-то жалкой улыбкой. Я увидел, что Йонас тоже не на шутку встревожен. Мы с ним обменялись взглядами, и я быстрым шагом, почти бегом, чтобы успеть догнать их, пока он не усадил ее за свой стол, устремился за Цыпленком и ее кавалером.

— Ира! — позвал я.

Она в нерешительности остановилась. Ни слова не говоря, я крепко взял ее за запястье и, не оглядываясь, повел через зал. У лесенки, ведущей на наш балкон, я остановился и выпустил ее руку.

— Ира, обещаю тебе, что никогда не будешь танцевать в ресторане с незнакомыми молодыми людьми, — очень твердо сказал я. — Дай мне честное слово.

— Но ведь тут ничего такого нет!

— Нет, но будет, не успеешь оглянуться.

— Ну что ты! Он совсем не такой. До того симпатичный! И столько мне всего наговорил приятного.

— Вот-вот! Если будешь развешивать ушки, то тебе все они покажутся симпатичными.

— Но ведь ты мне тоже всего такого в первый день наплел!

— Это совсем другое дело! Помнишь, что я сказал тебе вчера вечером на пляже? — Она кивнула. — Ничего этого не будет, если ты позволишь всяким типам заговаривать тебе зубы.

— А тебе?

— И мне тоже. Ты же должна понимать...

Я не успел договорить — кто-то дернул меня за рукав. Рядом стоял чернявый кавалер Цыпленка, а с ним — высокий красивый кавказец с волевым лицом.

— Выйдем-ка. Надо поговорить, — сказал чернявый.

Он ухитрился смотреть на меня сверху вниз, хотя был значительно ниже ростом.

— Сейчас иду, только провожу даму.

Усадив Ирочку на место, я подошел к Валентину и так, чтобы не слышали остальные, сказал ему на ухо.

— Выйди на улицу через несколько минут с Йонасом и Борей. И на всякий случай позови Игоря с его приятелем. Неизвестно, сколько их там.

У входа в «Лидо» меня ждали трое.

— Чего тебе? — обратился я к чернявому.

— Давай отойдем в сторонку, неудобно тут при людях.

Он покосился на нескольких посетителей «Лидо», вышедших проветриться. Я заметил, что говорит он с сильным акцентом.

- Чего неудобно?
- Разговаривать неудобно.
- А по-моему, очень даже удобно. У меня ни от кого нет секретов. Чего тебе надо?
- Ну, давай отойдем, чего ты боишься? — повторил он.
- А ты считаешь, что мне нечего бояться? — я смерил взглядом двух его приятелей.
- Конечно, нечего. Это же свои ребята.
- Для тебя свои, а для меня совсем чужие, — сказал я, начиная терять терпение. — Короче, чего тебе надо?
- Эта дэвушка, которую...
- Эта дэвушка, — я не удержался и передразнил его, — эта дэвушка — моя невеста, понял?
- Мужики, о чем базар? — услышал я голос Валентина.

С ними был крупный, хотя и рыхловатый на вид человек лет тридцати, очевидно, приятель Париянца. Впятером они выглядели вполне внушительно.

- Да вот товарищ интересуется... Хотел узнать, как я собираюсь жить дальше, — сказал я.
- Ты чего, парень? — Валентин уставился на моего собеседника.
- Я? Ничего. Просто стоим, разговариваем.
- Не наговорились еще? Ну и все, кончай базар. Нам надо отдыхать.

Потом мы с Ирочкой снова танцевали. До сих пор не могу забыть зачарованное сияние обращенных ко мне глаз, ее полураскрытые губы, маленькую теплую руку в моей руке. Я смотрел на нее и с грустью думал: «Какая счастливая, благодатная пора жизни. Кажется, что вокруг милые, добрые люди, которые хотят тебе только хорошего, что впереди много-много радостей и всего самого приятного». А рядом танцевали Оленька и Йонас, которые весь вечер были неразлучны. Она, грациозно склонив головку с тяжелым узлом прекрасных черных волос и опустив ресницы, с загадочной полуулыбкой слушала его. И Йонас, высокий, статный, с мужественным серьезным лицом, бережно держал ее в объятиях. Помню, я подумал тогда, что они — самая красивая пара среди танцующих. И еще я подумал, что девушки утром уедут, но мне вдруг очень захотелось, чтобы завтра Оленька и Йонас расстались не навсегда.

В зале внезапно погас свет. Вернее, погас не совсем — когда глаза привыкли к темноте, стали видны белое платье Цыпленка, белый пиджак Бори из АПН, белые манжеты мужчин, скатерти на столах — все, что было белым в зале «Лидо», теперь флуоресцировало голубоватым светом. Эффект был настолько ошеломляющим, что после общего дружного вздоха и испуганных восклицаний в наступившей темноте раздались громкие аплодисменты.

— Это тебе сюрприз от бывшего разведчика по случаю дня рождения, — сказал я Ирочке. — Они показывают этот фокус только в редких случаях.

Примерно к этому времени у Бори из АПН стали проявляться симптомы паранойи или, скорее, белой горячки. Сначала ему показалось, что официант подслушивает наши разговоры. Потом, когда где-то в зале сверкнула фотовспышка — там догуливала довольно шумная свадьба, — он встрепенулся и, стукнув кулаком по столу, воскликнул:

- Нас сфотографировали!
- Да ты что! Тебе померещилось, — успокоил его Валентин.
- Мне?! Мне померещилось?! — опрокинув стул, Боря из АПН вскочил с горящими глазами. — Я даже знаю, кто это сделал!

— Сядь и успокойся, — сказал Йонас миролюбиво. — Никому ты не нужен.

— Нет, я этого так не оставлю! — не унимался Боря из АПН.

Валентин почти силой усадил его на место, после чего он надолго впал в мрачно-нервное состояние: барабанил пальцами по столу, подозрительно озирался.

— Видишь, до чего доводит постоянное нервное напряжение, — сказал я тихо, наклонившись к Цыпленку. — Это он у себя в Бурунди дошел до ручки. Совсем непросто заведовать резидентурой даже в такой Богом забытой стране. Вот и этот товарищ, видишь, совсем плохой.

Я показал глазами на конферансье, который с багровым лицом сидел рядом с Валентином.

— Отчего это он такой красный? — шепотом спросила Ирочка.

— От переживаний. Наверняка вспомнили с Валентином старых товарищей, прежние дела, вот он и расчувствовался.

Пришло время расплачиваться, и Боря из АПН царственным жестом подозвал официанта.

— Сколько с нас?

Официант перелистал свой блокнотик, шевеля губами, произвел подсчет, наклонился и тихо сказал ему на ухо несколько слов.

— Сколько?!

Официант снова наклонился к его уху.

— Проклятие! Я разорен! — воскликнул Боря из АПН в отчаянии и уронил голову на руки.

Только на улице я почувствовал, что наступила ночь. Фонари на Турайдас не горели, улица была пуста, лишь у входа в «Лидо» еще роился какой-то народ. Валентин надеялся, что мы успеем на последний автобус, но Боря из АПН требовал взять такси. Меня неожиданно отозвала в сторону Алена. Кажется, за весь вечер мы не обменялись с ней ни словом.

— Пойди-ка сюда. Мне нужна твоя помощь.

— Чем же я могу тебе помочь? — удивился я.

— У меня расстегнулась резинка на чулке. Я боюсь, что если наклонюсь, то могу упасть. Похоже, я выпила чуть-чуть лишнего. Будь другом, застегни.

— Ты бы лучше попросила Борю из АПН.

— Тебе я доверяю больше, — сказала она со смешком, который меня озадачил.

Должно быть, на трезвую голову подобная просьба смутила бы меня, но теперь такое своеобразное проявление доверия показалось мне даже забавным. Все же при ярком свете у входа в «Лидо» в присутствии полутора или двух десятков зрителей выполнять столь пикантную просьбу мне показалось не совсем удобным. Мы отошли в тень, я присел на корточки, и Алена приподняла юбку настолько, чтобы можно было добраться до застегжки. В темноте, кроме белизны ее теплого упругого бедра, я ничего не видел. Приходилось действовать на ощупь. Повозившись немного, сидя на корточках и все еще не осознавая идиотизма своего положения, я сообщил:

— Она застегнута.

— Значит, я перепутала. Посмотри другую, — отозвалась она сверху из темноты и выставила вперед правую ногу.

— Эта тоже застегнута, — сказал я через полминуты.

— Выходит, мне показалось. Но, надеюсь, я тебя не слишком затруднила?

— Конечно, нет, — сказал я, вставая.

— Послушай, — сказала она, как ни в чем не бывало попыхивая сигаретой. — Что-то ты на меня сегодня дуешься, а?

- Все нет. Просто ты меня немного огорчила. Вернее, разочаровала.
- Интересно, чем?
- Как ты могла обидеть Ингу? Тихая работающая девочка, всегда приветливая и услужливая. Даже если она что-то напутала, неужели надо было доводить ее до слез?
- Какую еще Ингу?
- Из регистратуры.
- Ах, вот оно что! — вспыхнула Алена. — Мало тебе этой цыпы, так ты еще и на регистраторшу глаз положил!
- Да ничего подобного!
- Рассказывай! Я вижу, ты несколько не лучше этого тупоумного жеребца Валентина.
- Возможно. Но, по крайней мере, я не хам и никому не доставляю неприятностей, — сказал я спокойно. — И кроме того, похоже, что Вероника не считает Валентина таким уж тупоумным.
- Тоже считает.
- Однако это не помешало ей сразу оказаться у него в койке.
- А почему это должно помешать? — в ее голосе слышалась откровенная издевка.
- Тогда я молчу.
- Вот и помолчи. И имей в виду: твоя паршивая регистраторша просто дрянь. Таких надо ставить на место, и чем чаще, тем лучше.
- Я почувствовал, что у меня подступила к горлу, поплыла цветными кругами в глазах лютая злоба. Но, как это бывает в минуты сильного нервного напряжения, ко мне вернулось самообладание.
- Ну вот, опять ты меня огорчаешь, — сказал я с мягким упреком. — Очень грустно, когда такая на первый взгляд приятная девушка на самом деле оказывается обыкновенной хабалкой.
- Этого она не ожидала. В темноте я не мог разглядеть ее лица, но, судя по напряженному молчанию, Алена на несколько секунд впала в столбняк. Она была уверена, что полностью владеет инициативой, и потому мой ответ застал ее врасплох. Я не стал мешкать, пока она придет в себя, повернулся и пошел прочь. Боря из АПН встретил меня подозрительным взглядом.
- Такси нет, — сказал Валентин. — Твой приятель только что уехал на последней машине в Дубулты.
- А эти? — я кивнул на две машины с зелеными огоньками, стоявшие на другой стороне улицы.
- Они не хотят ехать в Плавис. Ждут пассажиров до Риги.
- Придется подождать.
- Я посмотрел на часы и в темноте не сразу разглядел циферблат. Было без четверти час. Рядом с нами остановились двое гуляк из «Лидо». Третий, уронив голову на грудь, висел у них на руках, как куль, обмякший и бесформенный, с неестественно подвернутыми ногами. Все трое сильно раскачивались.
- Надо отвезти его домой, — сказал один, еле ворочая языком.
- Само собой! — с трудом проговорил другой. — Не бросать же человека.
- Ни в коем случае! Ты знаешь, где он живет?
- Нет. А ты?
- И я не знаю. Как же быть?
- Тут третий, висевший у них на руках, судорожно вскинул голову и проклекотал:
- Я знаю!
- Молодец! Значит, довезем. Тебя хоть как зовут-то?

Тот что-то пробуюлькал в ответ, и один из них обратился к нам:

— Мужики, уступите очередь на такси. Видите, человек совсем плохой.

— Придется уступить, — сказал Йонас.

— Ну, ребята, тогда это безнадежно! — возмутился Боря из АПН. — Если мы всем будем уступать, то сами никогда отсюда не уедем.

— Значит, придется идти пешком, — сказал я. — Авось нагонит автобус или попадутся попутные машины.

Сначала мы держались вместе. Первые полчаса на шоссе еще попадались машины — три или четыре легковушки, не считая тех, что ехали в сторону Риги. Ни одна из них не остановилась, хотя Боря из АПН выбегал на середину шоссе, усиленно жестикулировал, воздевал руки к небу. Пока не выветрилось спиртное, он вел себя очень беспокойно, норовил вломиться на станцию «Скорой помощи», где во дворе сгрудились машины с красными крестами, потом на повышенных тонах уговаривал милиционеров, дежуривших в отделении неподалеку от лютеранской церкви, довезти нас до Плависа.

Если бы не перспектива, по крайней мере, еще два часа тащиться по темному шоссе, прогулка могла бы показаться даже приятной — что может быть лучше в ту пору молодости, когда начинаешь ценить простые радости: безлюдная дорога, луна в редких просветах облаков, свежий ночной воздух с запахами осени. Но уже сказывалась усталость. Ирочка шла все медленнее, все больше отставала. Ее белые туфельки на каблучках-гвоздиках были плохо приспособлены для такой прогулки. Шагая рядом с ней, замедлил шаг и я. Оленька оказалась повыносливее подруги, но и она, и Йонас держались рядом с нами. Валентин с Борей из АПН и девушками из Москвы ушли вперед, и мы потеряли их из вида.

— Гера, я устала, — жалобно сказала наконец Ирочка.

— Потерпи немного. Сейчас дойдем до автобусной остановки и отдохнем. А то здесь даже негде присесть.

На ближайшей остановке мы неожиданно увидели человека. Он сидел на скамье совершенно неподвижно, и мы заметили его, лишь когда подошли вплотную. В том, что он был один на остановке глубокой ночью среди пустынного безмолвия, когда нет ни автобусов, ни пассажиров и никуда нельзя уехать, — в этой неподвижной фигуре было что-то жутковатое. Признаюсь, в первый момент я почувствовал безотчетный страх.

— Припозднились вы, однако, — сказал человек спокойно.

— Да вот опоздали на последний автобус, а попутных машин нет.

— А вам далеко?

— В Плавис.

— Ну, что ж, дело молодое...

Надо было идти дальше, но я медлил, понимая, что теперь Цыпленок будет уставать еще быстрее. Вдалеке на шоссе со стороны Плависа послышался шум мотора. Он становился все громче, и скоро мимо нас по направлению к Риге проехал странный экипаж с потушенными фарами. Не знаю, как они ухитрились разглядеть нас в темноте, но, проехав еще несколько десятков метров, колымага развернулась и, скрипнув тормозами, остановилась прямо перед нами.

— Господа, прошу садиться! — раздался из темноты голос Бори из АПН.

Это была открытая машина с большим тентом, который придавал ей сходство со старинными автомобилями начала века. Подойдя ближе, я с удивлением обнаружил, что вижу перед собой машину для разметки дорог — такие колымаги наносят

белый пунктир или сплошную линию на проезжей части улиц и шоссе. Впереди на низком сиденье водителя виднелся белый пиджак Бори из АПН.

— Прошу садиться, да побыстрее, — повторил он.

— Где ты взял такую шикарную машину? — спросил Йонас, помогая Ольге взобраться на высокую площадку под тентом, где размещались сиденья.

— Нашел, — коротко ответил Боря из АПН.

Он не знал, как включить фары, и мы катили по шоссе в полной темноте. Пахло чем-то резко, но приятно, похоже на лыжную мазь или перетопленную смолу. По сторонам от дороги на фоне серого, затянутого облаками неба маячили черные силуэты крыш и куп деревьев в садах поселков, которые мы проезжали. Я много раз ездил по этому шоссе на автобусе, большие его отрезки исходил пешком, но теперь совсем перестал ориентироваться. Местность казалась незнакомой, в окнах домов — ни огонька, кругом никаких признаков жизни, словно люди навсегда покинули этот край. Из всех ощущений остались лишь тихое урчание мотора, плавное движение да встречный ветер в лицо. Это было похоже на езду по какой-то бесконечной, без верстовых столбов, без ориентиров дороге в никуда. Должно быть, у остальных было такое же чувство — все сидели притихшие, молча всматриваясь в темноту.

К счастью, мы вовремя заметили погоню. На прямом, как линейка, шоссе, пока еще достаточно далеко от нас, сверкая синей мигалкой, следом мчалась милицмейская машина.

— Братцы, это за нами! — переполошился Валентин. — А ну-ка, Боря, поддай ей копати, авось не догонят!

— Не надейся, догонят, — спокойно сказал Йонас. — У них скорость раза в три больше. Давай-ка, Боря, сворачивай куда-нибудь в проулок. Они нас еще наверняка не видят.

Боря из АПН притормозил и, как мне показалось, почти наугад свернул направо. Раздался треск ломаемого штакетника, нас основательно встряхнуло, и колымага встала. Где-то в темноте взახлеб лаяла собака. Боря из АПН неожиданно и очень похоже передразнил ее. Скоро сзади в просвете переуллка мы увидели, как патрульная машина, оглашая спящий поселок воем сирены, на большой скорости проехала по шоссе. Очевидно, благодаря тому, что у нашей колымаги не были включены габариты, они не заметили нас.

— Кажется, пронесло, — сказал Валентин.

— Подождем, пока они проедут обратно, и двинемся дальше, — отозвался в темноте Боря из АПН.

— Нет, братцы, с меня хватит, — сказал я. — Вы как хотите, а я дальше пойду пешком.

— Ты что, испугался? — язвительно спросил Боря из АПН.

— Считай, что испугался. Во всяком случае, иметь дело с ментами не хочу. И вам не советую.

— Гера, ты зря паникуешь, — сказал Валентин.

— А я не паникую. Но тут нам светит статья за угон, — сказал я и стал слезать с колымаги.

Йонас молча последовал за мной, и мы помогли сойти нашим девушкам. Потом Валентин рассказывал, что после нашего ухода он выбрался на шоссе, спрятался в кустах и стал ждать. Минут через десять милицмейская «Волга» с потушенной мигалкой и выключенной сиреной проехала в сторону Риги. Они выждали еще немного, Боря из АПН с трудом завел мотор — в темноте при тусклом свете зажигалки он никак не мог соединить нужные провода, — вырулил на шоссе, и они покатали в сто-

рону Плависа. Они боялись, что патрульная машина может вернуться и потому все время оглаживались. Около турбазы Боря из АПН высадил Веронику и Валентина. Алене он предложил поехать к нему в бунгало выпить чашечку кофе, якобы чтобы прийти в себя после потрясений этой беспокойной ночи.

А мы с Йонасом и девушками шли по пляжу. Небо совсем заволочло облаками, было безветренно и прохладно. Девушки разулись и семенили по песку босиком. Ирочка опасливо вглядывалась в темноту и жалась ко мне. Я был уверен, что в этот час на всем побережье от Леилупе до Каугури не встретишь ни души, но в километре от Плависа у спасательной станции мы наткнулись на компанию молодежи. Они были заметно навеселе, что-то возбужденно говорили, сбиваясь на латышский, допытывались, нравится ли нам на взморье, заставили нас с Йонасом выпить портвейна, пригрозив, что иначе не отпустят наших девушек. Это было сказано со смешками и прибаутками, но мне стало немного не по себе. Пришлось прямо из горла отвратить отвратительного пойла, зато расстались мы друзьями.

Уже подходя к турбазе, я заметил, что небо чуть посерело, из темноты стали выступать силуэты отдельных сосен. Перед отъездом в «Лидо» я на всякий случай отомкнул шпингалеты двери на боковом балкончике третьего этажа, куда снизу вела пожарная лестница. Девушки немного трусили, но старались не показывать вида, что им страшно карабкаться наверх. К счастью, никто из обитателей турбазы не заметил, что дверь на балкон не заперта. Мы на цыпочках проводили Ирочку и Ольгу до их комнаты. Валентин не возвращался, и я оставил Йонаса досыпать остаток ночи на его кровати.

Утро четвертого дня

Признаться, я с некоторым злорадством ожидал возвращения Алены. Она опаздывала к отправлению автобуса, и, по моим предположениям, Боря из АПН должен был доставить ее к турбазе на вчерашнем асфальтоукладчике. Нетрудно было представить, какой фурор и замешательство среди обитателей нашей туристской обители мог бы произвести их приезд на столь экзотическом транспортном средстве. Мне казалось, что Алена вполне заслужила столь бесславное завершение своего пребывания в Плависе, как прибытие на этой колымаге. Однако при ее появлении мое злорадство сразу улетучилось. Я от души посочувствовал хорошенькой москвичке.

Наверняка в ту беспокойную ночь Боря из АПН уступил мне и девушке с пляжа лучшую свою постель, а значит, с Аленой он тоже воспользовался ложем, на котором тогда кувыркался с Хрюшкой. Очевидно, что совершаемое ими таинство, как и в тот раз, сопровождалось лязганьем и скрежетом металлической арматуры их кровати. Такого Алена наверняка не ожидала. К тому же при дневном свете и на трезвую голову она имела возможность получше разглядеть Борино бунгало и экипаж, на котором они прибыли в его апартаменты. Думаю, это тоже не добавило ей веселья. И когда запыхавшийся Боря из АПН привез ее к турбазе на раме своего велосипеда — автобус, окруженный толпой провожающих, уже стоял под парами, — на девушку было тяжело смотреть. С ненакрашенными ресницами, землистым лицом, наспех заправленной в юбку блузкой, под взглядами ошарашенных туристов Алена была не похожа на себя.

А получасом раньше наш осторожный стук в дверь комнаты Ирочки и Ольги тоже произвел неожиданный переполох. Нас с Йонасом встревожило то, что девушки не пришли на завтрак. Захватив игрушечную обезьянку, мы отправились поторо-

пить их со сборами и, похоже, застали подруг в постелях. Нам пришлось довольно долго топтаться в коридоре, пока они приводили себя в порядок. По звукам, доносившимся из-за двери, можно было догадаться, что девушки поспешно укладывают вещи. Наконец Ирочка впустила нас в комнату. Я вошел вслед за Йонасом, держа игрушку за спиной.

— Заранее праздновать день рождения нельзя, но подарок сделать очень даже можно, — сказал я и протянул Ирочке обезьянку.

Она замерла с широко открытыми глазами, потом всплеснула руками.

— Какая прелесть!

Взяв игрушку, она одной рукой обняла меня за шею и крепко поцеловала в щеку.

— Спасибо тебе, Герочка! Ты даже не представляешь, какой подарок ты мне сделал!

Ирочка чмокнула обезьянку в нос, прижала ее к груди и засмеялась своим серебристым смехом.

— Чего ты так обрадовалась? — удивился я. — Как будто я тебе подарил Бог весть что.

— Как, ты разве не знаешь?! Ведь обезьяны приносят счастье!

— Первый раз слышу. — Я обернулся к Ольге. — Это правда?

Девушка молча кивнула, взяла игрушку и, разглядывая ее, сказала:

— И правда прелесть.

Мы отнесли их чемоданы в автобус и вышли наружу, где среди провожающих я увидел Валентина и Веронику. Оленька молча стояла рядом с Йонасом и выглядела очень расстроенной. Ирочка, наоборот, была оживлена и щебетала без умолку — похоже, ее не слишком огорчал предстоящий отъезд. Но я не слушал болтовню Цыпленка. Подняв глаза, прямо перед собой в окне автобуса я увидел девушку с пляжа. Она сквозь стекло смотрела на меня своими словно заплаканными глазами с выражением незащитности, которое так тронуло меня в тот вечер на веранде у Бори из АПН. В ее взгляде не было ни упрека, ни сожаления, только застарелая грусть и, может быть, немного нежности. Я почувствовал, что надо бы пойти попрощаться, но что-то удержало меня. Скорее всего, я постеснялся обнаружить перед Йонасом, Ирочкой, Вероникой, что знаком с этой невзрачной девочкой. Я не выдержал ее взгляда, отвернулся и не раз потом жалел, что не расстался с ней по-человечески.

— А вот и главная гордость отечественных разведслужб, — сказала Ирочка, довольно удачно передразнив мою интонацию, и лукаво посмотрела на меня.

Мимо нас с красным от напряжения лицом проехал Боря из АПН с Аленой на раме. Бросив велосипед, они устремились вверх по лестнице. Я испытующе уставился на Цыпленка.

— Ты что, догадалась?

— О чем? Что ты все напридумывал про разведку? Конечно, догадалась! — сказала она с улыбкой.

— Когда?

— Когда ты сказал про этого дядечку в «Лидо», который меня поздравил и подарил цветы, что он учился в разведшколе на кулинарном факультете. Я сразу поняла: он никогда не мог быть отличником! Но ты не расстраивайся, — добавила Ирочка, заглядывая мне в лицо. — Все равно получилось очень интересно и симпатично: про разведчиков, про Бурунди, про клопов.

— А я и не расстраиваюсь. Тем более что в каждой шутке есть доля правды. Так что не все тут было выдумкой.

— Тогда чем же?

— Считаю это игрой воображения.

— А все остальное тоже?

— Что — остальное?

— То, о чем ты рассказал мне тогда на пляже — про хорошего мальчика, который будет носить на руках, про дочурок и про все остальное, — тоже игра воображения?

— Это зависит только от тебя. Если не наделаешь глупостей, все так и будет...

Она хотела что-то сказать, но тут шофер завел мотор, и все стали усаживаться в автобус. Вероника встревоженно озиралась — Алены все еще не было. Валентин подошел к кабине водителя и постучал в стекло.

— Шеф, обожди! Еще не все сели!

Оленька поочередно подала нам руку, а Ирочка, привстав на цыпочки, торопливо чмокнула в щеку Валентина, Йонаса и меня.

— До свидания, мальчики! И спасибо вам за все!

Я не решился пожать руку Веронике, но, отвесив ей учтивый полупоклон, сказал как можно дружелюбнее:

— Всего хорошего, Вероника. Приятно было познакомиться.

Сказал и подумал, что знакомство у нас получилось странное. За все время я не обменялся с ней ни единым словом. Она в замешательстве воззрилась на меня, очевидно, не зная, что ответить, и промолчала.

Примчался запыхавшийся Боря из АПН, а за ним — Алена. Из-под крышки наспех уложенного чемодана торчало ее белье. Со скрипом закрылись двери, взревел мотор, и автобус тронулся. Вокруг махали руками, слышались возбужденные восклицания, смех. Ирочка, высунувшись из окна, посылала нам воздушные поцелуи. Промелькнули лица Оленьки, Вероники, девушки с пляжа, и, набирая ход, автобус покатил к подъездной аллее.

— Ну, теперь часок поспим и снова в бой, — сказал Валентин и засмеялся.

Эпилог

После их отъезда мы оставались в Плависе до конца следующей недели. Стояла необычно теплая для сентября погода. Как и прежде, мы почти все время проводили на пляже, но теперь меня не радовали ни солнце, ни новые знакомства — я с удивлением обнаружил, что привязался к Ирочке и после ее отъезда не на шутку затосковал. Пытаясь развеяться, я два раза ездил в пивную на открытом воздухе под большим шатром с соломенной крышей, которая открылась в тот год в Леилупе возле станции, наведаясь в Каугури, надеясь разыскать Алдону. Однако в столовой торгового центра девушка на раздаче сказала, что Алдона в отпуске, а ее адрес я спросить не решился.

А за два дня до нашего отъезда из Плависа Инга подала мне извещение на получение почтовой бандероли. Теряясь в догадках — никто из моих знакомых не знал адрес турбазы, — я отправился на почту. Фамилия отправителя — Олейник — была мне незнакома, но на штемпеле почтового отделения я разобрал название города, откуда пришла бандероль, — Любеч. Стоя возле почты, где в палисаднике, увядая, благоухали флоксы, я с внезапным волнением вскрыл пакет и достал из него очаровательного желтого цыпленка с бусинками лукавых глаз, сделанного из какого-то синтетического пуха. На доннышке картонной подставки округлым школьным почерком было выведено: «Мои дорогие, милые и добрые опекуны! Не скучайте, я с вами!»

На этом я хотел закончить рассказ о том, как тем далеким летом, запомнившимся жарой и лесными пожарами, мы встретились и расстались с девушкой из Любеча.

Однако сама жизнь дала ему другое окончание. Лет десять спустя Валентин случайно столкнулся с Ирочкой в аэропорту Шереметьево. Она обрадовалась встрече и рассказала, что на следующий год после нашего знакомства в Плависе поступила в Москве в Институт иностранных языков, на третьем курсе вышла замуж за выпускника высшей школы переводчиков, перешла на заочное отделение и уехала с мужем в Нью-Йорк — его распределили на работу в ООН. Они прожили в Америке четыре года, она родила двух чудесных малышек. Потом ее муж поступил в дипломатическую академию и теперь работает в посольстве то ли в Уганде, то ли в Бурунди — этого Валентин не запомнил. По его словам, Ирочка немного похудела, но в остальном почти не изменилась и, кажется, вполне довольна жизнью. Мне она привет не передала.

Прошло еще около пятнадцати лет. Однажды в Москве у какого-то посольского особняка в районе улицы Алексея Толстого мне преградила путь небольшая толпа зевак, собравшихся поглазеть на экзотическое зрелище. В посольство на дипломатический прием съезжались гости. У тротуара остановился очередной автомобиль, и в даме, которая вышла из него, я сразу узнал нашу Ирочку. Рядом с ней, чуть прихрамывая, шагал щеголеватый пожилой господин. Я впился в них глазами и разом охватил все: ее шубку из какого-то драгоценного переливающегося меха, блестящий черный лимузин с шофером в униформе, ее холеного спутника с тростью.

Похоже, все сбылось. Ирочка получила от жизни то, о чем мечтает каждый. Теперь ее красивые светло-карие глаза смотрели холодно и бесстрастно, а на лице застыла гримаска едва уловимого высокомерия. В ней не осталось ничего от той прелестной смешливой девочки, с которой мы познакомились когда-то на Рижском взморье.

Послесловие

В молодые годы мне нередко казалось, что прочитанная повесть или роман — не вымысел автора, а рассказ о подлинных событиях и людях, существовавших в действительности. Порой мне хотелось побольше узнать о них, о том, как сложилась их судьба после того, как перевернута последняя страница книги. Если и читателя посещают иногда подобные фантазии, то у меня есть возможность сообщить некоторые сведения о героях этой повести.

Валентин существует реально, хотя и под другим именем. Замысловатый дрейф по жизни в конце концов привел его в Чернобыль, где он несколько лет работал дозиметристом на саркофаге. Все заработанные деньги он вложил в какую-то фирму в расчете обзавестись «рэндж-ровером», производство которого обещали наладить на средства вкладчиков ее организаторы. Фирма оказалась одной из наших финансовых пирамид, вскоре лопнула, и Валентин потерял все свои сбережения. Несколько лет назад его прооперировали по поводу онкологии, к счастью, удачно. Теперь он на пенсии и половину года проводит у себя в деревне под Муромом.

Валерий Алексеевич Павленко в своей реальной жизни был главным санитарным врачом города Владимира. Вскоре после нашего возвращения из Плависа мы с Валентином ездили к нему в гости, и он устроил нам поистине царский прием в трапезной Суздаля. После этого след его затерялся. Реально существовал и Боря из АПН, но, кроме тех сведений, которые есть в этой повести, я о нем ничего не знаю. Помню только, что его бунгало на взморье почему-то было завалено снаряжением для катания на водных лыжах, хотя кататься там на них было решительно негде. Алдону действительно звали Алдоной, и когда мы познакомились с ней в автобусе по дороге из Дзинтари, у нее на пальце были два обручальных кольца. Она действительно рабо-

тала в торговом центре, но к тому времени, когда через несколько лет я приехал отдыхать в Каугури — уже с семьей, — она уволилась из столовой.

И лишь в образе Цыпленка соединились два персонажа. Одна — очаровательная девочка, с которой мы познакомились когда-то на турбазе Рижского взморья и которую вместе с Валентином опекали и берегли. Она действительно прислала мне бандероль с игрушечным цыпленком за два дня до нашего отъезда из Плависа, но больше я никогда ее не видел и не знаю, как сложилась ее судьба. Мне хочется думать, что в своей взрослой жизни она была счастлива, поэтому я дал ей судьбу другой знакомой девочки, которую тоже всячески берег и опекал и которой однажды в день рождения подарил игрушечную обезьянку. А потому учеба в Институте иностранных языков, дипломатическая карьера ее мужа, двое детей — все это правда. Лишь эпизод у посольства на улице Алексея Толстого с гримаской чванливости на личике бывшего Цыпленка — дань поветриям времени.

Когда-то Хемингуэй писал своему русскому переводчику Ивану Кашкину примерно следующее: книга должна быть такой, чтобы остаться в памяти читателя, словно часть его собственной жизни. Не поручусь за дословную точность высказывания, но смысл его был именно такой. Как знать, может быть, и в этой повести удалось хотя бы отчасти передать ощущение нашей молодой, свободной и беспечной жизни. Как знать, может быть, теперь не только автору этих строчек, но и читателю среди повседневных забот, тревог, усталости и суеты, словно реальный миг прошлого, вспомнится однажды тот солнечный берег, та ночь в «Лидо» и лунный вечер на пляже, когда она сидела у меня на коленях, а я целовал ее мокрое от слез лицо.

ФАРВАТЕР

В мертвый сезон, даже когда штормит,
Спасатель не нужен — спасти никого не нужно.
Время не ждет. Море почти не спит.
Служба идет. Такая уж это служба.
Пусто на пляже, стало быть, нет проблем.
Пена шуршит, шелестит по песку и гаснет.
Балтика, братцы! Приехали! Чтобы — всем! —
и за бортом, и на сердце — тепло и ясно.
Единодушно. Так иногда блеснет,
и подсекаешь, тянешь, но не доносишь.
В самом разгаре градус совсем не тот.
Не сомневайся, перенеси на осень
отпуск. Прособирайся. Не торопись.
Не удивляйся. Жил и живи спокойно.
Если погода шепчет, тогда ложись
в дрейф, а когда кричит — уходи достойно.
Вечное лето — в прошлом. Прибалт-залив
скрылся за горизонт, отпустил опору.
Слабое место — это всегда намыв.
Место под солнцем — прямо по коридору.
Переходи в нейтраль и лови волну.
Можешь — молись, не можешь — держись течения.
Страх, безусловно, тянет тебя ко дну.
Бог неизбежно дарит тебе спасение.
Станешь петлять, даже образно — пропадешь.
Хочешь — попробуй. Не многие так умеют.
Не захлебнешься, даже когда хлебнешь.
— Но откачают?
— Точно. Если успеют.

НА СИНЕМ МОСТУ

Расправил зонт, провожал моторки,
ботики, шлюпки, et cetera.
Волна поднималась на каждой горке
и уходила под катера.

Олег Александрович Ващав родился в 1970 году в Норильске. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна. Публиковался в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Енисей» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Изящная словесность» (Санкт-Петербург). Живет в Санкт-Петербурге.

А пассажиры вникали в тему:
Исаакий, «Астория», Николай.
А сами, будто в гостях у Немо,
как «Наутилус» речной трамвай.
Нырять рьяно, не отвертеться:
нет расписания у дождя.
Холодным летом, по зову сердца,
на Мойке в небо глядит ладья.
И на Фонтанке, и по каналу.
Венецианство на свой манер.
По-русски сдержанно и устало.
Но — абсолютно живой пример.
Какие шхуны! *Vivat*, ребята!
Не фрики вы и не фраера.
Останусь с вами, и все — как надо.
И бьются волны о буфера.

* * *

Ничего отменить нельзя. Со всем приходится жить.
Без цели, без интереса, пока не хватает духа
послать это все подальше, заметив сухо:
вещь стоит столько, сколько готов платить.

Ничего заслужить нельзя: противоречит дух,
абсурдом становится Правило как таковое.
И не получится, если не «за живое».
Легкий, но ложный след отбивает нюх.

Я не ответил? Это и есть цена
Любого вопроса: платишь или не платишь.
Просто пойми. Сегодня — пойми — и хватит.
По существу, ответишь потом сполна.

* * *

Пробки в «подземке» гуще, чем пробки-стрит.
А рассасываются шустро, потому что уединиться негде.
Эскалаторы на ремонте. Как вкопанный центр «стоит».
Хочется приобщиться к какой-нибудь сельской секте.
Отношение к ближним отдаляет или роднит.
Чувство локтя отшивают шкурные интересы.
Когда выход один на всех, но и он закрыт,
вопросы возникают по ходу пьесы.
Все еще сомневаешься? Копишь на черный день?
Он уже наступил, расслабься, не жди подвоха.

В крайнем случае следующая ступень —
Естественный отбор, увеличение пассажиропотока.

ALTER EGO

Не держи, а когда отпустит —
Что нахлынуло, то навеет.
Альтер-эго такой союзник
за которым не заржавеет.
Ближний твой всегда исповедник,
а душа вовеки причастник.
Альтер-эго всегда посредник,
не свидетель, но соучастник.
Не спеши, а когда пропустят —
Шансы лишними не бывают.
Жизнь — премьера, а смерть — капустник.
Проиграют и отыграют.
Ты акустик, и я акустик.
Не решай чересчур поспешно.
Альтер-эго такой союзник,
на которого есть надежда.

* * *

Сестра подарила на счастье четки,
Сказала: действуй, ищи концы.
И я ищу: на рыбацкой лодке,
На веслах, прочь от мирской попсы.
Туда, где деньги вообще не греют,
Не вдохновляют, не веселят.
То дорожают, то дешевеют,
когда угодно и как хотят.
Туда, где люди уже не звери:
гуртом, артелью, питье, нитье.
Любовь дается по нашей Вере.
Как чудо. Вот оно. И — ничье.
Туда, где дети уже не дети.
И врозь, и порознь — сообща.
Дырявой лодке — худые сети.
А нежность — вот она, и — ничья.
Увы? Увы. За бортом — прекрасно!
Швыряет так, что с ума сойдешь.
Предупреждали. И было ясно.
Все виноваты, и сам хорош.
Давай не будем кривить душою.
Валить на крайних и гнать пургу.
Давай на будущее с тобою
Договоримся на берегу.

* * *

Спокойнее, мой милый. Ни слова о былом.
Былое по живому разрублено винтом.
На переправах жизни невиноватых нет.
Безбрежная усталость охватывает свет
Над темно-темно-синей нахлынувшей водой,
И наполняет сумрак тоской и немотой.
Проверенное чувство готово ко всему,
И все, что пожелаешь, я от тебя приму.
А ныне бьется сердце, как белка в колесе,
И ищет оправдания на встречной полосе.

Владимир ПАНКОВ

ОЧЕВИДЦЫ

Роман

— Ну чего, без работы остался? — ехидно ухмыльнулась соседка по лестничной площадке Клёпа Колдобина, когда Авдей Баклушин выносил свой тщедушный мусор.

— Кризис, — развел руками Авдей, — нынче таких пострадавших много.

— Э, пострадавший... — не поверила Клёпа, — насколько я помню, ты больше от работы страдал, чем от без нее.

— Если работа была не по мне, страдал, не скрою.

— Это когда ты чернорабочим, что ли?

— Я чернорабочим никогда не работал, — гордо поднял голову Авдей, — подсобным — да, приводилось.

— А на кладбище?

— Это когда было? Да и почва там была не черноземная, а так, песочек... Так что про чернорабочество мое забудь.

— А подсобным это ты где? — не сдавалось ехидство в соседке. — При магазине ящики с водкой, что ли?

— Почему только с водкой? Там были напитки широкого профиля: и вина, и пиво, и фанга различная.

— А теперь кукиш, Авдюша? На что же ты будешь жить без работы?

— Зря радуешься. Тебя саму скоро с продажи билетов скинут.

— Меня не скинут. Я непьющая — раз, и у меня стаж — двадцать семь лет.

— Стаж, — грустно повторил, как эхо, Авдей, — со стажем у меня пробелы. На одном месте усидеть у меня, да, не получалось. Но подсобным я бывал не только на водке, я и в кино на подносе работал.

— На каком это подносе? — не поняла Клёпа.

— Ну, что-нибудь поднести, прибить, винтить. Очень меня ценили. Там таких ценят.

— Ты что, в съемочной группе был?

— Еще как был! Кино, я тебе скажу, штука простая. Там голова болит только у режиссера да у продюсера, который деньги платит, а все остальные отдыхают больше. За пивом сгонять, если только...

— Ну, а теперь тебя и за пивом не пошлют, — продолжала ехидничать Клёпа.

— Ты меня плохо знаешь. Такие, как я, всегда будут нужны. Знаешь, что сказал Чехов? Маленькие писатели, которые пишут маленькие рассказы, можно сказать, лают такими же голосами, как и большие собаки, которые пишут большие романы.

Владимир Александрович Панков родился в 1937 году в городе Дмитров Московской области. Окончил МВТУ им. Баумана. Работал в КБ Ильюшина, в «Литературной газете», в киножурнале «Фитиль». Публиковал рассказы и повести в множестве изданий. Автор книг «Что мы знаем об этой жизни» и «Тандем с прицепом» (с Александром Курляндским). Живет в Москве.

— Кто это сказал? — не поверила Клёпа.

— Чехов Антон Павлович, великий писатель, который тогда еще писал маленькие рассказы про Каштанок. Точность слов я помню неточно, но за смысл отвечаю... Так что маленький человек — это тоже звучит гордо.

Клёпа Колдобина была смущена. Она и не подозревала, что Баклушин такой начитанный.

— Да, человек — это звучит гордо, даже если он маленький человек, — согласилась она.

— Человек — это звучит гордо, а обезьяна — перспективно, — добавил Авдей.

— Что ты имеешь в виду? — обиделась Клёпа, заподозрив намек на себя.

— Я с философской точки зрения, — Авдей опустил свой мусор в мусоропровод, — вернее, с дарвиновской... Без всяких намеков... А работу мы себе найдем. Помнишь Швейка? Чем он занимался? Он составлял фальшивые родословные для породистых собак и жил припеваючи.

— Ты что, тоже собираешься этим заняться?

— У меня нет ни одной знакомой собаки, ни породистой, ни дворняжки... — Авдей вдруг рассмеялся, — вспомнил анекдот про одного грузинского князя. Он представлялся: князь Палавандешвили... Ему с улыбкой: ну какие нынче князья? Небось вы бывший князь?.. А грузин в ответ: князь — это порода. Вы же не говорите «бывший пудель»... Правда, смешно?

— Я чего к тебе, Авдей, шла-то, — припомнила Клёпа, отсмеявшись, — газету читала, а в ней объявление, вот... «Высокооплачиваемая работа»... Вот тебе газетный клочок, позвонишь.

Авдей позвонил. Подтвердили: да, работа высокооплачиваемая.

— А что надо делать? — спросил человек, всю жизнь проработавший «на подхвате».

— А что вы можете?

— Я все могу. А что конкретно у вас?

— Приходите на собеседование. Побеседуем с глазу на глаз. Мы вам все объясним. У нас даже на обучение время выделено.

— Обучение платное?

— Бесплатное.

— Тогда приду.

Встретил Авдея прилично одетый человек при галстукке.

— Меня зовут Нюров Александр Давыдович. Я официальный представитель нашей фирмы.

— А что за фирма? — быстро перебил Баклушин.

— Об этом позже. Сначала мне нужно, чтобы представились вы.

— Я Баклушин Авдей Сыроевич, ныне временно безработный.

— Очень приятно.

— Что же приятного?

— Значит, мы сможем занять вас на полную рабочую неделю.

— А что надо делать-то?

— А что вы умеете?

— Я специалист широкого профиля, — сразу приосанился Авдей, — ну, а если поанекдотски, то — «в каждой бочке затычка».

— То есть вы незаменимый работник?

— Практически да. А в чем конкретно специфика вашего производства? И на какую зарплату я могу рассчитывать?

— Зарплата хорошая — это вы читали в газете, иначе бы не пришли, а специфика... Об этом надо поговорить отдельно. Садитесь... Вы когда-нибудь сталкивались с мелкими пакостями?

— Чего? — сразу вскочил только что присевший Баклушин.

— Уже хорошо, — подметил Нюров, — реакция быстрая... Нам очень важно, как вы реагируете на быстрое изменение ситуации.

— А почему про пакости спросили?

— Я мог спросить что угодно, но для меня главное, как вы станете реагировать, как импровизировать...

— А, — сразу догадался Баклушин, — тут у вас что-то связанное с актерством...

— Точнее сказать, с сообразительностью, — внес поправку Нюров.

— Ну, — расплылся в улыбке Авдей, — что-что, а с этим у меня все в порядке.

Потом в фирме, названия которой Баклушину так и не удалось узнать, начались вступительные экзамены. Точнее сказать, испытания.

Первым вызвали высокого красавца по фамилии Опричнев и предложили ему этюд.

— Вы обнимаетесь с девушкой...

Опричнев сразу стал искать глазами девушку, но на экзамене были одни мужики.

— С воображаемой девушкой, — уточнил Нюров.

Пришлось обниматься с воображаемой, то есть обхватить руками свою спину.

— Вдруг сзади слышите «руки вверх!».

Опричнев быстро поднял руки.

— Вздумали целоваться в троллейбусе, прямо в проходе, — продолжал обострять обстановку Нюров, — ну и нравы!

— А че? — стал оправдываться Опричнев. — Я бы и на сиденье мог обниматься, да мест нет. У нас уступают места только пенсионерам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. А будущим беременным женщинам не уступают.

— Спасибо, — поблагодарил Опричнева Нюров, — можете посидеть пока, посмотреть на других претендентов. Следующий у нас Шаромыгин.

К Нюрову подошел человек с круглой, отъевшейся физиономией.

— Вы тоже едете в троллейбусе и пьете пиво...

— Баночное? — быстро поинтересовался Шаромыгин.

— Ну, не в кружке же... И тоже слышите сзади «руки вверх!».

— Не, пока не допью, рук не подниму.

— А вас не смущает, что вы пьете в общественном месте? Может, вам и супчика на тарелочке подать?

— Не, в тарелке супчик неудобно — трясет. Хотя стойте, на остановке можно и похлебать. Была бы ложка.

— А пиво, значит, удобно?

— А пиво из банки где угодно удобно. Хоть на футболе, хоть в метро...

— Вы фамилию свою не меняли?

— А что ее зря менять? Шаромыгин — хорошая фамилия.

— Все, вы свободны, — остановил словоохотливого претендента Нюров.

— Могу посидеть?

— А теперь я попрошу следующего... Дофонарев!

Подошел невысокий юркий человечек.

— Ваш этюд... Вы читаете доску объявлений. И вдруг сзади слышите...

— «Руки вверх!»? — быстро спросил Дофонарев.

- Нет, наоборот. «Руки вниз!»... Вы своими руками загораживаете обзор другим.
- А-а, — понял Дофонарев, — а с меня спрос, шо я там на доске вижу... Вижу объявления. «Журналист меняет профессию, — сказал заученно, а потом добавил задумчиво: — На двухкомнатную квартиру со всеми удобствами».
- Хорошо, — улыбнулся Нюров.
- «Студент пятого курса, — продолжил Дофонарев, — непьющий, некурящий, с широкими художественными интересами... готов вступить в фиктивный гражданский брак».
- Неплохо.
- «Приглашается на работу мужчина. На должность пожарного. Работа сдельная. Проезд к месту работы и обратно бесплатный».
- Но с сиреной! Очень хорошо.
- «Монетный двор приглашает фальшивомонетчиков! Для обмена опытом».
- Давайте еще.
- «В связи с кризисом магазину требуются... товары».
- Еще.
- «Кинорежиссер с женой снимут... художественный фильм».
- Еще.
- «Издательству требуется уборщица, не разбирающаяся в литературе».
- Очень хорошо. Достаточно.
- Я еще могу. Я этих объявлений читаю каждый день по сотне.
- Почему?
- Работу ищу.
- Вы нам очень понравились. Посидите пока, а мы пригласим, — Нюров заглянул в список, — Баклушина.
- Авдей поднялся.
- Вам этюд посложнее... У вас чемодан без дна. Вы на вокзале выбираете зазевавшегося пассажира, подходите к его чемодану, незаметно опускаете на него свой без дна... и уносите, как свой.
- Чужой чемодан? — насторожился Баклушин.
- Вы же привыкли работать на подхвате?
- Привык, но...
- Вас заедает совесть? — попытался угадать Нюров.
- Заедает.
- Но это же этюд.
- А все равно заедает.
- Хорошо, вот вам этюд другой... Вам надо залезть в чемодан, и вас сдадут в камеру хранения.
- Меня? Зачем?
- Ночью вы вылезете из чемодана и пройдетесь по другим сданным вещам. По сумкам, чемоданам, сверткам. И все ценное переложите к себе. А потом влезете и сами.
- Как же я туда влезу, если там будут чужие вещи?
- Как-нибудь придется потесниться до утра, а утром вас в чемодане заберут по номерку.
- Но... это же... воровство же...
- Нет, это этюд на вашу сообразительность, на импровизацию.

Был объявлен перекур, и Баклушин вышел покурить. От волнения он никак не мог зажечь спичку и наломал кучу этих микродровишек вокруг себя.

Зато он услышал, как где-то недалеко в табачном дыму официальный представитель неизвестной фирмы Ньюров переговаривался с туманной женщиной по фамилии Всячина.

- Опричнев мне не понравился, — говорил Ньюров.
- Ну, почему? — возражала Всячина. — Красавец, высокий...
- Заметный, — прерывал ее Ньюров, — а есть такие профессии, которым запрещено выделяться из толпы.
- Какие профессии? — не понимала Всячина.
- Ну, разведчики, преступники...
- Ах, поэтому...
- Шаромыгин может согдаться именно из-за своего врожденного жлобства, хотя места я ему еще не приглядел.
- Шестерка, — как-то легко определила ему место Всячина.
- Теперь Дофонарев... У этого мозги хорошие. Поможет нам в составлении цепочек, где никто никого не знает, а знают только его одного.
- Правильно, он за все и ответит.
- Теперь этот придурок Баклушин. Что с ним делать?
- Да, чересчур уж совестливый...

Баклушин быстро засомневался и решил поделиться своими сомнениями с соседкой по этажу Клёпой Колдобиной.

— Проверяли на этюдах — залезть в чемодан, который потом сдадут в камеру хранения, а ты ночью, мол, вылезешь из чемодана и пройдешься по чужим вещам, которые тоже сданы на хранение. Но это же... — от возмущения Авдей захлебнулся.

— А что хоть за фирма? — спросила Клёпа, чувствуя свою вину за предложенную соседу газетенку с объявлениями.

— Таблички так до сих пор и не видел, но слова насчет разведчиков и преступников, которым не полагается выделяться из толпы, настораживают.

- Думаешь, что это могут быть и разведчики?
- Всякое может быть.
- Но чтобы в разведчики набирали по объявлению в газете? Любого с улицы?
- А преступники при чем тогда?
- Да, набирать в банду в открытую, при всех, при всем честном народе? Это вряд ли.
- Но сомнения у меня все же имеются.
- Знаешь что, — вдруг вспомнила Клёпа, — у меня есть одна знакомая журналистка. В газете работает. Фамилия — Оскомина Анька. Я ее, правда, Ньюней зову.
- Что, нюни распускает?
- Никогда! Коня на скаку остановит, в горячую точку всегда... Надо связаться с ней.

Нюня Оскомина была девушкой умственно горячеей. Любая хорошая идея ее зажигала и сотрясала, воображение било через край. Узнав, в чем дело, она смекнула тут же.

— Да, материал может быть сенсационным! Преступный мир, пользуясь кризисом, расширяет свою империю, свою мафию, свою «Козу ностру».

— Надо к ним внедриться, чтобы узнать все секреты изнутри, — добавила огня Клёпа.

— Вас уже взяли в штат, Авдей? — поинтересовалась Нюня. — Какую пообещали зарплату?

— Зарплата только в объявлении, — заметила Клёпа, — высокооплачиваемая...
— Высокооплачиваемая — это такая мелочь, — продолжала заводиться Нюня, — у нас будут такие гонорары, что этой мафии и не снились... Представьте себе: вы сообщаете, где и когда они собираются грабить банк, мы ставим туда телевизионную аппаратуру и даем прямой эфир по Первой программе на всю страну. Да что там страну? На весь мир!

— Ой! — стал тихо балдеть Баклушин.

— Или похищение! — продолжала кипеть Нюня. — Они собираются похитить какого-нибудь значительного человека! Звезду, президента, Никиту Михалкова! А мы уже все это знаем и готовим освобождение на глазах у всех!

— Потрясающе.

— А вам, Авдей, остается только сообщить нам где и когда.

— А как я сообщу?

— По радию! Впрочем, сегодня легко и по мобильнику.

— Обалдеть, Нюнька! Разведчик — в собственной стране! — восхитилась Клёпа.

— Но откуда я узнаю?

— Ты уже внедрен, Авдей! — хлопнула его по плечу Клёпа.

— Они могут поставить вас во главе штаба похитителей, — подняла свой указательный палец Нюня, — вам придется планировать похищение, а потом быстро сообщать свой план нам, чтобы мы успели подготовиться.

— Но я не умею составлять таких планов. Я никогда не составлял никаких планов. Я никогда никого не похищал.

— Ну вот, заныл, — скривилась Клёпа, — вот кто у нас настоящий Нюня, распускатель нюнь.

— Авдей, право, вы как ребенок, — погладила его по головке Оскоминая, — ведь когда-то надо начинать.

Но чтобы «внедриться», чтобы Авдея приняли на эту «высокооплачиваемую работу», Баклушину пришлось публично отказаться от своей совести.

— Я все понял, — признался он Нюрову, — я согласен залезть в чемодан. Сдавайте меня в вашу камеру хранения.

— Что вы имеете в виду под «нашей камерой хранения»? — любопытствовала подошедшая некстати Всячина.

— Но это же был просто этюд, просто проверка, — заюлил Нюров.

— Я понимаю, — кивнул понимающим лицом Баклушин, — вы проверяли меня на вшивость, а я оказался чистоплюем. Но теперь я созрел, теперь я готов, как Родион Раскольников, переступить.

— Чего переступить? — мелко заморгала ресницами Всячина.

Только сейчас Авдей рассмотрел эту туманную женщину. Без дыма она оказалась очень даже ничего: волосы под пепел, глаза — хлоп-хлоп, ноздри...

— Чего переступить? — переспросил он. — Ну, там, проценщицу... — махнул ладонью. — Короче, я на чемодан согласен. Запихивайте меня, то есть мою кандидатуру.

— Чего это вы завелись, Баклушин? — остановил его Нюров. — Какая муха вас укусила?

— Меня укусила муха безработи-ЦЫ, — Авдей нарочно выделил эти две буквы, — так сказать, муха цы-цы.

— Хорошо, мы возьмем вас, но с испытательным сроком.

— Но сначала на обучение, — заметила Всячина и отвела Баклушина на занятия психологией.

А тут, как на заказ, произошло экстраординарное событие. Какой-то сумасшедший, сокращенно псих, забрался по цепям на высотные конструкции Крымского моста.

— Ой, чего это он туда залез? — удивленно спросил Баклушин, когда их повели на ознакомительную экскурсию.

— Я так понимаю, — стал размышлять Нюров, — не для того, чтобы смотреть из-под ладошки вдаль.

— А зачем тогда?

— А если он задумал распротиться с жизнью?

— Ой, так надо его спасти! — сразу засуетился Баклушин.

— А спасти его можно, только отговорив от прыжка.

— Ну, так отговорите!

— А для чего мы вас нанимали? Для чего обучали? Вы, насколько я помню, Баклушин?

— Да, Баклушин.

— Вот вам и первое задание: забраться на мост и отговорить самоубийцу от его последнего шага.

«Ага, еще один этюд», — подумал Авдей и стал карабкаться вверх.

Полиция пыталась его остановить, но Нюров их отговорил:

— Это наш человек. Это наш профессиональный уговорщик.

А «уговорщик» Авдей Баклушин лез долго и неумело, а когда забрался на макушку моста, сразу спросил у «этюдного самоубийцы»:

— Тебя как звать-то?

Самоубийца долго не отвечал. Может, он предполагал, что к нему полезут представители власти или правоохранительных органов, но с виду это точно не мэр, не следователь, а такой же валенок, как он... Поэтому, подумав, ответил:

— Понюшкин я Григорий.

— Ты чего на мост полез?

— А ты чего?

— Я тебя увидел снизу и полез.

— А я... — Понюшкин призадумался, — а я полез оттого, что жизнь мне остобрыдла.

— Чего? — заморгал «уговорщик», он таких слов и не слышал даже.

— Ну, обрыдла, если сокращенно, — пояснил Понюшкин.

— Слова такие знаешь... Ты кем работаешь-то?

— Я безработный.

— О, так я тоже! Мы с тобой два сапога — пара.

— Это я только сегодня безработный, — обиделся Понюшкин, — а вчера-то я еще работал. И узнал та-акие секреты...

— Какие?

— Сказать тебе, ты тоже захочешь со мной туда, — самоубийца показал вниз.

— Не может быть, — насупил Баклушин, — у меня нервная система очень основательная, чтоб я захотел туда.

— Не хочешь — не надо.

— Нет, ты скажи.

— Не скажу.

— Почему?

— С такими тайнами не живут.

— Вот ё-мое, ты меня озадачил. Та-акие тайны! Какие такие? Не компромат?

— Компромат, он против одного кого-нибудь, а тут...

- Чего тут-то?
- Все не так, как мы думали.
- Загадками говоришь? Ты конкретно давай.
- Ну, конкретно так конкретно. Садись, расскажу...

А внизу-то шумно-гамно — телевидение приехало, из мэрии кто-то. А так вообще — толпа. То, что раньше называли зеваками, а сейчас — общественным мнением. И все вверх смотрят. Кто через очки, кто через бинокли, а некоторые — сумасшедшие — аж через закопченные стеклышки — как на солнечное затмение. И все на наших, на Понюшкина и Баклушина.

А те знай себе сидят, ноги свесили, даже закурили вроде. Внизу вздох облегчения. Большой такой вздох от сотни тысяч зрителей.

— Он что там, сдурел? — стал заводиться снизу Нюров. — Вместо уговоров уселись рассоливать.

— Может, пожарных вызвать? — предложила Всячина. — С лестницей.

Но пожарная машина сделала только хуже. Только они стали свою лестницу разводить, самоубийца возьми да спрыгни.

— Ах! — сказала толпа.

Уговорщик прыгать не стал — нервная система на самом деле оказалась очень основательной. Стал спускаться некрасиво и неловко. Бледный внизу оказался, удрученный.

— Уговорщик, тоже мне, — встретил его Нюров упреками, — считайте, что испытательный срок у вас вышел боком.

— Александр Давыдыч, не торопитесь, — попыталась ослабить его напор Всячина, — а вы, Авдей Сысоич, продолжайте ходить на наши занятия.

Ничего не ответил им Баклушин. Так и ушел удрученный.

Нюня Оскомина всю историю о самоубийце выслушала вполуха, но когда Авдей дошел до тайн, застыла с широко распахнутыми глазами.

— Тайны неплохие, — оценила она, — но только не очень-то в них верится.

— А давай что-нибудь проверим. Хотя бы одну названную фамилию.

— Давай проверим. Только ты отвечаешь за точность названных фамилий?

— Нет, конечно. Во-первых, этот Понюшкин мог сам их напутать. Во-вторых, там наверху был ветер, и в ушах свистело. А в-третьих, я же не записывал. Кто же на макушку Крымского моста полезет с блокнотом и авторучкой? Все только по памяти. А память... Вот я уже и забывать кое-что стал.

— Садись и быстро пиши, что вспомнишь. Хоть что-нибудь...

— Вот за что я могу голову на отсечение отдать, так это грузинская фамилия Микстура.

— Стурау знаю, есть такой журналист, режиссер есть, а Микстура первый раз слышу.

— Стурау? — удивился Авдей. — Не знал. Тогда на отсечение всего полголовы.

Баклушин развернул листочек, на котором было все о Микстура, и стал искать табличку на доме.

Возле нужного дома стояла полицейская машина и лежал человек, укрытый простыней. Видимо, труп.

— Ой, что это? — привычно ойкнул Авдей.

— Не видите, убийство, — отодвинул его сержант полиции, — а вы кто?

- Я прохожий.
- Так идите.
- Куда идти?
- Вам подсказать куда? — сержант скрипнул зубами.
- Я догадываюсь.

Тут подошел другой сержант:

- Ин-ден-тифи... тьфу... Велено узнать, как зовут нашего трупа? Для протокола.
- Что-то медицинское, похоже на микстуру...

«Ага, — отметил про себя Баклушин, — все совпало».

Но тут появился лейтенант Оглоблин, держа мобильник возле уха:

— Мыльнева? Ольга, материал специально для вас. Икс-ключив. Приезжайте скорей.

Когда подъехал рафик с надписью на борту «Телевидение», из нее выпорхнула журналистка в бейсболке, кроссовках и майке с надписью на английском и помчалась к лейтенанту Оглоблину, Авдей решил по-тихому подобраться поближе.

— Бизнесмен, — объяснял лейтенант, — довольно крупный, убит, скорей всего, гранатой, по лицу видно, хотя по асфальту этого не скажешь... А вы кто? — он резко повернулся к подобравшемуся близко Баклушину.

- Я прохожий, — с готовностью откликнулся Авдей.
- Так идите себе.
- А что тут у вас?
- У нас тут убийство.
- А-а, — пришлось Баклушину, как порядочному прохожему, идти себе.

— Анна, — позвонил он Оскоминой, — подтвердилось.

— Еду, — откликнулась Нюня.

И быстро приехала.

— Фотки! — потребовала она сразу и стала просматривать, что там в мобильнике. — Труп хороший. Только следов гранаты не видно. Не удалось разнюхать, что это? Криминал, месть жены, месть любовницы?

— К-какой любовницы? — не понял Авдей.

— Да мало ли их у них... Тогда у нас в газете был бы заголовок «Чем по любимому сохнуть, не лучше ли любимого грохнуть».

— Ой, — удивился Баклушин, — а если жена?

— «Жена в порыве гнева — не бегай муж налево».

— С ума сойти, — восхитился Авдей, — а ты что, и на криминал можешь?

— «Ты зашухерил, блин, всю нашу малину и за это пулю получи!».

— Но там, кажется, граната...

— Наплевать на гранату! Но вы, то есть ты, Авдюша, молоток. Пока они там снимут для своих «Максимальных сенсаций», пока дождутся субботы-воскресенья, чтобы показать, наша газета «Мир на ушах» уже сто раз выйдет.

И убежала.

— Клёпа, — встретился Авдей с соседкой по лестничной площадке, которую с гордостью именовал «Красной площадью», — не нравится мне все это. Твоя Оскомина, оказывается, работает в желтой газете «Мир на ушах» и соревнуется-конкурирует с телевизионными «Максимальными сенсациями», а я-то здесь при чем?

— Ну, значит, ты еще получишь.

- Что я получу?
 - Что заработал.
 - От кого получу? От лейтенанта Оглоблина или от репортерши Мыльневой?
 - Насколько я понимаю в шоу-бизнесе, ты получишь от Нюньки.
 - А за что? Я же ничего не написал. Я и писать-то не умею.
 - За идею... Сейчас, ты заметил, стали платить и за идею, а не только за сценарий.
- Впрочем, за идею, скорее, полагается мне.
- А мне?
 - За это не бойся. Нюнька тебя не обидит.
 - Да я-то что? Мне Гришку Понюшкина жалко. За что он жизнь свою отдал? За то, что ему все осто... остобры... обрыдло?

- В редакции «Максимальных сенсаций» справляли триумф Мыльневой.
- Ольга! Ты гений нюха! Когда еще никто ни ухом ни рылом — ты уже на месте преступления или катастрофы!
 - Это не нюх, это интуиция!
 - Она чувствует это кожей!
 - У нее предчувствие преступления!
 - Да, этот свежий ее репортаж — штука посильнее триумфа воли!
- Но когда аплодисменты и поцелуи стали понемногу стихать, какой-то тип, только что приехавший в Останкино на общественном транспорте и купивший у метро газету «Мир на ушах» для того, чтобы завернуть в нее пару чебуреков, а после съедения чебуреков утиравший ею руки и нечаянно наткнувшийся глазом на обложку, где сообщалось об убийстве Микстура с тремя вариантами версий: «криминал, месть жены или месть любовницы»... этот тип насмешливо поинтересовался:
- Какое предчувствие? О чем вы говорите? Когда даже желтая пресса об этом уже давно сообщила?
- Такую песню испортил, гад...
- Как это могло случиться? — задрожал генеральный продюсер, заглядывая прямо в глаза Мыльневой.
 - У нас это первый прокол за все время существования наших «Сенсаций», — едва не заплакал шеф-редактор.
 - Нужно журналистское расследование! — не своим голосом заорал замглавного. — Как могла произойти такая неслыханная утечка информации?
 - Предлагаю просить разобраться во всем этом деле самого Стоеросова, — предложил генеральный продюсер.

- Стоеросов, могучий мужчина с дымящейся трубкой в руках, подошел к Мыльневой:
- Откуда к тебе поступила информация о Микстура?
 - У меня все схвачено, — стала оправдываться Мыльнева, — полиция, которой я отстегиваю свой процент, всегда сообщает мне первой. И по негласному уговору — никому больше.
 - Каков процент отстегивания?
 - От четверти до половины моего гонорара.
 - Не мог интерес ментов кто-нибудь перекрыть?
 - Сказали бы.
 - Уверена?
 - Вообще-то об этом не говорят. Это как бы подразумевается. Таков порядок вещей.
 - Давай без общих слов.

- Все же люди.
- Опять общие слова... Каков у тебя с ними контакт конкретно? На уровне поужинать вместе или только звонки?
- Я их в титрах указываю.
- Мало.
- Но я как-то не задумывалась даже. Все и так шло как по маслу: сенсация за сенсацией, авария за аварией, катастрофа за катастрофой.
- О прошлом забудь.
- Как можно забыть о таком количестве самых разных статуэток? Одних ТЭФИ...
- Сейчас мы говорим об утечке информации. Давай-ка вернемся к нашим баранам.
- Это вы о лейтенанте Оглоблине?
- Я даже фамилию его не слышал. У него бригада проверенная?
- Под пыткой ничего не скажут.
- А все оплачиваются или только лейтенант?
- Все.
- Случайный прохожий? Вспоминай, вспоминай, ищи.
- Прохожий? — Мыльнева завспоминала. — Да, подходил один. Шибзик такой невидачий.
- Вот! Для разведчика самое главное — казаться шибзиком... Значит, задача у нас простая — найти случайного прохожего!
- Но в нашей стране прохожих — миллионы.
- Вот в этом миллионе мы и попытаемся найти тот самый алмаз, через который у нас произошла утечка информации.

Тем временем шибзик Баклушин стоял на Крымском мосту с Клёпой Колдобиной и рассказывал о гибели Понюшкина.

— Вот оттуда он и сиганул...

Клёпа посмотрела на макушку моста, потом перевела глаза на реку и оценила расстояние:

— Да-а... А он точно плавать не умел?

— Не умел. Мне поклялся...

— А спасти его не могли? Какие-нибудь добровольцы, может, катер, может, спасательный круг кто бросил?

Баклушин пожал плечами.

— Я, пока трупа не увижу, ни во что не верю. Мне и тот Микстура покоя не дает. Кто его осматривал? Какие там раны? Где заключение врачей?.. Есть у меня один знакомый медик, он всюду вхож, надо будет его попросить...

Ночью Клёпа, Авдей и медик в очках проникли в морг.

Отыскали фонариком труп с бумажкой на простынке, прочли на бумажке «Микстура» и стали осматривать.

— Труп недельной давности, — оценил медик, — пострадал, скорей всего, в автомобильной аварии...

Баклушин достал фотографию Микстура и протянул ее медику.

— Лицо обезображено, — возразил медик, — идентификации не подлежит.

— Вот тут, за ухом, на фотографии родимое пятно, — заметила Клёпа.

— На трупе за ухом пятна нет.

— Значит, это может быть и не он, — заключила Клёпа.

Утром Колдобина и Баклушин пошли в редакцию к Оскоминой.

— Нюня, мы поделиться новостью, — начала Клёпа, — Микстура, который был у тебя на обложке, возможно, не он.

— Ну и что? — отмахнулась Оскомина. — Я вот только что присобачила заголовок на обложку «Выволочко заразилась каббалой от Мадонны».

— Разве каббала — болезнь? — удивился начитанный Баклушин.

— Да еще заразная? — поддержала удивление Авдея Клёпа.

— А гляньте на фотографии... У певицы Выволочко красная нитка на запястье!

— Ну и что?

— А это символ каббалистов! А на Мадонниной руке тоже красная нитка! Значит, какой вывод? Заразилась!

— А если красная нитка означает что-то совсем другое?

— А это не наше дело. Но в заголовке, да еще на обложке, сразу два имени звезд и слово «заразилась» — это ли не привлечет внимания читателей?

— Ух ты, — восхитился Баклушин.

— Нюнька, я всегда говорила, что ты гений, — добавила Колдобина.

— К сожалению, гений только желтой прессы, — привычно отмахнулась Оскомина.

— Но ты, Нюня, вкладываешь смысл совсем не тот, что может быть... Тебя это не смущает?

— Смущает, Авдюша, смущает. Меня уже давно многое смущает. И очень уж красивые преступления, о которых я пишу, и очень уж красивые улики, и как-то уж очень все сходится...

Потом Баклушин решил навестить «фирму», куда его взяли «на высокооплачиваемую работу».

— Ага, наш замечательный прохожий появился, — обрадовалась Всячина.

— А что такое? — засмутился Авдей.

— Вас уже разыскивали.

— Кто разыскивал?

— С телевидения.

— С телевидения? — удивился Баклушин. — Для чего?

— Откуда я знаю, но я ваш адресок им дала, не обессудьте.

— А Нюров где?

— Вам-то он зачем?

— Обещал «высокооплачиваемую работу», а я что-то денег не вижу.

— Нюров сейчас проводит этюды с новенькими. Зайдите посмотрите.

Баклушин зашел в класс. У доски стояла молоденькая девушка по фамилии Выскребенцева, но с лицом олимпийской чемпионки Пекина по ходьбе под дождем Каниськиной и читала стихи.

Мы все у жизни вроде реквизита,
Болтаемся на сцене среди вещей.
То мы на первом плане, то забыты,
А многие для мебели воще.
Нужны мы часто только лишь для фона,
На коем жизнь играет глупый фарс.
А иногда по целому сезону
На сцене этой и не видно нас.
Снесут в подвал, поставят в паутину —
И ты сиди в пыли до лучших дней.

А в темноте какой-нибудь скотина
Тебя завалит ветошью своей.
Но вдруг — лафа! Тебя почистят щеткой,
Прогладят складки, ежели морщит.
Ты вновь на сцене, смотришься в охотку
И у тебя одушевленный вид.
Тебя совсем не тянет за кулисы,
Ты в первом акте — на стене ружьем
Сосредоточенно висишь, со смыслом,
Чтобы потом шарахнуть во втором...
Мы все у жизни вроде реквизита.
В сравненье этом никаких обид.
Ведь жизнь прекрасна. Как по нам пошита.
И как влитая села и сидит.

- А кроме стихов что можете? — улыбнулся Нюров.
— Да многое могу, — смущенно пожал плечиком девушка, — шить могу, готовить могу...
— Ладно, посидите пока.
На этом этюды закончились, Александр Давыдыч пошел покурить, а девушка при- села на стул возле Баклушина.
— На кого здесь учат? — тихо спросила она.
— Шить могу, готовить могу, — улыбнулся Авдей, — здесь учат не женами быть, а очевидцами...
— А как это?
— Ну, прохожими... Происходит какой-нибудь случай, а никто ничего не видел, не слышал... Только случайный прохожий случайно одним глазком... Вот на таких и готовят.
— Что вы говорите? — сделала глаза девушка. — А мне говорили, что на телевиде- нии зрителями хлопать... В театре клакать...
— А это что? — не понял Авдей.
— Ну, клака называется... Зашикать кого-то, кто не нравится, или, наоборот, заап- лодировать до смерти...
— Не, я так понял, что готовят только свидетелей, понятых, прохожих...
— Но почему тогда пишут, что оплата высокая?
— Я и сам не понимаю.
— Как хоть фирма называется?
— Тоже не знаю. А вокруг ни вывески, ни таблички... Хоть бы кто-нибудь визитную карточку уронил...
— Вас как зовут?
— Меня Авдей. А вас?
— Меня Тюля. Давайте держаться вместе, хоть что-нибудь узнаем тогда.
— Давайте.

Тюля и Авдей долго потом бродили по городу. Болтали ни о чем, играли в класси- ки, нарисованные мелом на асфальте, пока наконец не занесло их опять на Крымский мост, где Баклушин сразу стал вспоминать Гришу Понюшкина с его предсказаниями.

- Он что, астрояб? — спросила Тюля.
— Я даже не знаю, что это такое, — признался Авдей.

— Астролябия, — попыталась объяснить Выскребенцева, — это астрономия, но легкого поведения.

— Нет, у него это не было связано с астрономией. Он просто сделал меня случайным хранителем неизвестно чьих тайн.

— Та-айн? — протянула Тюля.

— Вот, к примеру, тютелька на шесть миллионов долларов. Что это?

— Ну, может, это «тютелька в тютельку», то есть ровно шесть миллионов? — наивно прощепетала Тюля.

— Может быть.

— А может быть, просто драгоценность такая маленькая, что ее ласково называют «тютелькой», а стоит она шесть миллионов?

— Тоже может.

— А может, это вообще всего лишь фамилия — Тютелько?

— Тоже, — согласился Авдей.

— Надо будет заглянуть в Интернет. Может, это какой-нибудь пропавший... Знаешь, пишут: ушел из дома и не вернулся... А по фамилии мы и адрес, где он жил, узнаем.

Все точно так и вышло, как Тюля предположила. Тютелько Семен проживал на Шестой Перпендикулярной улице, дом тридцать шесть.

Правда, соседи сказали, что его давно не видели. Ну, месяца два — точно, а, может, и год с небольшим... Жена у него была гулящая, звали Динкой. А хахаль у нее был Аркашка. На белом «мерседесе» приезжал.

Тюля предложила обратиться в ГАИ, где они по белым «мерседесам» нашли фамилии владельцев, а по имени Аркашка очень скоро вышли на Савеловского Аркадия Борисовича.

Аркадий Борисович, оказалось, был владельцем фирмы «СТОН» — строительство таунхаусов особого назначения, то есть строил трехэтажные замки рядом с Москвой.

На разведку в «СТОН» Авдей и Тюля отправились как будто семейная пара, заинтересованная в приобретении таунхауса. Конечно, для этого пришлось разжиться у друзей гламурными шмотками.

В «СТОНе» Тюля быстро разыскала секретаршу, имя которой не запомнилось да и не имело смысла его запоминать, но душа-человек... По причине отсутствия «самого» со своей Динкой где-то в Куршавеле девочки проболтали до конца рабочего дня. Но зато Тюля узнала много интересного и пикантного! Не поверишь!

Оказалось, у Савеловского есть друг по фамилии Павелецкий. Он занимается строительными материалами для таунхаусов. И он попросил в долг у Аркадия Борисовича. Для оплаты мрамора из Италии. Шесть миллионов евро на месяц.

Проходит месяц, и Павелецкий приносит Савеловскому долг в полиэтиленовом мешке. Отдает долг, расписывается, что все отдал, и уходит, как говорится, ничтоже сумняшеся... Что это на самом деле означает, не знаю, но красиво звучит, правда, Авдюша?

А утром... А утром в сейфе, куда положили шесть миллионов евро, обнаруживают... кучу пепла! Жуть! Шесть миллионов денег сгорели, как папиросная бумага!

— И думаешь, что оказалось? — Тюля потрясла указательным пальчиком. — Оказалось, Павелецкий пошутил!

— Ну и шуточки, — насутился Авдей.

— Его шесть миллионов почему были в полиэтиленовом мешке? Потому что были обработаны каким-то химическим составом, который от соединения с кислородом воздуха, воспламенялся! А в мешке был один вакуум, и ничего больше!

— Да, шесть миллионов — это да, — продолжал насупливание Авдей.

— А что оказалось? — снова радостно подняла указательный пальчик Тюля. — Оказалось, что деньги были ненастоящими!

— Шесть миллионов фальшивок? — перестал насупливаться Авдей.

— В этом со смехом признался сам Павелецкий!

— Надо идти к самому Павелецкому, — предложил Баклушин.

Павелецкого в его строительной фирме тоже не оказалось, но секретарша Соня была. Тюля ее очень быстро расположила к себе и разговорилась. Узнала много интересного и пикантного!

Оказалось, что фальшивыми деньгами ради шутки Павелецкого снабдил какой-то хмырь. Это именно он изобрел состав для обмазывания денег, которые от соприкосновения с воздухом начинали нагреваться, а потом и вспыхивали. Это именно он предложил разыграть Савеловского сгоранием большой кучи денег. Хмырь предлагал сжечь десять миллионов, а Павелецкий останавливался на миллионе. Сошлись на шести.

Сам аттракцион со сгоранием миллионов нежалких денег собрал много зевак с фирмы Павелецкого, секретарша Соня тоже была там, но фокус не удался — Савеловский со своей Динкой был на Лазурном берегу, и бедные деньги пришлось положить в сейф. Где они и сгорели, но уже без публики. Без ужаса и аплодисментов. Такой эффектный номер пропал, прошел впустую.

— Я, кажется, знаю, как зовут этого хмыря, — неожиданно догадался Баклушин.

— Какого хмыря? — забыла начало своего рассказа Тюля.

— Его зовут Тютелько! Это у него хахаль Савеловский отбил жену Динку, и Тютелько ему отомстил.

— Как отомстил? — ничего не поняла Тюля.

— Сжег шесть миллионов евро! — поднял свой указательный палец Авдей.

— Но это же были ненастоящие евро, а значит, и месть была ненастоящей. Настоящие евро Павелецкий потом Савеловскому вернул. Это же был просто розыгрыш, шутка...

— Ну и шуточки у этих богатеев... Только что-то меня в этой истории не устраивает, Тюля.

— А что?

— Трупа нет.

— Какого трупа?

— Не знаю какого. Но только Понюшко с Крымского моста зазря поканчивать с собой не стал бы. Он знал, что говорил. Да и на Микстуре мы уже убедились.

— А Тютелько?

— Что Тютелько?

— Может, он — этот самый труп?

Баклушин надолго задумался. До вечера. Когда по телевизору в передаче «Максимальные сенсации» он увидел своими глазами, как сгорают миллионы евро на жестяном подносе.

— Откуда они узнали? Ведь эти миллионы уже сгорели! И в сейфе, а не на блюде!

— Может, это была инсценировка? — предположила Тюля. — Или, как это у них называется, реконструкция, кажется? Или реанимация?

— Нет, реанимация — это оживление, — поправил Авдей.

— Ну, в общем, они хотят показать, как это было, как могло быть...

— Но зачем сжигать по новой столько денег?

- Ты забыл, что они фальшивые? А на телевидении — вообще реквизит.
- Все-таки много странного, — снова призадумался Баклушин.

Озадаченные Авдей и Тюля пошли на свою «высокооплачиваемую работу».

А у самого входа встретили оживленного Шаромыгина.

- Ой, ребята, что вам сейчас расскажу... Иду я себе по улице...

И Авдей Баклушин с Тюлей Выскребенцевой живо увидели эту картину: шел Шаромыгин по улице, а навстречу ему — человек с микрофоном.

- Простите, можно вас на минуточку? — спросил человек с микрофоном.
- Вообще-то можно, хоть я очень спешу.
- А куда вы спешите, если не секрет?
- Конечно, это не секрет — я спешу на помощь человеку, попавшему в беду.
- Это ваш друг?
- Что вы, я даже его не знаю.
- Тогда почему вы так торопитесь?
- Помочь человеку, попавшему в беду — это мой долг.
- Долг — это означает, что вы должны... Вы ему что-то должны?
- Кому ему?
- Этому человеку, на помощь которому вы так торопитесь.
- Я же говорил вам: я его не знаю.
- Откуда же вы узнали, что он в беде?
- О, я себя знаю...
- В каком смысле?
- Пока я тут с вами прохлаждаюсь, беда с ним и случится. Но в последнюю минуту я тут как тут!
- Ах, в этом смысле... Тогда бегите. Извините, что я вас задержал. Бегите — и беды, может быть, и не будет.
- Будет. Я себя знаю.
- Так это что, от вас зависит?
- Если следовать вашей логике, то я как бы бедоносец? — Шаромыгин стал рассуждать вслух. — Человек, приносящий беду? Даже в чем-то заказчик? Нанимаю кого-то, типа киллера, и прошу его к назначенному сроку доставить определенному человеку беду. Чтобы я в последнюю минуту как бы спас его от беды, так?
- Это скорее ваша логика, а не моя.
- Но сами подумайте, какой мне смысл спасать его, если я его совершенно не знаю?
- Помочь человеку, попавшему в беду, — это ваш долг. Вы же сами говорили.
- Ах да, я же говорил вам...
- Тогда бегите, спешите на помощь человеку, попавшему в беду.
- Он еще куда-то не попал.
- Куда никуда?
- В беду не попал.
- Откуда вы знаете?
- У меня есть какое-то шестое-седьмое чувство, которое мне подсказывает...
- Что за чувство?
- Неудобно говорить...

- Почему неудобно?
- Меня даже называют за это... Тампаксом, — засмутился Шаромыгин.
- В каком смысле?
- Я всегда оказываюсь в нужном месте в нужное время, — пояснил Шаромыгин, — но это ни о чем не говорит. Я не по этой части.
- Я что-то не понимаю, совсем запутался тут с вами, — растерялся микрофонщик.
- Ну вот, уже запутались, а ведь остановили меня на минутку...
- Я вас на минутку? Разве это я вас остановил?
- А кто же еще меня остановил? Вы для чего здесь стоите? Да еще с микрофоном. Человек с микрофоном ударил себя по лбу:
- Тьфу ты, совсем забыл. Я же тут опрашиваю прохожих.
- Каких прохожих?
- Случайных, каких еще...
- По какому поводу?
- Ни по какому.
- Так не бывает.
- Ну, хорошо. Мы просто решили определить лучшего.
- Чего лучшего?
- Лучшего прохожего.
- Лучшего прохожего мимо вас?
- Почему только мимо меня? Мимо вообще.
- То есть лучшего прохожего этой улицы?
- Почему только этой улицы? Прохожие, они всюду ходят.
- То есть города?
- Что нам город?
- Ой, страны?
- Задача нашего опроса — определить лучшего прохожего всех времен и народов.
- Всех народов? — задохнулся от восторга Шаромыгин.
- Ведь что такое прохожий в принципе? Это человек, который идет мимо, — ведь так?
- Это я-то мимо? Я, который принципиально не проходит мимо! Ни за какие коврижки! — гордо ответил хорошо обученный прохожий Шаромыгин.
- Так вы мимо меня что, из каких-то высоких соображений шли?
- Нет, мимо вас я пробежал как раз случайно, но я из тех, кто никогда не проходит мимо. Помните, раньше всюду висели такие стенды «Не проходите мимо»? С фотографиями пьяниц, проституток... Так я никогда мимо не проходил. Больше того, я даже старательно запоминаю лица тех, кого разыскивает милиция.
- Зачем?
- Пригодится.
- Для чего?
- Нет, вам никак не понять мое призвание.
- Призвание? — удивился человек с микрофоном.
- Да, мое призвание случайного прохожего.
- Призвание прохожего? Нет, не понимаю.
- Не понимаете, а ведь это так просто: если где-то что-то случается, всегда приглашают в свидетели прохожего. Мало ли, вдруг что-нибудь видел, что-нибудь слышал. Так вот я из тех... Больше того, я всегда с радостью... И со всеми красками! Очень много красочных деталей! Из моих показаний случайного прохожего можно написать целое «Преступление и наказание».

- Как интересно... Так вот вы какой, оказывается?
- Да, я прохожий, но не простой, а с изюминкой. Я столько случайно видел вот этими глазами...
- Расскажите что-нибудь.
- Что?
- Что-нибудь из вашего «Преступления и наказания».
- Ну, там до наказания дело не всегда доходило. Этими глазами я видел только преступления. Иногда даже не преступления, а возможности преступления. Так сказать, предчувствия преступления.
- Расскажите, это же очень интересно. Вас услышат миллионы, которым это интересно.
- Шаромыгин сразу стал прихорашиваться, сдувать, стряхивать с себя пыль, надуваться от важности.
- Миллионы услышат... — размечтался он.
- Говорите, — протянул ему микрофон интервьюер.
- У меня смешались мысли. Я как-то сразу не могу все вспомнить в деталях.
- Ну, хоть что-нибудь и в общем, без деталей.
- Хоть что-нибудь, для разгона, так сказать... На манер анекдотов, да? Кто-то один начнет для затравки, а у других тут же тыщи аналогичных случаев.
- У каких других?
- Это я так... Что же мне рассказать вам для затравки?
- Что-нибудь.
- Иду я тут как-то вечером, никого не трогаю... А навстречу мне один... Кочкин, который занимается систематическим пьянством. Но не пьяный. Это мне сразу показалось подозрительным. Не понравилось.
- Почему?
- Отвечу вам песней, — Шаромыгин вдруг запел на мелодию народной песни «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село».

Ах, беда приключилась страшная,
Мы такой не видали вовек...
Отказался на пьянке вчерашней, блин,
От стакана вина человек.
Этот случай был первый в окрестности...
Старики помнят из году год.
Ведь до этого в нашенской местности
Проживал только наш, блин, народ.
Этот вел себя, блин, подозрительно...
Догадались на паспорт взглянуть.
Был по паспорту русский, действительно,
Но мы знаем, в чем русская суть.
На него глянуть было тошнехонько...
В голос хор из старух голосил.
Осмотрел его лекарь скорешенько
И ногтем у виска покрутил.
Ему, бедному, врач экстрасенсорный
Дал одну установку: не пить!
И охота... И вроде неловко, блин.
Как с такой установкою жить?

Стала жизнь враз пуста и уродлива,
И пахнуло трагедией тут...
Далеки они страсть от народа, блин,
Те, которые напрочь не пьют.

- О, да вы еще и поете...
- Это я так, для души. И не сам сочинил. Это сочинил один малый, а мне только дал слова списать.
- Про этого малого потом. Не забудьте того, который занимался систематическим пьянством. Фамилию забыл.
- Кочкин! Кочкин его фамилия. Действительно, он занимался систематическим пьянством.
- Но тогда он был трезвым, что вам сразу показалось подозрительным...
- Еще бы не подозрительным. Этот Кочкин подходил к машине, явно намереваясь ее угнать.
- Поэтому и был трезвым! Кто же пьяным за руль садится?
- Теперь и вы понимаете... Но с другой стороны машину хотел угнать совсем другой преступник.
- С чего вы решили?
- Между ними завязалась драка. С нанесением телесных повреждений.
- И что дальше?
- Кто-то, откликаясь на шум во дворе, вызвал полицию.
- Полиция прибыла и...
- Вот! Наконец-то!.. Полиция прибыла и стала опрашивать прохожих. А из прохожих — один я. Я и дал показания как очевидец — меня даже сфотографировали и в полицейской газете поместили. Но я ее не достал, газета ведомственная — и я прославился только на одну полицейскую общественность.
- Да, вроде пустячок, а приятно.
- Какой пустячок, что вы? Драка была ужасная, им обоим потом дали за драку по многу лет, но зато машина цела. Какой-то дорогой иностранной марки машина! А вы говорите, пустячок.
- Что-то не пойму... Так это вы, что ли, вызвали полицию?
- С чего вы решили?
- Вызвали полицию, прервали драку, предотвратили угон...
- Вы напрасно выставляете меня мелким стукачом. Я профессиональный очевидец, а не стукач. Даже не очевидец, а так, прохожий... Да я вам просто неудачный пример вспомнил. Лучше я другой какой... — заметив, что опроситель-опрошант-опрошолог, или как его там, эксперт по опросу, убирает свой микрофон в сумку, Шаромыгин заволновался, потому что слава уплывала из его рук, ну, может, и не вся слава, а минута славы, но все-таки уплывала, — потом меня понять надо. Воспитывался я еще при старой советской власти на несунах. Тогда их много было. Платило государство мало — вот и несли. Кто что, кто откуда. Кто где работал, тот оттуда и нес. Через дырку в заборе, за пазухой... Со спиртного завода водку за щекой выносили. Щеки у всех работников — во были! И никто не видел... А я случайно мимо проходил. Шесть миллионов тогдашних народных денег спас. И был отмечен почетной грамотой. У меня этих почетных грамот... А это только несуны, даже не жулики, по нынешним временам просто тьфу. А преступники случались — о-го-го, их всей страной ловили. Вроде черной кошки неуловимые, а почему неуловимые? Потому что черную кошку пытались ловить в темной комнате. но кто же ловит черную кошку в тем-

ной комнате? Черную кошку надо видеть! Глазами очевидца! Ох, эти черные кошки нашего брата, прохожих, боятся... Но прохожие-то разные бывают. Один идет, себе под ноги уткнется и о своем думает. А ты о чужом думай! Другой идет и на витрины глазеет, а бандитов вот с такими рожами наперевес не замечает... Какой же вам пример для примера привести?.. Я тут в больнице лежал. Я вообще-то нечасто болею, а по случаю. То на ногу что-нибудь тяжелое, то руку куда-нибудь ненароком, то нос... А тут рот обжег. Не помню чем, но его мне закрыли надолго. Вся морда была забинтована, только уши наружи. Это меня и спасло от профессионального провала.

— Какого профессионального провала? — не понял опрошолог.

— Ну, то есть от провала профессионального прохожего... Хотя на больничной койке какой я прохожий? Так, куль с костями. Пролежень. Лежал себе и в ус не дул. А сосед у меня... Я его и не видел, какой он из себя... Но болтал он много. В бреде, может, но фамилии называл. В том числе врачей и медсестер, которых подкупать приходилось во взяточном отношении. Болтал себе, и все... А я не спал. У меня сна не было. Я, конечно, не записывал, но все запомнил... А когда мне рот открыли наконец, я тут же показания дал как прохожий... Ну, не очевидец же — у меня и глаза были завязаны. Дал показания на врачей и медсестер, но меня все-таки выписали из больницы со званием лучшего больного!

— Поздравляю.

— Но что я вам все про лежачего прохожего? Я был и сидячим.

— Ноги, что ли, сломали?

— Нет, нет. Сижу я раз в театре. В кукольном... Я только в кукольный хожу, поскольку недалеко живу. И вот сижу я на пьесе про крокодила Гену и Чебурашку... И на моих глазах происходит, страшно сказать, изнасилование на рабочем месте. Это невозможно, скажете вы...

— Невозможно, — легко согласился опрошолог.

— Но вот представьте себе...

— Не могу представить.

— А вы представьте! Артистка, не буду называть фамилии, одной рукой играет крокодила Гену, а другой — Чебурашку. Обе руки заняты. И за честь постоять нечем... Но я-то, сидя в зрительном зале, обратил внимание на нелогичные реплики персонажей типа «не надо, что вы делаете» и спас артистку от буквально изнасилования на рабочем месте. Кто вызвал полицию, не знаю — все-таки зрителей в зале было немало, но кто давал показания как случайный сидячий прохожий — уж извините. Меня потом на суде называли еще лучшим в мире зрителем. Хотя какой я лучший зритель, если я в принципе простой прохожий.

— Да, призвание чувствуется.

— Хотя мне доводилось бывать и лучшим пациентом...

— Это как?

— Это я в поликлинике в очереди к врачу сидел, а они там у себя таблетки «плацебо» (или плацебо) проверяли.

— А что это?

— Ну, это как бы медицинское фуфло. Таблетки ни с чем, таблетки ни от чего. Но когда их дают, они психологически на больного действуют.

— Ну и что?

— Ну, я и выиграл.

— Каким образом?

— На меня это плацебо лучше всего подействовало. Мне даже к врачу не понадобилось. А они еще в тот день выясняли: имеет ли лечебное воздействие на пациен-

та сидение в очереди к врачу. Оказалось, имеет — я пример. Мне — мало того, что лучший больной, мне еще и почетную грамоту дали.

- Поздравляю.
- А один раз я чуть не стал лучшим клиентом. Меня обули в обувной мастерской, обрили в парикмахерской...
- Пойдите, пойдите. Обрили, обули — вроде все нормально.
- Вы плохо знаете родной язык. Обули — это означает надули, а обрили — считайте, что обобрали.
- Я плохо знаю родной язык, плохо, — тоскливо согласился опрошолог, давая понять, как надоел ему этот пустой разговор.
- Но я при этом, заметьте, написал им благодарности.
- За что?
- Вот такой я человек.
- Но вам лучшего клиента все-таки не дали, так?
- Не дали, потому что моего конкурента — женщину из дома напротив — обули еще и в ателье, и в ремонте телевизоров, и... всего восемнадцать раз. А уж в парикмахерской ее так обрили!
- Женщину? Обрили?
- А что женщину?.. У нас все равны.
- Равны, но какая-то досада, что вы не лучший, чувствуется.
- Еще бы. Она же не написала им за это ни одной благодарности.

Вот тут раскрасневшийся перед Авдеем и Тюлей Шаромыгин аж присел от восторга: Вот щас начнется самое оно! Вдруг к нам подбегает один всполощенный следователь!

- Где вы запропали?
- А что такое?
- Только что тут недалеко состоялось преступление.
- Состоялось?
- Произошло, произошло... И никаких следов: ни окурков, ни пуговиц оторванных, ни отпечатков пальцев — вся надежда на вас.
- Но он-то при чем? — не понял опрошолог. — Он же здесь со мной все время...
- А чего это он здесь? — набычился следователь.
- Интервью дает.
- Какое еще, на фиг, интервью?
- Как прохожий.
- Как претендент на звание лучшего прохожего, — поспешил уточнить Шаромыгин.
- Пока он здесь вам языком болтает, за углом преступление без единой улики, а вся надежда на него.
- Видите, вся надежда на меня, а я тут с вами ля-ля. Считайте, что из-за вас я на работу опоздал.
- На какую такую работу? — заморгал опрошолог.
- По даче показаний, — пояснил Шаромыгин.
- Может, чего слышали отсюда? — продолжал беспокоиться следователь. — Все-таки за углом недалеко...
- Звук, знаете ли, распространяется довольно-таки прямолинейно, — заумничал опрошолог, — всякий угол, всякое препятствие искажают звук...
- Да вы что тут, белены объелись? — вскипел правоохранительный орган. — Там же взрыв жуткой силы состоялся... произошел, а вы про какие-то препятствия...
- Взрыв? Странно. Что, и воронка есть? — «заработал» Шаромыгин.

- Есть, есть.
- Ну, если взрыв, то улики могло и раскидать...
- Да? — смекнул что-то свое следователь и быстро ушел.
- Как неудобно получилось... — застеснялся Шаромыгин. — Я бы все это мог видеть своими глазами, а потом детям своим, внукам своим рассказывать.
- У вас есть внуки?
- Откуда? У меня нет и детей пока.
- Расскажите немного о своей личной жизни. Как вы вообще живете?
- Живу с размахом. Недавно решил построить себе садовый домик.
- Типа дачи?
- Хм, дача... Садовый домик из вишневых косточек!
- Ничего себе размах. Это ж сколько надо косточек?
- Я подсчитал — нужен один миллиард косточек... Уже несколько лет после урожая произвожу набор — три миллиона уже собрал.
- Я понимаю, это приблизительно.
- Это точно. Я каждую зиму пересчитываю. В работе не должно быть мелочей.
- Но строить будете только из своих или станете закупать у других. Необязательно вишни, можно только косточки.
- Только из своих. Принцип чучхе.
- Но поделить миллиард на три миллиона — это ж сколько вам еще ждать?
- А я не тороплюсь. Вернее говоря, собираюсь жить вечно.
- Тут снова вбежал молодой следователь, держа в руках шнурок от ботинка.
- Спасибо за подсказку. На крыше соседнего дома обнаружены шнурки.
- А по шнурку можно определить цвет ботинка, — заметил Шаромыгин.
- Цвет-то коричневый, — показал следователь, — а вот размер?
- По шнурку размер не определишь. Но по теории вероятности, если шнурки забросило на крышу соседнего дома, то ботинок могло и... — принялся размышлять Шаромыгин.
- На крышу другого соседнего дома? — догадался следователь.
- Молодец.
- Но там много соседних домов.
- Я полагаю, что там много и деревьев. Бульвар все-таки.
- Про деревья я не подумал, — сообразил следователь и быстро убежал.
- Здорово, — оценил опрошолог. — Вы здорово ведете следствие. Вы, случайно, не профессиональный следователь?
- Я случайный профессиональный прохожий, а следователь — так, по случаю. Читаю много.
- Детективные романы?
- Какое там! Нет времени на чтение романов. Весь день в бегах. И читаю я в основном свои показания, которые только что давал. Просят прочесть и подписать, чтоб в дело пошло. А память у меня зрительная: что прочту, навеки запоминаю... Вот то, о чем мы с вами болтаем тут, могу забыть, а написанное — где-то там застревает, — постучал по голове Шаромыгин.
- Но тут снова вбежал взмыленный следователь с ботинком в руке.
- Ботинок поношенный, сорок первый размер, фабрики «Скорород» обнаружен на дереве типа тополь. Теплый еще.
- Ботинок поношенный, — согласился Шаромыгин, — хорошо поношенный. Хорошо нечищенный. Принадлежал опустившемуся, деклассированному хмырю типа люмпен.

- Может, люмпену типа хмырь? — влез в разговор опрошолог.
- Может, — легко согласился Шаромыгин.
- Значит, на заказное убийство не похоже? — сделал предположение следователь.
- Почему не похоже? — улыбнулся Шаромыгин. — А если предположить, что этот ботинок принадлежал убийце?
- Да вы что? — забеспокоился следователь. — У нас убийцы не такие. Кожаные куртки, золотые цепи... Уж если он хорошую мину сумел купить...
- Поэтому должен быть одет в новенькие шикарные штiblеты, так? А он не был одет в шикарные, а он был одет в поношенные... В этом суть загадки.
- Какая суть? Какой загадки?
- С чего вы решили, что мину он покупал? Ему ее просто могли подарить.
- Как это подарить?
- А так... Вот, мол, тебе торт. Надо его отнести по адресу... Могло такое быть?
- Торт?.. Но если мину положить в тортовую коробку, веревочка оборвется. Мина же весит о-го-го, а на коробке написано — один килограмм.
- Значит, он знал, что там мина, и нес торт не за веревочку, а за крепкую проволоку или двумя руками — значит, это заказное убийство.
- Следователь утер пот со лба:
- Пойду искать коробку от торта.
- Ну, вы и гигант, — восхитился человек с микрофоном.
- Доводилось разгадывать загадки и покруче, — важно улыбнулся Шаромыгин, — ловить совсем неуловимых...
- Ловить?
- Ну, не ловить, а нечаянно обнаруживать.
- Расскажите, — опрошолог полез в свою аппаратуру, висевшую на плече.
- Помните, несколько лет назад по городу прокатилась волна изнасилований?
- Этих волн было много. Один псих на школьниц охотился, другой псих — на продавщиц, третий — в лесополосе.
- Нет, нет, та волна была без убийств. И изнасилывателей было много. А происходило это ни в коем случае не в лифте, не в подъезде темном, а в парке или в жилых квартирах.
- Помню, помню. В газетах еще называли это «заказные изнасилования».
- Эти слова я в оборот пустил... Я тогда как раз по парку прогуливался и по привычке головой по сторонам вертел.
- И заметили, что под кустами...
- Нет, заметил, как что-то блеснуло.
- Что?
- Это и привело меня к догадке о заказном изнасиловании. Помните старый французский анекдот про публичный дом? Получить секс — десять франков, смотреть на тех, кто — сто франков, смотреть на тех, кто смотрит — тыща франков. Утонченность такая французская... Вот по этому поблескиванию стекла я и сообразил, что кто-то заказывает эти насилия, но чтоб происходили они на местах, видных из какой-то определенной точки, где установлен телескоп... Назовем его телоскоп, через который наш заказчик все и наблюдает... Когда все точки изнасилований были нанесены на карту, то центр наблюдений был легко установлен, а заказчик со своим телоскопом арестован.
- Гениально.
- А все потому что никаких пустяков нельзя упускать. Голова должна быть ими полна. Голова должна быть полна мусора. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Когда б вы знали, из каких уличек у нас большие строятся дела...

- Но тут снова прибежал юный мент-следователь с алой тесемкой от торта.
- Во! Тесемочка от торта! Лежала в двух шагах от места взрыва, но кто мог подумать? Это же от мирного торта, а не от военного снаряжения.
 - А убитый кто? — задал наводящий вопрос Шаромыгин.
 - Это я у вас хотел спросить, — жалобно признался следователь, — кто убитый-то?
 - Машина не взорвана?
 - Какая машина?
 - Ну, какая-нибудь.
 - Нет, все машины в целости и сохранности.
 - Значит, бронированные. Взрыв-то был о-го-го, как вы говорили.
 - Не то что бронированные, но рядом со взрывом их никого не стояло.
 - Значит, жертва пешком шла.
 - Шла? Значит, это была женщина? .
 - Значит, это была жертва. Жертва тоже женского рода, значит, шла, но совсем не значит, что она была женщиной... Судя по всему, жертва была без охраны. А значит, это не банкир, не финансовый воротила, даже не владелец холдинга, а простое должностное лицо без охраны.
 - Простое должностное?
 - Типа генерального прокурора, судьи, адвоката.
 - Генерального прокурора? Да вы что?
 - А может быть, это был простой свидетель, который заказчику убийства на суде был бы крайне неудобен.
 - Ой, откуда вы все знаете? — следователь снова утер обильный пот со лба.
 - Если б я знал... Я не был бы простым прохожим, не стоял бы тут с вами на ветру.
 - Но вы так уверенно говорите.
 - Я размышляю, я разглагольствую... Но по жертве мы могли бы выйти на заказчика.
 - По жертве?
 - По интересам. По общим интересам жертвы и заказчика.
 - Как это?
 - Кто может поднести торт должностному лицу?
 - Человек в нечищенных ботинках.
 - А в честь чего?
 - Может, день рождения?
 - Вот вам еще ниточка к вашим шнуркам и тесемочкам. Проверьте, у кого сегодня день рождения.
 - Что, всех проверить? — молодой следователь стал искать рукой, за что бы ухватиться, чтобы не упасть.
 - Нет, только жителей нашего города, — облегчил ему задачу Шаромыгин.
 - Только должностных лиц?
 - Нет, всех. Это могло быть и не должностное лицо, а частное. Помните версию о простом свидетеле, который был бы заказчику убийства на суде крайне неудобен?
 - Бегу проверять, — отдал честь юный мент и убежал.
 - Да вы не прохожий, вы не знаю кто, — продолжал восхищаться опрошолог, — у вас просто-таки аналитический ум.
 - А что, у прохожего не может быть ума? У вас превратное представление о нашем брате прохожем.
 - Вот вы сказали: о вашем брате — прохожем... В самом деле, это же некое братство.
 - Братство против братанов, — сформулировал Шаромыгин.

— Нет, братство не против, а за... С каким-то беспокойством о порядке, о чистоте, о высоком, — из телевизионщика попер пафос.

— О каком еще высоком? Я заметил, как вы поскущтели, когда я рассказывал вам о своем миллиарде вишневых косточек.

— Но заметили! В этом несравнимое достоинство прохожего. Прохожий все замечает.

— Не всякий прохожий.

— А мне всякий и не интересен, — совсем рассупонился телевизионщик, — мне интересны вы.

А тут снова вбежал следователь с рулоном бумаги.

— Во! Все, у кого день рождения сегодня, — оторвал часть рулона, — это те, кто празднует дома. Круглые дни рождения, называемые юбилеями... Это, — оторвал еще кусок, — те, кто отмечает в ресторанах и кафе. Проверено лично. Осталось пятьсот. Что делать?

— Вы прямо Чернышевский какой-то, — пожурил его Шаромыгин, — чуть что — сразу что делать. Думать надо, а не делать.

— Думать... — быстро скис юный мент. — Следователей ноги кормят.

— А руки?

— Руки у нас должны быть чистые, голова холодная... Еще что-то должно быть, нас учили. У человека все должно быть прекрасным: и голова, и руки, и ноги, и анализ мочи.

— Вы прямо Чехов какой-то... Чуть что — сразу все должно быть прекрасным.

— Все должно быть прекрасным... Но где взять это все? Как выбрать себе жертву из этой кучи? — мент потряс остатком рулона. — Такой выбор.

— Женщин много?

— Где?

— В этой куче.

— Штук сто.

— Жаль, что мало. Эти сто штук можно вычеркнуть.

— Почему?

— Жертва — не женщина.

— Вы уверены?

— Женщине достаточно пыльным мешком по голове, а тут мощная мина, как вы утверждаете. Видимо, убийца думал, что у жертвы может быть бронезилет.

— В том-то и дело, что бронезилет на дереве цел и невредим, а то, что было в нем, чье тело он защищал — как корова языком слизала.

— А если это бронезилет убийцы?

— Да вы что? Кто же на убийство в бронезилете ходит? В бронезилете и в стоптанных ботинках! Неувязочка.

— Ой, что мы знаем о современных убийцах?.. Вот представьте себе, несет он торт, но знает, что в коробке мина, а человек он, скажем, близорукий, подслеповатый, об ухабинку может споткнуться — и все может взорваться прямо в руках... Вот он и надевает на крайний случай в целях безопасности бронезилет.

— Который от взрыва слетает на дерево.

— Плохо завязал, что ли? Сдуло? — уточнил телевизионщик.

— Такой взрыв был, что убийцу вместе с бронезилетом сдуло, — обнадежил мент.

— Хорошенькое дельце. Человек получает аванс, честно выполняет работу, а его на дерево...

- Его на дерево, — следователь с догадкой убежал.
- Это что, убийцу обули, что ли? — задал наводящий вопрос опрошолог. — Как вы выражаетесь.
- Что мы знаем о современных убийцах? — грустно развел руками Шаромыгин.
- Вы это уже говорили.
- Я не говорю, я размышляю. Мне нравится моя догадка, что убийца плохо видит. Или видел. Тогда понятно, почему у него ботинки нечищенные... Искать надо очки.
- И снова прибежал молодой мент:
- На дереве найдены очки.
- Ну вот, что я вам говорил... Со стеклами?
- Естественно. Кто же очки без стекол носит?
- Очки близорукие или дальнозоркие? — поинтересовался Шаромыгин.
- Все по очереди стали примерять на себя очки.
- Дальнозоркие, — определил мент.
- Значит, вы ошиблись? — спросил телевизионщик.
- Значит, очки не убийцы, а жертвы. — холодно произнес Шаромыгин. — Дальнозоркость больше свойственна людям пожилым — вот вам еще полрулона долой... Выделите из этой кучи пожилых людей и уточните их зрение.
- Слушаюсь, — только и проговорил следователь, убегая.
- Да вы просто бог! — восхищался телевизионщик. — Буквально творец. Человека взрывом разорвало на молекулы, а вы собираете эти молекулы и восстанавливаете его обратно.
- К сожалению, я не бог. Если человека угробили, воскресить его я не могу.
- Но восстановить по молекулам в целое — тут вам не химия какая-нибудь, тут творчество высокого полета.
- Тут снова прибежал молодой мент:
- Круг сужается! Пожилых в этом списке совсем немного. Женщин, как пыльным мешком ударенных, я заранее вычеркнул... Об остальных докладываю... Прокурор города, тут вы были правы, но он жив — только что интересовался следствием. Дальше — адвокат Зевако, но он в командировке, значит, тоже отпадает... Есть начальник следственного отдела управления внутренних дел, но он сам под следствием. Еще подходящих полсотни. Но по очкам лидируют трое. Один совпадает по диоптриям, другой — по межглазным центрам, а третий совсем, — милиционер покрутил пальцем у виска, — совсем плохо видит — признал эти очки своими.
- Но жертва-то, извините, кажется, уже не жива. Как же так? — влез опрошолог.
- Да, хорошо бы выделить из всех этих очконосителей тех, кого уже не существует.
- Выделим! — бодро крикнул юный мент и убежал выделять.
- У меня все-таки ощущение, что вы Шерлок Холмс, — не находил слов от восторга телевизионщик, — по крайней мере, министр нынешних внутренних дел.
- Ну что вы, что вы, я простой прохожий, — скромно потупился Шаромыгин.
- Нет, вы не простой прохожий.
- Значит, я могу надеяться?
- На что надеяться?
- Значит, я могу там по вашему рейтингу претендовать на лучшего?
- На лучшего прохожего?
- А на что я еще могу претендовать? Только на лучшего прохожего мимо.
- Но лучшего прохожего всех времен...
- И народов?
- Всех времен и тротуаров.

— Ой, мне это так льстит... Ведь прохожий — это такое неуважаемое занятие. Я вот читал про одну женщину, у которой было десять детей и все от прохожих. Но женщина сейчас мать-героиня, а прохожих этих — тьфу — так никто и не знает. Безвестные герои.

— Вы тут намекнули, что прохожего ноги кормят. Вы сколько получаете за свои показания?

— Я? Получаю? Да еще намекнул?.. Скажете тоже... Что я получаю. Только угрозы со стороны потерпевших да благодарности от командования, а деньгами — что вы?

— Будем считать, что у вас шанс появился.

— Какой еще шанс? Не смешите.

— Получить не угрозы и благодарности, а нечто реальное. Приз! Статуэтку!

— Ну, буду ходить по улицам с вашей золоченой статуэткой. Да бояться, что отнимут еще.

— Статуэтка — это символ. Главное — премия.

— Ой.

Но тут снова прибежал молодой следователь и стал радостно размахивать ключком, который остался от целого рулона.

— Померло тридцать человек!

— А чему вы радуетесь?

— Сокращению списка. Смотрите, этот рулон постепенно благодаря вашему интенсивному мыслительному процессу превращается в шагреневый клочок.

— Да, в чем-то благодаря мыслительному... — стал наливаясь важностью Шаромыгин.

— Из этих тридцати половина умерла не сегодня — уже хорошо. Подтверждено документами. Оставшаяся половина, — мент оторвал половину клочка, — отыскивается.

— Это у вас сыск называется или розыск?

— Не сыск, не розыск, а отыск, — уточнил следователь, — потому что причастность к преступлению не выяснена. Вот один артист чечеточного жанра сейчас в гастролях за рубежом. Вот уж кто под подозрением!

— Почему?

— Ботинки профессионально стоптаны.

— Стоптаны, но чищены. Кто же на сцену в нечищенных ботинках полезет?

— Об этом я не подумал, — опять признался мент.

— Кто еще?

— Работник почты. В отпуске.

— Вот этого надо взять на заметку.

— Почему?

— Я тут в больнице лежал, — стал напрягать память Шаромыгин, — а у меня в палате еще один был. К нему жена часто навещалась. Слово за слово я уточнил, что он мясником на рынке работает. Ударником мясного труда. Ну, с топором то есть. А она на почте. Втихаря письма читает. Не все, конечно, а только те, что в прокуратуру направляются. И все мясные письма своему мужу таскает, чтобы он знал обстановку на мясном фронте и знал, откуда подвоха ждать. Но в тот день жена, как назло, не апельсины мужу в больницу принесла, как обычно, а селедку купила. Так как муж любил селедкой закусить. А селедка эта — тоже как назло — была не первой свежести и своим ржавым соком залила все мясные письма в прокуратуру. Чем лишила соседа-мясника притока знаний. Вспыхнул конфликт, перерос в драку. Жена оборонялась ржавой селедкой и нанесла мужу хвостом... Не своим, конечно, а селедочным... Короче, селедка вместо закуски была его по морде, чем приводила

его в неопишемую ярость, да так, что он в пылу драки с койки свалился. С большим грохотом. Потому что лежал с загипсованной ногой, висевшей на гире. А грохот от гипса и от гири сами знаете какой. Вбежала больничная публика, но больной мясник продолжал гудеть. Справиться с ним было невозможно, вызвали полицию. В связи с тем, что мясник этот по причине загипсованной ноги был невыездным, пришлось устраивать выездное заседание суда в больнице. А в больнице свободных помещений, как назло, в тот день не оказалось — пришлось проводить суд в клизменной. Комната такая специальная есть. Вот этот мясник в ней свое и получил. Так сказать, заряд бодрости на пятнадцать суток... А меня вызывали для дачи показаний. Как прохожего. Но прохожим в тот раз я был в переносном смысле: меня на заседание суда в носилках принесли. Вместе с моими показаниями.

— Так вы полагаете, что и этот работник почты тоже письма в прокуратуру почитывает? Или почитывал?

— А почему нет? Я сказал только, что он подозрителен и его надо в поле зрения держать.

— В каком поле, когда он в отпуске и неизвестно где?

— Просто не вычеркивайте его из вашего шагреневого списка.

— Это другое дело.

— Еще кто у вас там?

— Вышибала из ресторана.

— Есть такая профессия?

— Пойдите, пойдите. Вышибала вышибалой, но смотря из какого ресторана... Я знал одного вышибалу из вагона-ресторана. Он за один рейс Москва—Петербург повыкидывал из вагона до десятка пьющих.

— Это как повыкидывал? Из ресторана, что ли?

— Да нет, из вагона. Люди, конечно, живы остались — пьяному что делается? Он неистребим даже в полете на насыпь. Но живые, отрезвев, подали на вышибалу в суд.

— О чем это говорит? — поинтересовался телевизионщик.

— Тот, кто способен выкинуть пьяного из вагона, может и торт с миной в подарок... — солидно произнес Шаромыгин.

— Мы тут список жертв разбираем, а не список подозреваемых, — виновато напомнил мент.

— Ах да... — сообразил Шаромыгин. — Но живые, отрезвев, могли бы не подавать на вышибалу в суд, а мстить. С помощью того же торта с миной.

— Логично, — согласился телевизионщик.

— Значит, вышибалу тоже не вычеркивать из списка? — спросил мент.

— Значит. Еще есть?

— Двое работают на ликеро-водочном заводе хроническими передовиками производства и сейчас в вечерней смене.

— На вашем месте я бы сходил на ликеро-водочный завод и проверил, — посоветовал Шаромыгин.

— Почему вы так считаете?

— Ботинки могут быть стоптанными.

— Тогда ликеро-водочный надо крепко проверить, — твердо решил следователь и пошел крепко проверять.

Но тут вдруг Шаромыгин посмотрел на часы и хлопнул себя по лбу:

— Чуть не забыл. Мне же надо тут рядом на минутку в суд заскочить.

— Что, тоже показания? — любопытствовал опрошолог.

— Точнее говоря, противопоказания, — ушел от ответа Шаромыгин, — просто нужна справка, что у меня нет судимостей.

— Зачем вам такая справка? — не понял человек с микрофоном.

— Ой, знаете... Я столько по судам таскаюсь, столько вызовов в суд приходит, столько из судов звонят, что на работе на это уже смотрят с подозрением... Вы еще постоите тут в ожидании следующих прохожих, а я пока сбегаю. На минутку буквально.

Но только Шаромыгин отошел, как тут же примчался юный следователь с парой ботинок в руке.

— Его размер, его!

— Кого? — не понял телевизионщик.

— А где мой первоисточник информации? — хватился следователь.

— Он у вас не столько источник, сколько аналитический центр, — заметил микрофонщик.

— Ну и где он, этот центр?

— Отошел на минутку за справкой. А что это у вас за обувка?

— Эта обувь одного из хронических передовиков ликеро-водочного завода, который сегодня на работу не явился.

— Откуда тогда ботинки?

— Пришлось к нему домой наведаться.

— Его и дома нет?

— Только ботинки... Но тоже стоптанные, тоже нечищенные, а главное — тот же размер, что нашли на дереве. Больше того, на заводе удалось выяснить, что этот хронический передовик на почве хронического передовизма имел психические недостатки.

— Какие такие психические недостатки?

— Склонность к покончить с собой.

— На почве хронического? — уточнил телевизионщик.

— На почве.

— О чем это говорит?

— Вот я и хотел узнать у моего аналитического центра... Куда он запропастился?

— Отлучился на минутку за справкой. Тут, за углом, в суд.

— В суд? — принял к сведению следователь и побежал а суд.

Телевизионщик достал блокнот и стал что-то записывать:

— Во попал... Всего только вышел на поиски прохожего, через которого произошла утечка информации, так сказать, в поисках алмаза, а считай, что тут же наткнулся на него. Это не прохожий, а самородок. Такие самородки на улице не валяются. А ходят. Потому и называются прохожими. Казалось бы, тьфу — прошел мимо, и с концами, а в сумме получается, в самом деле, нобелевский лауреат улицы, герой переулка и маэстро тупика.

Мент со старыми ботинками вернулся назад:

— Не появлялся?

— Нет.

— Я обежал все кабинеты суда — его нигде нет. Куда подевался?

— Может, опять вляпался в какое-нибудь происшествие и дает показания в качестве очевидца-прохожего?

— Вы только что произнесли здесь какие-то слова про героя тупика. Это о чем?

— Да вот предполагаем найти и наградить лучшего прохожего.

— Что, героя давать за это?

— Ну, не совсем героя, но премию — да.

— И что, предполагаете вручить ее моему передвижному аналитическому центру?

- Да, есть такое намерение.
- А уж как мне без него невоготу...
- Так идемте вместе в суд, поищем его там.
- Я искал во всех кабинетах...
- А в зале суда?
- Почему в зале суда?
- А где же ему еще давать показания?
- Об этом я как-то не подумал... — привычно признался следователь и отправился вместе с телевизионщиком в суд.

Но Шаромыгина они нашли уже за железной тюремной решеткой.

- Ну и дела, — удивился мент.
- Что это вы здесь делаете? — не понял телевизионщик.
- Да вот... — Шаромыгин выглядел потерянным. — Зашел на минутку за справкой к секретарю суда, а она по телефону с кем-то очень интимно... Чтобы от меня отвязаться как от нежелательного прислушвателя, на минутку отвлеклась, чтоб спросить, чего я хочу... Я сказал, мол, нужна справка, что у меня нет судимости... Запишите вашу фамилию где-нибудь на столе там, а я через полчаса освобожусь и вам ее выдам... Ну, я и записал где-то там... А в этот момент другая девушка вошла и взяла папку, на которой я свою фамилию написал... Оказалось, за стеной суд шел, и эта папка там понадобилась. А поскольку я там свою фамилию написал, меня вызвали... Ну вот.
- Что ну вот?
- Зашел на минутку получить справку, что у меня нет судимости, а получил десять лет.
- За что?
- Та папка, на которой я свою фамилию написал, была с такой горой преступлений, что тянула на высшую меру. Так что десять лет строгого режима — это, считайте, мне повезло.
- А мне, считайте, не повезло. Я же без вас как без рук.
- А что там у вас в руках? — спросил Шаромыгин.
- Ботинки хронического с ликеро-водочного... Тоже стоптанные, тоже нечищенные и тоже тот же размер, что нашли на дереве.
- Типа тополь? — вспомнил Шаромыгин.
- Типа... Больше того, собака определила, что и запах тот же. Больше того, на заводе удалось выяснить, что этот ботинконоситель имел на почве хронического передовизма психические недостатки в виде склонности покончить с собой.
- Замечательно! Значит, кто-то воспользовался тем, что он хочет покончить с собой, вручил ему торт с миной и...
- Но он же у нас из списка жертв, — с тоской в голосе пропел мент.
- Уй-е, а так все хорошо складывалось. Одно к другому. Но идея самоубийцы-камикадзе очень хороша.
- Что за идея? — насторожился телевизионщик.
- Кто-то связанный с психическими отклоненцами предлагает им не просто покончить лично с собой, а прихватить в момент свершения самоубийства еще кого-нибудь на тот свет. По желанию и на деньги заказчика. — Шаромыгин был великолепен, когда произносил эту сентенцию.

- А что дает нам эта идея? — не совсем понял следователь.
- Нужно прокачать всех людей с психическими отклонениями.
- Что, все психдома? — мент привычно получил невыполнимую задачу.
- Не только. В психдомиках сидят официальные психи, профессиональные ненормальные, а сколько таких ненормальных ходит среди нас?
- И что, всех надо качать?
- Нет, только тех, кто зарегистрирован в психдиспансерах.
- На сей раз молодой следователь не убежал, как обычно, а ушел. Медленно и недовольно.
- Ну, вы и прохожий, — покачал головой телевизионщик.
- Что, не соответствую вашему аршину? — насторожился Шаромыгин.
- Какому аршину?
- Ну, тому аршину, которым вы мерите своих прохожих. Или, как он называется по-нынешнему, рейтинг?
- У меня этих прохожих вы один.
- Даже сравнить не с кем?
- Все прохожие приходят и уходят, а вы останетесь навечно.
- Не навечно, а на десять лет, — вспомнил приговор Шаромыгин.
- Но как же? Вы что, не можете подать кассационную жалобу? Это же какая-то кошмарная ошибка.
- Это судьба. А на судьбу кассационную жалобу не подают.
- Появился степенный милиционер с рулоном другого цвета.
- Во, сколько ненормальных у нас в стране! Но что мне с ними делать?
- Как всегда — отделить живых от мертвых.
- Мент решительно оторвал кусок рулона.
- Это что, живые? — спросил Шаромыгин.
- Нет, живые вон в том рулоне. А здесь те, кто покончил с собой.
- Давно?
- Понял, — мент оторвал еще клочок. — Это самые свежие самоубийцы.
- Вижу, немного...
- Всего трое, — развел руками мент.
- Откуда они? — спросил Шаромыгин.
- Самое смешное — все трое из одного диспансера.
- А что я вам говорил?
- Что вы мне говорили?
- Вам ясно, где искать организатора самоубийств?
- Но заказчик...
- У организатора самоубийств — скорей всего, кого-то из медперсонала психдиспансера — вы узнаете заказчика.
- Ой, что бы я без вас делал... — воскликнул молодой следователь и убежал в предвкушении триумфа.
- Ваш знакомый полицейский утверждает, что без вас у него все идет мимо, — льстиво произнес телевизионщик.
- Такое наше прохожее дело — проходить мимо, — скромно улыбнулся Шаромыгин.
- Но я мимо вашего дурацкого заключения за решетку не пройду. — решительно заявил телевизионщик. — Я буду бороться за ваше освобождение из застенков.
- На это у вас уйдет десять лет, — печально развел руками Шаромыгин.
- Нет, вы получите звание типа нобелевского лауреата, и вас освободят немедленно.
- Ой, откуда я получу звание нобелевского лауреата?

- Типа нобелевского...
- Ну, типа.
- От меня.
- Вы что, Нобель или типа Нобель?
- Но премия, которую вы получите, будет на уровне Нобеля, на уровне Оскара, Грэмми, ники, оvation, триумфа.
- С вручением денег? — быстро поинтересовался Шаромыгин.
- С вручением денег.
- Откуда у вас такие деньги? — недоверчиво и криво усмехнулся будущий лауреат.
- Но тут снова прибежал наш любимый следователь. Он услышал последние слова о «таких деньгах» и повторил их, как эхо.
- Откуда у вас такие деньги?.. Какие такие деньги, о чем речь?
- Это длинная история, которую можно было бы назвать «Самоубийство с целью личной наживы», — начал эпически телевизионщик.
- Это еще что за парадокс? — не поверил следователь. — Разве такое может быть?
- В самом деле, какой смысл? Расскажите, — попросил Шаромыгин.
- Был у меня приятель, — начал телевизионщик, — не столько даже приятель, сколько сосед. Не столько даже сосед, а так — малый один. По фамилии... Называть фамилию не буду, назову только первую букву Ч.
- Это что, типа Че Гевары? — оживился милиционер.
- Просто Ч, — охладил его пыл телевизионщик, — фамилия у него была Чайников-Чудаков, но он был не чайник и не чудак, а так — шланг.
- А что значит шланг?
- Как вам объяснить?.. Шланг — это змея, но без головы.
- Он что, был без головы?
- Без головы бывают только всадники.
- Вы же сами только что сказали: шланг — это змея, но без головы.
- Голова-то у него была, но по сравнению со змеей он был не такой умный, хотя идеи у него порой были — ой. Зашел он однажды ко мне с компьютером повозиться: так, в картишки с ним перекинуться, в глупость какую-то сыграть... И вдруг потянуло его в Интернет. Стал вдруг заключать какие-то пари чуть ли не со всем светом.
- Какие еще пари?
- Что покончит с собой и станет богатым.
- Чушь какая-то... Как он может стать богатым, когда покончит с собой?
- А вот заключал такие пари...
- И что?
- И выиграл!
- В каком смысле?
- Покончил с собой.
- Не пойму.
- Покончил с собой с целью личного обогащения.
- Но какое тут может быть обогащение?
- Адвокаты, нанятые им загодя, выкачали деньги из проигравших, а поскольку спорил он на весь мир, то и сумма набралась в результате — о-го-го.
- У него, может быть, наследники были?
- Не было.
- Но кому нужно это о-го-го, эта сумма, если ваш Ч умер?
- Вы же сами сказали: парадокс...
- Мало ли что я сказал... — растерялся мент.

— И вот мы с адвокатами, — торжественно заявил телевизионщик, — открыли фонд Ч и решили каждый год выбирать лучшего Ч с присуждением премии Ч.

— Это что, соревнование шлангов? — заморгал мент.

— Хотите подбросить ложку дегтя в бочку меда? — обиделся телевизионщик.

— Я что-то не просек?

— В этом году мы решили выбрать лучшего прохожего.

— Класс! Так вот что вы имели в виду, когда говорили о нобелевском прохожем?

— Жаль только, что этот нобелевский прохожий сейчас не может быть прохожим, а сидит за решеткой.

— Так это он? — допер следователь. — Я свой голос тоже за него отдам... Я не нашел ни убийцу, ни жертву, но я обнаружил заказчика. Это такой класс! Такого класса у нас еще никто не показывал! А вы, случайно, не собираетесь проводить конкурс по выявлению лучшей розыскной собаки?

— Собаки? — не понял телевизионщик.

— Ну, кобеля, — уточнил милиционер.

— Я об этом подумаю.

— Тут и думать нечего.

— Как это нечего, когда вы не нашли ни убийцу, ни жертву?

— Об этом я не подумал... Получается, что мое следствие тоже прошло мимо? Хорошее название для пьесы, а? «Следствие идет мимо».

— Мало ли кто у нас мимо ходит... И все мимо и мимо.

— Нет, сейчас же пойду организовывать демонстрацию за ваше освобождение.

— Вот! Это то, что надо! Бежим срочно собирать народ.

— Какой народ?

— Как какой? Прохожих!

— Демонстрация прохожих... Красиво звучит.

— Всех прохожих научим ходить в ногу...

— Да еще с транспарантами...

— «Прохожему нечего делать в тюрьме!»

— Нет, лучше: «Свободу прохожему!»

Телевизионщик и следователь с высоко поднятыми ротфронтскими кулаками пошли по улице...

Перед Авдеем Баклушиным и Тюлей Вискребенцевой остался один Шаромыгин.

— И это что, все с вами произошло? — поразилась Тюля.

— Такая у нас, у прохожих, жизнь, — развел руками Шаромыгин.

— Вот ведь как жизнь поворачивается... — принялся размышлять Авдей вслух. — Идешь вроде мимо, а попадаешь в самую точку. А попрешь напролом к цели — промажешь мимо цели. Всюду парадоксы. Вот, к примеру, что такое ум? Ум для человека является мерилем глупости. Как бы рейтинг. Умен человек — стало быть, ему общедоступной глупости, простоватости недостает. А глуп человек чересчур — что-то у него с умом. Как все устроено: смотря как смотреть... Есть такое выражение: мыслю — значит существую... А что значит мыслю? Мыслю — это значит молчу. Молчание — это мысль изнутри. А где лучше всего молчать? В уединении, следовательно, в одиночестве, следовательно, в тюремном заключении... Значит, и надо говорить: я мыслю — следовательно, существую в тюрьме...

— Ну, от тюрьмы-то мне удалось отмотаться, — махнул рукой Шаромыгин, — ошибка, слава богу, всплыла вовремя, и меня отпустили.

— А эти, которые марш прохожих затеяли?

— Они даже песню сочинили и дали мне слова списать. Могу спеть.
И Шаромыгин запел.

Раньше звали «вперед» и не только солдат
И кричали при этом на славу,
А теперь не зовут ни вперед, ни назад,
И ни с левой ноги, и ни с правой.
Я прохожий теперь, мимо вас прохожу.
Я мелькну мимо вас на мгновенье.
Я тут часто по делу, без дела хожу
И мелькаю, как часть населенья.
Мы прохожие все. Все мы мимо идем.
Мы шагаем и даже не знаем,
Что шажком иль бегом, бочком иль гуськом,
А мелькаем, мелькаем, мелькаем.
Мы, как кильки, мелькаем всегда косяком.
Без прохожих вам непроходимо.
На ходу мы мечтаем о чем-то своем —
И все мимо, все мимо и мимо.

Когда Авдей и Тюля возвращались домой, им стало грустно. То есть на философствование потянуло.

— Это только на улицах мы прохожие, а в магазинах-то мы покупатели, в автобусах — пассажиры, а в театре — зрители. Мы появляемся и исчезаем, не оставаясь в памяти людей. Мы мелькаем за окнами, проходим мимо. Часто нас видят по одним ногам, когда идут задумавшись... По одним головам — когда сидят за нами в партере... По одним рукам — когда мы покупаем в кассе билет на поезд, на самолет, в театр... Но именно про нас говорят — лучший в мире зритель. Так, может быть, не совсем уж мы такие никуда не годные? Может, среди нас находится гениальный ответственный квартиросъемщик? Или выдающийся покупатель?.. Или очень талантливый пассажир?.. Феноменальный посетитель и знаменитая домашняя хозяйка?.. Легендарный первый встречный и замечательный сосед?.. Великий клиент и лучший прохожий всех времен и тротуаров?.. Ведь никто не оценивает нас по этим неброским, непримелькавшимся рукам-ногам-головам...

— Нет, ну ты гляди, что из человека повылезало всего за месяц! Готовился стать простым прохожим-очевидцем, а вырос до нобелевского лауреата улицы!

— А мне многое не понравилось, — сморщила нос Тюля, — как говорил Станиславский, не верю, не хочется верить. Особенно неправдоподобно он полицией руководит, а полиция неправдоподобно быстро следствие проводит. Белыми нитками вся эта история шита. Даже не белыми, а желтыми...

Как раз в этот момент проходили они возле редакции желтой газеты «Мир на ушах» и решили заглянуть к Оскоминой.

— О, Авдейка! — сразу признала его Нюня. — Глянь на обложечку! Шик-материалец! «Маэстро тупика, герой переулка, нобелевский лауреат улицы Ш. Ромыгин находит убийцу-заказчика».

Авдей и Тюля тупо уставились на обложку: портрет вроде бы Шаромыгина, а фамилия не его почему-то.

— Он на самом деле Шаромыгин, но кто станет помещать на обложку такую фамилию, — пояснила Оскомина, — пришлось сделать его Ромыгиным, а первую букву выдать за имя.

— Но он не Ш вовсе, а Вася.

— А читателя это не колышет. Завтра его и так все забудут, но важно, чтобы газету купили сегодня.

Авдей и Тюля погрузились в описание шаромыгинских подвигов и с удивлением ловили себя на том, что все слова им уже знакомы и только недавно были произнесены самим Шаромыгиным.

— Он что, сам этот материал вам принес? — спросил Авдей.

— Да, отпечатанный на компьютере и в двух экземплярах.

Авдей и Тюля переглянулись.

— Вас что-то не устраивает? — поинтересовалась Оскомина.

— Нет, все правильно, — ответил Авдей, — он нам все это своими словами только что рассказывал.

— Так вы его знаете?

— Мы вместе обучаемся этому прохожему ремеслу.

А вечером по телевизору в «Максимальных сенсациях» они опять встретились с Шаромыгиным, названным теперь Шармановым, но уже Василием. Вела передачу Ольга Мыльнева, а не тот телевизионщик, который его расспрашивал на улице. Но слова, которые произносил Шаромыгин, были те же! Авдей готов был отдать голову на отсечение!

— О чем это говорит? — любопытствовала Тюля.

— Что он и на телевидение принес этот текст в двух экземплярах, — предположил Авдей.

— Напечатанный на компьютере, — добавила Тюля.

— Которого у него нет, — холодно произнес Баклушин, — мы пока обучались вместе, он мне многое успел рассказать о своей жизни.

— Может, он напечатал это на чужом компьютере?

— Он печатать не умеет.

— Попросил, чтобы напечатали с его черновика?

— Все может быть, но у меня легкое подозрение, что эти тексты ему дали, написали, напечатали, — стал заводится Авдей.

— Почему ты так думаешь?

— Помнишь экземпляры, которые были у Оскоминой? Они были напечатаны на обратной стороне каких-то бланков.

— Сегодня многие так черновики печатают, чтобы не расходовать хорошую бумагу.

— Я же сказал: подозрение...

Когда Баклушин вернулся домой, его уже встречала Клёпа Колдобина.

— К тебе приходили с телевидения. Ты что, теперь у них на подхвате?

— Кто приходил-то?

— Что-то насчет прохожего... Они разыскивают какого-то прохожего... Ты что, теперь у нас в прохожие подался?.. Вот телефончик оставили, — и Клёпа протянула привычный клочок газетенки.

Но позвонить Баклушину не довелось. Только он вошел в квартиру, телефон зазвонил первым.

— Авдей, — напористо произнесла трубка голосом Оскоминой, — нашелся твой Тютелько! Он сидит в тюрьме. Давай его срочно проведем.

— Ты-то откуда о нем знаешь? Мы же с Выскребенцевой его разыскивали.

— Ты забыл мою подругу Клёпу, а она всегда в курсе всего.

— За что сидит?

- Фальшивомонетчик. Деньги на принтере печатал.
- Где сидит?
- В Матросской Тишине.
- Ух ты! — ухнул Авдей. — Как большой государственный преступник!
- Завтра срок у него заканчивается, и мне хотелось бы первой взять у него интервью.

Назавтра Баклушин с Оскоминой пришли к тюрьме в десять утра.

У выхода из тюрьмы стояло несколько дорогих иномарок. Ну, белый «мерседес» Савеловского Авдей сразу признал, Павелецкого он разглядел через окна «лендровера», а кто был третьим, оставалось неясным. Но понятно было, что Тютелько был нарасхват. В чем причина? Спрос на фальшивомонетчика? Или на самосгорающие деньги?

Оскомина решила обойти конкурентов и пошла, что называется, напролом. Прямо в тюрьму.

Но и вышла очень скоро. Весьма озадаченной.

- Что? — спросил Авдей.
- Сбежал.
- Как сбежал?
- За день до выхода из тюрьмы.
- Теперь же ему новый срок дадут, если поймают. Дурак, не мог одного дня потерпеть?
- О чем это говорит?
- Что он слишком много знал или слишком много значит для кого-то.
- Для кого?
- Ну, для Савеловского и Павелецкого — это точно. Вон они в машинах его ждут.
- А кто третий?
- Не знаю.
- Во попали, Авдюша.

Дома Авдей, Тюля, Оскоминая и Колдобина собрались на совет.

- Я ничего не понимаю, — в сердцах заявил Авдей.
- Как будто мы понимаем что-то, — хором ответили женщины.
- Я перечислю вам все непонятки последнего времени, — Баклушин стал загибать пальцы, — и труп Микстуры оказался не тем, подделкой. И балбес Шаромыгин явно поет под чужую дудку, но чью? А теперь и Тютелько убегает из тюрьмы за день до освобождения!.. Теперь я начинаю понимать Понюшкина. Теперь и я близок к тому, чтобы прыгнуть с Крымского моста.

А тут вдруг стук в дверь, хотя на двери есть звонок.

— Кого еще несет? — резко поднялась Клёпа Колдобина.

Оказалось, что принесло Ньюрова и Всячину из фирмы в сопровождении курсанта Дофонарева.

— О, у вас тут девишник! — расплылся в улыбке Ньюров. — А у нас наметилась прекрасная цепочка, где очень нужно ваше участие. Чудные девушки! — Александр Давыдович стал их старательно и пристально разглядывать. — Вот вы очень милая, очаровательная, — оценил он Тюлю, — а вы очень живая, энергичная, — улыбнулся Нюне, а напоследок повернулся к Клёпе: — А вы ухватистая, кровь с молоком... Для всех вас есть хорошие роли... К Поповым пойдете вы, — он выбрал Оскомину, — как вас зовут?

- Анна, — ответила Нюня.
- Вот вам текст, который надо выучить.
- Что, наизусть? — ахнула Нюня от одного только вида пачки текста.
- Необязательно наизусть. Можете импровизировать в рамках роли.
- Так это что, сериал? — глаза Оскоминой вспыхнули.
- Это вы очень точно заметили — сериал.
- А что я с этого буду иметь? — полюбопытствовала Нюня. — Так сказать, где контракт, где договор?
- Контракт чуть позже, — обнадежил Нюров, — у нас пока кастинг, подбор актеров, пробы, пока репетиции! Потерпите.
- А мы? — нетерпеливо бросила Клёпа.
- И вы, и вы, и вы... Вы все будете заняты, но об этом чуть позже.
- И Дофонарев? — осторожно поинтересовался Баклушин.
- Дофонарев — наш сценарист. Это именно он выдумал и расписал всю эту историю про Поповых.

— Здравствуйтесь, я Верунчик Попова, — представилась симпатичная женщина средних лет в симпатичной квартире среднего достатка, — меня тут задержали ни за что. Я, видите ли, на какой-то словесный портрет похожа. Алебастровой называют, Подотригорой, Кацынской с добавлением «она же». Она же Подотригора, она же Кацынская, она же Хабибулина... Я что, похожа на Хабибулину? На ту же Подотригору? Она же... на ту же Кацынскую? Я как была Верунчик Попова, так ею навечно и останусь... Хотя нет, не навечно. У меня и девичья фамилия была другая, да и тут эта история...

Прихожу я домой с покупками, открываю дверь ключом и чуть в обморок не падаю. Посреди квартиры преспокойно сидит миловидная на первый взгляд женщина с узлами и большим чемоданом.

- Вы кто? — только и смогла я выговорить от удивления.
- Я Попова, — ответила Нюня Оскомина, одетая под приезжую.
- К-как Попова? — делает большие глаза Верунчик.
- Так Попова, — спокойно говорит Нюня, — жена научного работника Феди Попова.

— П-простите, — чуть не задохнулась от обиды Верунчик, — это я жена н-научного работника Федора Попова.

— Ничего удивительного, — цинично усмехнулась Нюня, — он у вас в командировки ездит? Я думаю, что сегодня нас, жен Феди Попова, как раньше детей лейтенанта Шмидта, в каждом городе...

- Как вы попали в квартиру? — перебила гостью хозяйка.
- Он дал мне ключ.
- К-как?

Попова заломила руки и горячо заговорила себе:

— В один миг вдруг открылось мне истинное лицо моего мужа, научного работника, жалкого донжуанишки, альфоски и синей бороденки. Это был момент истины... Всю жизнь я носилась с ним, как с Анатолием Курагиным из «Войны и мира», боготворила, как Вронского, а он... отдает ключ от нашего общего дома случайной женщине и гонит таким образом меня прочь, как в мексиканских фильмах... Ну нет, так просто я не сдамся, я буду бороться...

Попова решительно подошла к узлам непрошеной гостьи и стала один за другим выбрасывать их за дверь.

- Что вы делаете? Как вы смеете? — засуетилась фальшивая Попова-Оскомина.

Но Верунчик вслед за узлами и чемоданом вытолкала и ее.

— Я буду жаловаться! — кричала Попова-Оскомина из-за двери. — Я полицию позову! Хулиганство!

Попова снова заломила руки:

— Однако я ничего уже не слышала, я рыдала, лежа ничком на тахте... Коварный обольститель, гнусный соблазнитель! Нет, с ним я больше не смогу жить под одной крышей, я уйду к маме. Я встала, вытерла слезы и стала собираться. Первым делом, конечно, надо забрать свои любимые книги...

— Позвольте и мне, позвольте... — приоткрылась форточка, в которой показалось лицо Баклушина, — я тот самый научный работник Федор Попов... Вы не даете мне слова сказать, а я-то тем временем поднимался пешком на свой девятый этаж. Опять барахлил лифт, но даже этот изнурительный подъем я старался использовать для своего физического совершенствования. Я, как человек, перегруженный научной работой, не имею возможности уделять специальное время на бег трусцой или утреннюю зарядку... Возле девятого этажа я встретил незнакомую женщину, таскавшую какие-то узлы в лифт.

— На дачу переезжаете? — участливо спросил я.

— На дачу, — послышался из-за двери голос Поповой-Оскоминой.

— Позвольте, я вам помогу!.. И я отнес в лифт тяжелый чемодан... Женщина закрыла дверцы и поехала вниз... А я, приятно утомленный физическим упражнением с чемоданом, пошел к своим дверям.

— Тем временем, — прервала мужа Верунчик, — я быстро связала книги стопочками и подошла к шкафу, чтобы взять платья. Открыла дверцу и... схватилась за сердце. Шкаф был пуст... Новый момент истины буквально ошарашил меня: никакой второй жены Феде Попова не было!

— И быть не могло! — сказал Федя за дверью.

— Была просто-напросто дерзкая аферистка! Она подобрала ключ, пробралась в квартиру, связала в узлы наши вещи, а я... еще помогла ей эти узлы вынести. Мамочка... Особенно тяжелым был чемодан. Интересно, что она могла туда положить? Я оглядела квартиру: не было хрустальной вазы, телевизора жидкокристаллического...

— А в это время в прихожей раздался звонок, — напомнил из-за двери муж, — это был я.

— Неужели муж? Екнуло мое сердце, — опять заломила руки Верунчик, — неужели этот благородный непонятый Чайльд Гарольд, этот немолодой уже Вертер?

— В самом деле, это был я, — сказал Федя Попов и вошел.

— Я встретила его слезами. Слов у меня не было. Я молча показала ему на пустой шкаф.

— Поначалу я ничего не понимал.

— Потом, когда я сумела через силу рассказать об аферистке, он побледнел.

— Да, я побледнел. В одном из унесенных пиджаков у меня хранилась энная сумка. И ты сама помогла вынести ей узлы? Боже! — тоже начинает заламывать руки, но уже себе. — Я тут же вспомнил ту милостивую женщину у лифта, вспомнил тяжесть чемодана и мысленно что было силы хлопнул себя по лбу: какой же я был ду... наивный... Впрочем, откуда я мог знать?.. Вдруг я заметил стопки с книгами: она что, и книги хотела взять?

— Нет, книги — это я, — отмахнулась Верунчик.

— Я растерялся. Я снова ничего не понимал. Так вы что, в сговоре?

— Что ты, что ты... Это когда я узнала, что ты завел себе другую, я решила уехать к маме.

— И стала собирать книги? — чуть не закричал муж.
 — А что тут такого?
 — Дело в том, что в англо-русском словаре у меня тоже хранилась энная сумма... Потому я и забеспокоился! Нет, надо срочно сообщить в правоохранительные органы.

— Думаю, что полиции ее уже не догнать. Посмотри на часы.

— А где они?

— Как, она и часы?

В дверь осторожно постучали.

— Простите, я лейтенант полиции Кувшинников, — появился полицейский, отдал честь и стал зачитывать по бумажке, — я по вызову. Ваш сосед по лестничной клетке, пенсионер Черепашук, старший по этажу, услышал на вверенной ему клетке крики типа «безобразия, хулиганство, я полицию позову», немедленно позвонил в отделение, пока дело не дошло до кровопролития.

Из-за спины Кувшинникова высунулся старикашка:

— Здрасьте, а я тот самый Черепашук, который слежу за порядком... Я насчет лифта. Он вообще-то работает, но временами выходит из строя по причине... Иногда без причины... Но сегодня, то есть в сей момент, он остановился между пятым и шестым этажом... Там какая-то женщина. Она там то впадает в ярость, то выпадает в панику. Нажимает все кнопки разом, дергает за дверцу и кричит не своим голосом... Ведет переговоры с дежурной, но ей отвечает голос маленькой девочки: «Мама за молоком пошла, а я тут за нее кнопки нажимаю».

— Вы меня перебили, — упрекнул Кувшинников старшего по этажу, — а я когда подъехал по вызову и увидел, что лифт не работает, пошел пешком. Чтобы скрасить монотонность подъема на девятый этаж, стал считать ступеньки. У меня такая примета: если число ступенек до объекта четное, то дело будет раскрыто, а если нечетное, то нечего и стараться. Однако между пятым и шестым этажами я сбился со счета. В клетке лифта я увидел милостивую женщину с тонкой тенью усиков над верхней губой, глаза карие, выразительные, губы алые, сочные, подбородок нежный, округлый, щечки с ямочками, шея длинная, гибкая, вырез на платье глубокий... Секундного взгляда на нее мне было достаточно, чтобы словесный портрет навечно отпечатался в моей памяти... «Товарищ лейтенант, помогите, пожалуйста».

Я закрыл глаза и про себя отметил: голос мелодичный, берет за душу... Поэтому когда я вошел в вашу дверь, я первым делом стал искать телефон, чтобы поскорее позвонить в лифторемонтную бригаду... Обстоятельства дела я уяснил себе сразу, почерк аферистки мне показался знакомым, я даже начал составлять список похищенных вещей, как вдруг... загудел лифт! И тут... в одно мгновение я прокачал все данные о дерзких ограблениях среди бела дня на глазах у хозяев, мысленно пролистал все портреты аферисток и... сорвался с места, оставив в недоумении супружескую пару Поповых. Я бежал вниз, пролетая лестничные пролеты в один прыжок. Лифт на первом этаже и я оказались почти одновременно. Давно разыскиваемая, неуловимая аферистка Кацынская, она же Алебастрова, она же Подотригора, она же Хабибулина, Канделакерн, Бэдэ, Емирович-Анченко, Ногине, она же Попова, была в моих руках.

— Вот! — подал голос Черепашук. — Вот он, момент торжества истины!

— Момент да, — согласился Кувшинников, — но до торжества дело не дошло. Кацынская, она же Попова, она же была, но чемодана при ней не было.

— Как не было? — вскинулась Верунчик.

— И тут я понял, что меня морочат. Морочат мои мозговые извилины. В один миг я сообразил, что женщина, которая приехала в лифте, совсем не она, не та, а та — которая осталась наверху и строит из себя жертву ограбления. Сломя голову я по-

мчался на лифте вверх и задержал этих преступных элементов, выдававших себя за Поповых, за Кацынских, за Подотригор! Вы арестованы.

— Нет, но почему? Вот мой паспорт, я научный работник Федор Попов, я здесь живу, вот отметка паспортного стола.

— А вот мой паспорт, я Вера Попова... Я что же, ограбила саму себя?

— Мы эти фокусы знаем, — холодно сказал Кувшинников, — ограбят самих себя, а потом страховку требуют.

— Какую страховку? — заплакала Верунчик. — Мы застрахованы только от пожара.

— Ой, будто мы не знаем, как это делается, — засмеялся Кувшинников, — сначала вывозятся ценные вещи, а потом все остальное поджигается, блин.

После всего этого, что Нюров называл репетицией, а остальные все — ограблением, Баклушин разыскал Оскомину, наряженную Поповой.

— Ну, как тебе все это?

— Забавно. Смешно. Но не совсем понятно.

— Текста не много у тебя?

— Да разрешено же импровизировать в рамках смысла, отсебятину можно...

— А ничего не покорило?

— Чемодан тяжелый.

— Чемодан жутко тяжелый, — согласился Авдей, — я когда его из лифта выносил... за секунду до появления полиции... думал, что кишки лопнут. Еле до багажника доволок.

— Я спросить хотела: а мент настоящий?

— Свистел вроде по-настоящему.

— Нет, ну говорят же все, что сериал... Пойми.

— Если сериал, то нас это не должно волновать.

Но тут из подъезда появился Нюров:

— Так, а теперь все срочно в суд!

В просторном помещении суда народу оказалось немного.

Судья оказалась строгой женщиной в черном, при очках и с бородавкой над глазом.

— Продолжим заседание суда, — громко сказала она и повернулась к лейтенанту Кувшинникову: — Кого вы мне привели?

— Не узнаете? Это же Кацынская. Она же Алебастрова, она же Подотригора, она же Хабибулина. Приглядитесь, — он повернул женщину лицом к судье, и Авдей Баклушин вздрогнул: да это же Нюня Оскоминая, одетая Кацынской, — тонкая тень усиков на верхней губе, глаза карие, выразительные, губы алые, сочные, подбородок нежный, округлый, щеки с ямочками, шея длинная, гибкая, вырез на платье глубокий...

— Где-то я этот словесный портрет уже читала, — заметила судья.

— Так он же на всех автобусных остановках висел, — ответил Кувшинников.

— Нет, нет, — поднял руку Федор Попов-Баклушин, — я видел этот портрет в лифте. Именно этому портрету я помогал вносить в лифт украденные у меня же вещи, — строго спросил у Кацынской: — Где они?

— Какие еще вещи? — отмахнулась Кацынская-Оскоминая.

— О, голос мелодичный, берет за душу, — заметил Кувшинников.

— Где вещи? — продолжал напирать Федор. — Где мой пиджак темно-серый, буклевый, пятьдесят второй размер, четвертый рост? Вы его толкнули? На рынке? За бесценок? А ведь он, если учитывать заначку под подкладкой, стоимостью с «Жигули»!

— Я не знала, — принялась отнекиваться Кацынская, — я если бы даже знала, не взяла бы. Я так воспитана: не брать чужого.

- А взяли, – упрекнул Федор.
- Мне чужого не надо. Меня просто попросили войти в квартиру и спустить вещи до первого этажа. Чтобы люди смогли перевезти эти вещи на дачу. Ключ дали. И обещали потом расплатиться за работу.
- Ха, работа, – сыронизировал Федор.
- А кто попросил? – спросила судья.
- Она назвалась Подотригора. Мне фамилия запомнилась. Смешная. Подотригора я слышала где-то, а вот Подотригора мне показалась смешной.
- Значит, вы не Подотригора? – спросила судья.
- Она вам сейчас скажет, что она и не Хабибулина, и не Алебастрова, – стал заводиться Кувшинников.
- Да, я не Хабибулина и не Алебастрова. Вот человек, который может подтвердить, – Кацынская показала на Баклушина.
- Это тот самый, что подносил чемодан до машины, – вспомнил Кувшинников.
- Позвольте, позвольте, – поднялся Баклушин, – меня попросили...
- Кто попросил? – снова спросила судья.
- Один человек. Одет по-простому. Из толпы не выделишь...
- Да у них тут целая преступная группа! – воскликнул лейтенант Кувшинников.
- Прекратите сейчас же, – строго сказала судья, – у нас тут суд или не суд?
- Ой, у вас тут суд? – вдруг всполошилась Кацынская. – А я не одета, – и принялась поправлять детали своего туалета, прическу, – я такая неопытная, со мной это вообще в первый раз. Вот если бы золотая рыбка была готова исполнить мои желания, я была бы в затруднении, я в этих желаниях заблудилась бы как в трех соснах. Понимаете, я женщина, которая не знает, что хочет.
- Кого вы мне все приводите? – спросила судья у Кувшинникова.
- Что, опять не та? Я же ее на месте преступления нашел.
- Кувшинников, – строго сказала судья, – идите на работу. И без улик не возвращайтесь.
- Судья в задумчивости стала ходить по залу суда.
- Нет, мы какой-то особый народ... У всех прочих народов – божественное происхождение – от Иисуса, Аллаха, Будды, и только нашему народу без конца твердили, что Бога нет, а мы произошли от обезьяны. Только этот особый человек взял в руки палку, только он сообща охотился на мамонта. И, наверное, с удовольствием охотился бы до сих пор, если бы вместо мамонтов ему не были предложены ножки Буша. Этот народ вообще очень любит жить на халяву. Поэтому клюет на любые обещания. А уж ему, бедному, обещают, обещают, обещают годовые, обещают месячные. Для того, кто обещает, точно Бога нет, а кто во все это верит, Бога и быть не может. И это еще одно доказательство, что мы произошли все-таки от обезьяны.
- Но тут снова появился Кувшинников с какой-то женщиной. Она несла чемодан и опустила голову вниз из-за тяжести, а когда подняла голову, Баклушин сразу узнал Клёпу Колдобину.
- Вот! – торжествуя произнес Кувшинников. – Вам вам ваша Подотригора! С ручной уликой!
- Это ваша улика? – спросила судья.
- Нет, этот чемодан не мой.
- А отпечатки пальцев на чемоданчике ваши! – засиял Кувшинников.
- Меня просто попросили получить этот чемодан в камере хранения.
- Кто попросил? – спросила судья.
- Одна женщина.
- Какая из себя?

- Глаза карие, — ответила женщина.
- Выразительные, — довольно поддакнул Кувшинников.
- Губы красные...
- Сочные...
- Подбородок...
- Нежный, округлый.
- Щеки...
- С ямочками.
- Ну вот товарищ, он все лучше знает, — усмехнулась Подотригора.
- Наконец-то все сошлось, — выдохнул Кувшинников.
- Что сошлось? — не поняла судья.
- Наконец все... Словесный портрет — налицо, улики — полный чемодан.
- Что у вас в чемодане? — спросила судья.
- Откуда мне знать.
- Откройте его.
- У меня ключа нет.
- Прямо какой-то черный ящик, — ухмыльнулся Кувшинников.
- Кто вы такая? — очень спокойно поинтересовалась судья.
- Товарищ лейтенант уже представил меня... Подотригора я.
- Расскажите о себе.
- Я просто неудачница, — пожала плечами Подотригора-Колдобина, — у меня жених был. Поехал поступать в институт и не вернулся... А еще жених был другой. Пошел в магазин за хлебом и не вернулся... Еще жених был Константин, тот вообще... Я попросила его мусор вынести... Не вернулся.
- А ведро? — быстро спросил Кувшинников.
- Какое ведро? — не вернулась из грез Подотригора-Колдобина.
- Мусорное ведро хоть вернул? — посочувствовала судья.
- Нет, не вернул. Так с ним и ушел.
- Да, очень грустная история.
- Может, щас где-нибудь и ходит Константин ваш с этим мусорным ведром и о вас думает, — вздохнул Федор Попов.
- Нет, не думает, — печально сказала Колдобина-Подотригора, — он мне письмо прислал, что не думает.
- А ведро? — вспомнил Кувшинников.
- Про ведро он не написал.
- Скажите, а еще женихи у вас были? — поинтересовался Федор Попов.
- Ой, вы меня насквозь видите, — вздохнула Подотригора-Колдобина.
- В каком смысле?
- Подотригора-Колдобина сняла плащ, под которым оказалось свадебное платье:
- Видите, я на всякий случай ношу свадебное платье, так сказать, всегда готова замуж... И жених у меня Толик... Недавно поехал на велосипеде и...
- Не вернулся? — хором спросили все.
- А с ним ничего не случилось? — спросила судья.
- А что могло случиться? — вздохнула Колдобина-Подотригора.
- Да мало ли... Может, под машину попал?
- Об этом я не думала... — Подотригора утерла глаз кончиком свадебного платья, а потом неожиданно оживилась. — Но вы подарили мне надежду. Может, и тот, что в институт поехал поступать, тоже под машину? И тот, что за хлебом, а? И Константин?

— А у вас на этаже мусоропровод или на улице мусоросборник, куда надо носить? — опять полез уточнять Федор Попов.

Колдобина-Подотригора сразу поскучилась:

— На этаже... Нет, под машину он никак... А я так надеялась... Нет, все-таки я неудачница. Но спасибо вам, что заронили в меня искру надежды.

Но тут судья решила прекратить лирику и спросила Попова:

— Это ваш чемодан?

— Я свои чемоданы помню неточно.

— Но это тот самый чемодан, который вы помогли грузить в лифт?

— Я, знаете, больше на женщину смотрел, чем на чемодан, — засмутился Попов.

— Ну, чайники, — психанула судья, — просто какой-то наплыв, какой-то перебор чайников. Ну, не может быть их так много.

И опять заходила по залу суда, размышляя:

— Почему не может? Очень даже может. Ведь чайники составляют большую часть человечества. К чайникам можно отнести не только лохов и фраеров, но и дилетантов-любителей, и простодушных романтиков, и хронических неудачников, и даже утопистов... Боже мой, да чайники есть и среди китов, и среди мышей, и среди обезьян, и среди бабочек. Везде, где происходит общение... Что такое гадкий утенок? Это же будущий лебедь. Но это «последний человек» в том обществе, где живут утята. Мы знаем, как гоняют, кусают, шпыняют, клюют, топчут слабого, как отнимают крохи, что он имеет, как оттирают и презирают робкого. Природа жестока? Да. Природе слабые не нужны? Но зачем тогда слабым рождаться с такой упрямой регулярностью? Это что — ошибки, бракованные экземпляры? Но в природе ошибок нет. Природные чайники необязательно хилые, дефективные, неприспособленные. Бывает, что они попросту своеобразные... Против белой вороны яростно объединяется вся серая стая: лети прочь и попробуй выживи без нас!.. Выжить можно: белая ворона не слабее обычной, красивее и умнее. Но как оставить потомство? Вот если бы под стать себе еще и белого ворона встретить. Вот если бы все белые вороны объединились. Вот если бы объединились все чайники...

А тут лейтенант Кувшинников привел новую подозреваемую. Авдей Баклушин аж вздрогнул: Тюля?

— А это, будете смеяться, Алебастрова! — объявил он.

— Опять «она же»?

— Нет, но со словесным портретом совпадает, словно с нее срисовывали: глаза выразительные, губы сочные, подбородок нежный, щеки, шея!

— Откуда она у вас? — спросила судья.

— Мы устроили засаду в багажном отделении, а эта милочка явилась получать багаж. Получила два узла и была задержана.

— Что у вас в узлах? — поинтересовалась судья.

— Я не знаю, — тихо ответила Алебастрова-Выскребенцева, — меня попросили получить и привезти.

— Кто попросил?

— Я не знаю. Я в почтовом ящике обнаружила уведомление, что мне надлежит получить в багажном отделении два узла по прилагаемым квитанциям и отвезти их на дачу к гражданке Барыгиной.

— Ха, барыга — это же скупщик краденого по-блатному, — вспомнил Попов.

— Опять все сходится, — расплылся в довольной улыбке Кувшинников.

— А где у этой Барыгиной дача? — полюбопытствовала судья.

- Это знает только сопровождающая.
- Кто такая? — насторожился лейтенант.
- Она должна была подойти ко мне после получения узлов.
- Но не подошла! — крикнул Кувшинников.
- Да, потому что вы меня арестовали. Нас, получателей узлов и чемоданов, там было много, и все мы ждали сопровождающую с грузовиком.
- Во! — ахнул лейтенант Кувшинников. — Да у них там целый холдинг! Одни влезают в квартиры, другие выносят, третьи в камеру хранения сдают, четвертые получают, пятые в барьжную отвозят, шестые толкают по сходной цене, а кто-то всем этим управляет и денежки подсчитывает.
- Кто? — поинтересовалась судья.
- Если б я знал...
- А вы в самом деле Алебастрова? — с интересом спросила женщину судья.
- По стечению обстоятельств.
- У вас есть документы?
- У нее талончик в поликлинику на фамилию Алебастрова, — прояснил Кувшинников.
- Это ваша настоящая фамилия? — прищурилась судья.
- Нет. Просто знакомая медсестра, которая выдает листки в окошке, так написала. Может, по ошибке, может, кто не пришел, может, написала первое, что в голову пришло...
- Во! — снова воскликнул Кувшинников. — Чешу во все лопатки в поликлинику! Ниточка тянется туда, — и убежал.
- А я? — часто заморгала Алебастрова-Выскребенцева.
- Чешите и вы, — устало махнула рукой судья.
- Хорошенькое дельце! — возмутился Федор Попов-Баклушин. — Нас вы осуждаете, а ей предлагаете чесать?
- Чешите и вы, — бросила судья, — все свободны.

Сам собой образовался перерыв. Кто пошел покурить, кто поесть-попить, кто потреться.

- Вокруг Авдея Баклушина собрались все «преступницы»: Тюля, Нюня и Клёпа.
- Ну, как вам все это? — спросил Авдей.
 - Все по тексту, — ответила Клёпа, — а что ты хочешь? Сериал, он и есть сериал.
 - Значит, точно репетиция сериала? — насутился Баклушин.
 - Может быть, — ответила Нюня, — правда, режиссера не было видно.
 - А меня не оставляет одна мысль: не сериал это, а реал... Чемоданчик-то был уж очень тяжелый, — гнул свое Авдей.
 - Да, — согласилась Тюля, — реквизит таким не бывает... Предполагаешь, что там был тот самый жидкокристаллический телевизор?
 - Ото ж! — Авдей почему-то перешел на украинский язык.

Но все их мрачные мысли были перебиты появлением блестящего Опричнева. Его мобильник громко играл марш тореадора из оперы Бизе, а сам Опричнев, гламурный красавец, весь в белом, шикарно шел, звеня и подпрыгивая. Звеня золотыми цепями на шее, золотыми браслетами на руках и подпрыгивая на пружинивших, золотого цвета ботинках на высоких каблуках.

— Привет, красавцы! — крикнул он. — В суде объявляется перерыв на прием пицци внутрь. Все на шашлык к моим друзьям!

Шашлык уже был готов к приему внутрь. Дымок от углей, проходя сквозь мясные мускулы, наливался мясным ароматом и втягивался дрожащими ноздрями окружавших костер людей.

Жора Семенец был настоящий русский мужик. Он любил и поорать, и выпить. Обожал поорать караоке, потому что ни одного слова ни одной песни не помнил, а с караоке хорошо: ни памяти, ни слуха не надо.

Его гражданская жена Киля тоже любила поорать караоке, но пить любила только пиво. Была она крашеной блондинкой, обожала черную обтягивающую блузку и лосины, чтобы скрыть целлюлит, накапливающийся от лени и обжорства.

Жора гражданскую жену любил, но натуральной женой делать не спешил. Точнее, не хотел, потому что у Кили уже были нагулянный по залету Робертик пяти лет и дочка Катя от предыдущего брака с мастером по холодильным установкам.

Кате было уже шестнадцать, училась в девятом классе, имела паспорт и жила хоть и в семеновской квартире, но независимо: делала все время уроки, а караоке не любила.

Вот как раз сегодня Семенцы и отмечали пятый годок Робертику. Народу собралось со всей Карломарловки: Шурик Свисток, организовавший автостоянку возле рынка, то есть за сто рублей с каждого приглядывал за порядком, который и без сотни никто не собирался нарушать; Хачик Шампур, готовивший на рынке шашлыки из бывшего мяса на чистом уксусном растворе; Борик Фимоз, прозванный так за поставленный ему диагноз ФГМ (фимоз головного мозга с симптомами агрессивности и снижения мыслительной способности). Еще была Соня Шифоньер, шмара Шурика, работавшая, по ее словам, в органах. В каких органах, Соня не уточняла, но ее и не спрашивали.

— Где тазик с «Оливье»? — спросил Жора, внося вязанку пивных двухлитровок.

— О, пивас пришел! — обрадовалась Соня.

— А подкрепление? — нахмурился Шурик.

Жора вытащил из кармана четвертинку.

— Ты шо? — обиделся Шурик. — Это же слону дробина.

На что Жора стал неторопливо и молча доставать из разных карманчиков, которых на его комбинезоне было не сосчитать, еще четвертинки.

— ...Семнадцать, восемнадцать! — закончил он подсчет «дробин» и объяснил: — Поллитровок не было, а «сабонис» был один, но что нам литр?

— Другое дело, — одобрил количество Шурик, — а то еще Опричнев обещал своих дружков привести.

— К празднованию дня рождения Робертика можно приступать и не дожидаясь прихода, — сказала Киля.

— За наше счастливое детство! — тут же откликнулся Борик Фимоз.

— Когда детям хорошо, то и нам хорошо, — поднял четвертинку Жора Семенец, — их детство — это наше счастье, — долил в каждую кружку пива из четвертинки и поднял свою, — поехали!

— Э-э, — остановила его Киля, — своего гимнаста не забудь обмыть.

— Правильно, — согласился Жора, достал из кармана большой крест, окунул его в кружку и повесил к себе на шею, — класс, а? Это мне наш городской минигарх Гарик подарил.

— За что? — высунулся Борик-фимоз.

— Я ему блатной номер для машины устроил — три семерки.

— Ну, теперь ты будешь заповеди соблюдать, — позавидовал Хачик, — сколько их там?

— Три семерки — значит семь, — догадался Фимоз.

- А как ты ему такой номер сделала? — поинтересовалась Соня.
- А у меня в ГАИ все схвачено, — похвастался Жора с чувством собственной важности.
- Ой, — вспомнила Киля, — а я письмо счастья получила.
- От кого? — спросил Фимоз. — От ГАИ?
- ГАИ писем счастья не пишет, — отмахнулась Киля, — это от одного доктора наук. Требуется, чтобы я таких же сто писем отправила, тогда ко мне придет счастье.
- Разве так бывает? — не поверил Хачик.
- А что такое счастье? — важно спросил Жора. — Это, во-первых, благосостояние. Чтобы было не хуже, чем у других. Чтобы сытно, чтобы квартира, чтобы машина. Но чтобы было все просто, без излишков, без этих мозговых извилин.
- Слова тоста перебил звонок от входной двери во двор.
- Кого несет? — крикнула Киля.
- Ты что? — осадил гражданскую жену гражданский муж. — Вдруг это Опричнев?
- К вам можно? — появился пацан лет двадцати в кедах, бейсболке и майке с надписью.
- А ты кто? — поинтересовался Жора.
- Я Фаня от Толика.
- Что за Толик?
- Есть такой пацан с Кольцовки, торгует кое-чем.
- А, — вспомнил Жора, — это гопник с Кольцовки, торгует палеными дисками.
- А кто такой гопник? — спросил Фимоз.
- Гражданин опасного поведения, — объяснил Жора, — а че он тебя прислал?
- Говорит, у тебя есть нотариус, который может оформить наследство без документов.
- Кто говорит?
- Толик сказал.
- А откуда он?
- Ну, Георгий Семеныч, мир велик, — ушел от прямого ответа Фаня.
- Я Семенец, а не Семеныч... — сразу стал остывать Жора. — Меня в честь папы назвали, так что я Георгий Георгиевич, дважды Георгий, — опять стал наливаясь важностью Жора.
- Или Жора Жорыч, — неожиданно ляпнул Фимоз.
- Все рассмеялись.
- Нотариус у меня есть, — неторопливо начал Георгий Георгиевич, — у меня все есть. Я с любыми звездами вась-вась. У меня даже награды есть: орден знакомства с Кобзоном третьей степени и медаль знакомства с Пугачевой второй степени... Но нотариус тебе обойдется недешево.
- Это не мне, а Толику.
- Вот ему мой телефончик сотовый, — Жора протянул визитку, — пусть позвонит, о цене потолкуем.
- Фаня взял визитку и ушел.
- Мне этот Фаня не понравился, — неожиданно заявила Киля, — это не наш человек.
- А че не наш? — не понял Хачик. — Гопники очень социально близки нам.
- Очень уж интеллигентно вошел... «К вам можно?»... Жорку по отчеству назвал... Не нравится мне все это. Есть какая-то противная эстетичность.
- Килька, ты выегиваешься, — сказал гражданский муж.
- Я подозреваю, что он к Катке приходил, а не к тебе.
- А че за нотариуса интересовался?
- Значит, все продумал заранее.

Тут со стороны ворот послышался крик:

— Эй, пацаны!

— Опричник, вали сюда! — сразу заорал в ответ Жора.

— Здорово, реальные пацанчики! — откликнулся Опричнев. — Смотрите, каких я вам самок привел!

И впустил вперед себя в калитку Тюлю, Нюню и Клёпу.

— Ты что, очумел нас так называть? — обиделась Клёпа.

— Девочки, мои друзья — чистые жлобы, — пояснил Опричнев, — они другой язык и не понимают.

— Зачем ты нас знакомишь со жлобами? — остановилась Тюля.

— Девочки, вам надо знать окружающий вас мир, — продолжал пижонить Опричнев, — а мой друг Жора Семенец — это настоящий русский мужик. Уважение к традициям — это у него в крови. Тазик «Оливье» на любой праздник, сто грамм после бани — это святое. Иначе он не будет знать, как жить...

Тут все уже подошли к шашлыку.

— Здорово, Жора! — полез обниматься Опричнев. — Знакомься, наши деффки: Клёпа, Нюня и Тюля.

— О, Тюля, — обрадовалась Киля, — мы с тобой как две сестры: ты Тюля, я Киля, ты Тюлька, а я Килька.

Все рассмеялись.

— Прошу всех к столу.

Поначалу общение не клеилось. Но после того, как Жора Семенец объяснил, ради чего собрались, и предложил тост за пятилетие ребенка, все оттаяли.

Шашлык оказался прекрасным, пиво — пенистым, а когда Шурик Свисток сбежал к машине, принес мониторчик и включил караоке, все гости и не заметили, как стали петь вместе.

С одесского кичмана
Сбежали два уркана
Сбежали два уркана ды на волю.
В одесской малине
Оне остановились,
Оне остановились отдохнуть.
Товарищ, товарищ,
Болять мои раны,
Болять мои раны в глыбоке.
Одна заживает,
Другая нарывает,
А третья открылася в боке.
Товарищ Скумбриевич,
Скажи ты моей мамы,
Что сын ее погибнул на poste.
С винтовкою в рукою
И с шашкою в другою
И с песнею веселой на губе.
Ой, чую, очень скоро
Мене тут закопають,
И жить мене придется не дыша.
И что я, зря, что ль, грабил?

Напрасно убивал, что ль?
Жизнь мимо, что ль, впустую, что ль, прошла?
Но мамы про грабежку
Не говори ни слова,
Не говори, что Сема уркаган.
Пусть думает, что Сема
Как был хороший мальчик,
Ей передай вот этот вот наган.
На нем благодарность
Сам написал Жердинский,
Фамилья там была — я ее стер.
Вчера под Вапняркой
С него меня подбили,
А я у комиссара его спер.
Товарищ Скумбриевич,
Скажи ты моей мамы,
Что сын ее погибнул на poste...

Расходились поздно.

— Все-таки, Опричник, привел ты нас не по адресу, — пожурила Клёпа.

— Не сечете вы, девочки, не сечете, — победительно оправдывался Опричнев, — жлобы сегодня составляют основную и немаловажную для власти часть населения. Это же те, кого называли раньше обывателями, мешанами. Нормальные городские жители, правда, с некоторой интеллектуальной убогостью, самодовольством и отсутствием собственной точки зрения. Это же и электорат, и пушечное мясо, и паства, это же и средний класс. Я их, правда, называю жлобывателями. А можно называть и стадобывателями, и жлобыдлоидами. А новый русский — это вам не жлобыватель? В новом русском все должно быть прекрасным и новым: и лицо, и мобильный, и тачка, и контрольный выстрел. Я вот ни от кого не скрываю, что я новый русский. Да, сегодня жлобыватель уже не оборванец, не быдло, не люмпен, сегодня жлоб — в гламуре, в образованщине, в обучаловщине, в знании жизни. Сегодня все мы настоящие русские мужики... Появились жлобыватели нового поколения, обожающие Интернет, где у них появился свой жлобывательский язык: превед, ылитные аффтарты, журнализды, футболизды, юмар, тель-авизор, ынтеллигент. Они думают, что, заменяя одну-две буквы, они проявляют остроумие. На их языке это называется лузлы... И привел я вас правильно, по адресу, чтобы вы лучше знали окружающую жизнь.

— Да на фиг нам знать такую окружающую жизнь?

— Милочки, от них же зависит рейтинг телевидения! Или того, что они называют зомбоящик.

А на следующий день продолжился суд.

— Ну вот, наконец-то! — воскликнул Кувшинников, вводя в зал суда новую женщину с чемоданом.

Баклушин напряг зрение, кто бы это из знакомых, но женщина была незнакомой.

— Это ваш чемодан? — сразу спросила судья у Верунчика Поповой.

— Видите, пришита нашлепка? — рассмеялся Кувшинников. — А на ней надпись «Попова». Вам этого мало?

— Это не наш чемодан, — покачала головой Верунчик.

— Но надпись! — уже вскричал Кувшинников. — Вот же! Попова!

- Моя фамилия Пóпова, — тихо произнесла Верунчик.
- На чемоданах ударение не так важно, — продолжал напирать Кувшинников.
- А почему у вас такое странное ударение? — любопытствовала судья.
- Это моя девичья фамилия.
- Вы разве не поменяли фамилию при замужестве?
- У моего мужа фамилия тоже оказалась с ударением на первом слоге. Сначала я хотела взять двойную фамилию, но представляете, как неприлично она звучала бы при наших ударениях... И тогда я решила при замужестве поменять не фамилию, а ударение. Теперь я Попóва, но это не мой чемодан.
- Откуда он у вас? — спросила судья у Кувшинникова.
- Я дежурил возле камеры хранения с целью обнаружения сопровождающей, которая должна была отвезти украденные вещи на дачу Барыгиной. Сопровождающую мне схватить не удалось, она позорно бежала и скрылась в толпе, но чемодан захватить удалось.
- А эта женщина кто?
- Она из камеры хранения.
- Но она-то при чем?
- О! — напомнил Кувшинников. — Вы забыли, что у них там целый холдинг? И каждая женщина всегда при чем-то.
- Но при чем?
- Это выясняется. Но самое смешное — у нее фамилия...
- Постойте, я угадаю, как ее фамилия, — приостановила Кувшинникова судья, — ваша фамилия Хабибулина?
- Да, Хабибулина, — призналась женщина.
- У вас документы какие-нибудь с собой есть?
- Нет.
- А как вы докажете, что вы Хабибулина?
- А чего мне доказывать? У меня презумпция! Это вы доказывайте.
- Очень мило, — загрустила судья, — у одной талончик к врачу в качестве документа, другая — неудачница в свадебном платье с мусорным ведром, третья — вообще пришей кобыле хвост... А фамилии у всех — как у нас в суде. Кацынская — это секретарь суда, Подотригора — адвокат, Попова — прокурор...
- Постойте, — закричал Кувшинников судье, — я угадаю вашу фамилию! Ваша фамилия — Хабибулина!
- Нет, Хабибулина — это из управления юстиции, — махнула рукой судья, — а моя фамилия — Алебастрова.
- Батюшки! — всплеснул руками Попов-Баклушин. — Это же кто-то хочет вас подставить! Кто-то работает под вас!

А Нюня Оскоминая тут же помчалась в редакцию, чтобы на следующий день газета «Мир на ушах» вышла с очередной сенсационной обложкой «Суд в полном составе идет под суд».

Но самое потрясающее событие произошло в субботу, когда на экранах телевизоров в передаче «Максимальные сенсации» показали задержание ограбленных Поповых и суд над Кацынской, Подотригорой и Алебастровой.

- Ой, это же мы! — ахнула Клёпа Колдобина.
- Мы думали, это репетиция, — опечалилась Тюля, — а они, оказывается, нас снимали.

- Скрытыми камерами! — догадался Авдей.
- Но как неудобно, — завершала Тюля, — меня теперь будут все принимать за эту преступницу.
- А меня что, не будут? — сказала Клёпа.
- Девки, не трухайте, — поддержала подруг третья преступница — Нюня, — эту муру по телику никто не смотрит. Только домашние хозяйки, а мы с ними нигде не пересекаемся. Лучше покупайте свежий номер «Мира на ушах». Там ни одной нашей фотографии, а фамилии все названы. Но фамилии-то не наши, а все эти Кацынские-Подотригоры-Алебастровы. Так что не трухайте.
- Нет, а мне нравится эта наглость нашего Ньюрова, — стал заводиться Авдей, — это всего лишь репетиция, контракт потом, а деньги опять мимо нас?
- Нас надули, — на глазах Тюлечки появились слезы.
- Надо бороться, — твердо заявила Клёпа, — Баклушин — ты из нас единственный мужчина, тебе и карты в зубы... Придумывай наш план мести.
- Какой мести? — не усек Авдей.
- Ясно, что кровавой.
- Спокойно, девчонки, — осадила всех Нюня, — никакой мести, никакой поножовщины. Нам надо во всем этом серьезно разобраться.
- В чем разбираться-то? — перебила Клёпа.
- Что за фирма, которая наобещала вам в три короба, почему она нанимает на высокооплачиваемую работу временно безработных, а работы им не дает, да еще и денег не платит?
- Но кто нам все это скажет? Они же все воды в рот набрали. Я уж сколько раз подъезжал к Ньюрову, он всегда дает уклончивый ответ.
- Мы должны сами все это раскопать, — холодно сказала Нюня.
- Но как? С чего мы начнем конкретно?
- У меня есть одна зацепочка. Я оформлю тебя корреспондентом газеты «Мир на ушах», и ты пойдешь в комиссию по похоронным делам.
- Чего? — сразу надулся Баклушин. — По каким еще похоронным делам?
- Пришла к нам в редакцию одна бумага, ко мне попала нечаянно — кто-то перепутал... Я пробежала на всякий случай глазами — обыкновенная ерунда, но где-то мелькнула фамилия Микстура.
- Правильно, — откликнулся Авдей, — он же погиб, он и должен быть там.
- Ты что? — вскинулась Клёпа. — Ты что, родинку забыл? В морге же был не он.
- А, — вспомнил Баклушин.
- Вот и выяснишь, — скомандовала Нюня, — он это или не он? Может, брат его, может, однофамилец, хотя фамилия довольно редкая даже для грузин.

Авдей Баклушин остановился перед дверью с табличкой «Комиссия по похоронам» и постучал.

- Входите, открыто.
- Простите, это здесь хоронят? — вошел Авдей.
- Мой офис что, похож на кладбище? — насупил человек за столом.
- Вы, как я полагаю, председатель комиссии?
- Я и председатель, я и комиссия — у меня печать. Зовут меня Трусевич, а вас?
- Я корреспондент газеты «Мир на ушах» Баклушин.
- Что привело вас ко мне?
- Вы хороните за последние полгода уже третьего поэта... — начал Авдей, заметив на стене портрет в траурной рамке и с лавровым венком, небрежно накинутом на рамку.

— Если бы просто поэта, — перебил его Трусевич, — а то все поэты из плеяды, все выдающиеся, все генетический фонд нашей поэзии.

— Скорбите, видимо? — подыграл корреспондент.

— Не то слово. Сердце кровью обливается... А уж объем торжеств просто ошеломляет.

— Объем торжеств? — не совсем понял Авдей. — Вы имеете в виду масштаб, видимо?

— Я имею в виду объем... Открытие барельефа на доме, где он жил...

— А где он жил?

— Вам-то зачем?

— Хотелось бы со вдовой побеседовать. Нам для газеты нужны живые факты.

— Боюсь, что насчет живых фактов вы не по адресу... Погиб поэт...

— Как погиб? Мне сказали, что скончался... Правда, при невыясненных обстоятельствах.

— Нет, погиб, погиб поэт, невольник чести... Простите за цитату.

— Но как он погиб? наших читателей это будет очень интересовать. Письмами завалят. Расскажите, вы же знаете.

— Ничего я не знаю.

— В автомобильной аварии?

— У него не было автомобиля.

— Бандиты напали?

— Что с него взять?

— Ну, все-таки поэт из плеяды... Что было написано в медицинском заключении о смерти?

— Я этого не помню. Мне не обязательно это знать. В мои обязанности входят только церемонии...

— Типа похоронной процессии на артиллерийском лафете, замуровывания в какую-нибудь важную стену, бальзамирования, — зачастил корреспондент.

— Эка вы загнули... Журналист чувствует... С бальзамированием, а следовательно, с мавзолеем — это вы меня насмешили... Хотя похороны веселыми не бывают.

— Хорошо, церемониалы, — согласился корреспондент и раскрыл блокнот для записей.

— Открытие барельефа...

— Это вы уже говорили, это я уже записал... Еще?

— Дадим его имя пароходу...

— О, будет, как у Маяковского «Нетте — пароход и человек».

— Его имя Нулин, — холодно сказал Трусевич.

— Это не псевдоним?

— Псевдоним, — кивнул Трусевич, — но приваривать по букве к борту парохода его настоящую фамилию будет накладно.

— А какая его настоящая фамилия?

— Христопродавченко.

— Да, это долго приваривать.

— Вопрос в другом: можно войти в бессмертие с такой фамилией? Такая фамилия и на город не тянет. Представьте себе: Христопродавченская область, город Христопродавченко-на-Амуре... Это ужасно. А Нулин — совсем другое дело: Нулин-Областной, Нулин-на-Волге, Нулин-на-Дону, Нулин-на-Оби. Звучит красиво.

— Что, и город должны переименовать?

— Обойдемся только пароходом.

- Что еще? Фонд Нулина с ежегодной премией? Или именная стипендия? Раньше были Сталинские стипендии, Ломоносовские, а теперь Нулинские — хорошо!
- Предполагается митинг, — остудил энтузиазм корреспондента председатель похоронной комиссии.
- Нулинский митинг! Красиво... Кто выступит на митинге? Кто-нибудь из известных критиков?
- Нет, нет, никаких критиков. О покойниках плохого не говорят.
- Стихи будут читать? Тоже хорошо... Подскажите мне какую-нибудь строчку из Нулина. Мне на память ни одна не приходит.
- Это только говорит о вашей недостаточной культуре.
- Ой, неужели я что-то проморгал? Что он написал? Гимн вроде не он, поэм тоже не помню...
- Пусть вам будет стыдно.
- Мне и так стыдно. Придется идти ко вдове, дайте мне адресок...

У вдовы зеркала были занавешены черным, на столе стояли цветы.

- Простите, я из газеты, — робко сказал Баклушин.
- Это хорошо, хоть что-то живое, — вздохнула вдова, — я устала от этих перелицованных пароходов...
- Перелицованных?
- Бывший «Матрос Железняк» стал теперь «Поэт Нулин». Но эта дурацкая комиссия по похоронам и тут не доглядела: имя «Нулин» на носу и корме сверкает, а про спасательные круги забыли.
- Склеротики.
- Склеротик в единственном числе. Этот председатель Трусевич не мог вспомнить для речи на похоронах ни одной строчки из Гриши.
- Но, может быть, вы как близкий ему человек назовете одну, самую, с вашей точки зрения, удачную строчку из Гриши?
- Да, из стихов, посвященных мне... Я тогда еще училась, а он за мной ухаживал. — Вдова закатила глазки и стала читать стихи:

Я давно тебя взял на заметку,
А недавно столкнулся с тобой...

- Стокнулся, — со вкусом повторил Авдей.

Саданул поцелуй на лестничной клетке, — прочла вдова с яростью, —
И аукнулся в клетке грудной.
Как обдаст меня лютой любовью...

- Лютой, — продолжал млеть от поэзии Баклушин.

Как обхватит чувством до пят!
И всю ночь у меня в изголовье
Нераскрытым лежал сопромат.
Я не мог заниматься наукой,
Я дымился свиданьем томим...

- Дымился, — как эхо, повторил с наслаждением Авдей.

А под утро увидел: под руку
Беспощадно пошла ты с другим.

- Беспощадно, — зашелся от восторга корреспондент.
- Концовка мне особенно нравилась, — нежно сказала вдова, —

Пусть буду гол, пусть буду бос
И пусть в желудке пусто.
Я корь и свинку перенес,
Перенесу и чувство.

- Да, это что-то, — оценил Баклушин.
- Правда, запоминается?
- Прямо-таки в душу западает.
- А ведь все это написано здесь. Вот в этом кресле он творил. Хотя, если честно, он творил и на этом стуле. Стульев, на которых он творил, вообще-то было двенадцать, но десять пришлось продать.
- Как реликвии? — выдохнул корреспондент.
- Еще как реликвию мы продали дачу.
- Эх, — хлопнул себя по ляжке корреспондент, — а ведь там можно было устроить дом-музей, как в Переделкине!
- Григорий говорил, — выпустила слезу вдова, — голым пришел я в этот мир, голым и уйду.
- А, из поэтических соображений... — догадался Авдей.
- Мне предложили выступить по телевидению с воспоминаниями о моем муже-поэте, но я совсем не знаю, о чем вспоминать. Какая-то сущая ерунда только в голову лезет.
- Расскажите лучше, как он погиб, — попросил Баклушин.
- Вам лучше обратиться в тюрьму, — неожиданно посоветовала вдова.
- В тюрьму? — удивился Авдей. — Он разве сидел в тюрьме?
- Если бы только сидел. Он там жил.
- Для наших читателей это будет удар, — корреспондент был озадачен, — впрочем, для меня тоже... Но где, где он сидел, в какой тюрьме?
- Я вам дам адресок, — вдова что-то написала на клочке бумаги, — там у него друг сидит.

В казенной приемной тюрьмы Баклушин прождал недолго. Минут через пять приехали друга Нулина.

- Вы от кого будете? — настороженно спросил друг.
- Я от вдовы, — ответил Авдей и протянул записку.
- Ага, — проверил записку друг, — значит, свой человек. Тоже хотите к нам в тюрьму?
- К вам в тюрьму? — удивился Баклушин.
- Что, не похоже на тюрьму? — улыбнулся друг. — Да, здесь у каждого свой кабинет...
- Вы хотели сказать «камера»?
- У нас есть один ученый, говорят, гениальный — так у него даже обсерватория.
- Обсерватория?
- Он рассчитывает полеты к Марсу, Венере...
- Но почему он делает это в тюрьме?

- Выпивает... — грустно развел руками друг.
- Но, насколько я знаю, алкоголь в тюрьму пронести невозможно.
- Я же сказал вам: гений... Он добывает его в своей обсерватории.
- Из чего?
- Из темной материи межзвездного пространства, — пошутил друг, — а сам он говорит: стоит мне рассказать из чего — мне сразу же дадут Нобелевскую премию.
- А он? — Авдей покрутил пальцем возле виска.
- Но пьет же! Каждый день! — друг доказательно стукнул кулаком по столу. — У нас нынче многие кажутся сумасшедшими, но в тюрьме сидят исключительно нормальные люди.
- Да, да, — согласился Баклушин, — кабинеты, обсерватории...
- Вот у меня студия, — добавил друг.
- Студия? А вы что, кинорежиссер?
- Я художник.
- Вы прямо здесь рисуете?
- Рисуют дети, а художники пишут.
- Простите, а что вы пишете? Портреты, натюрморты, пейзажи?
- Какие тут у нас пейзажи? — хмыкнул друг. — Я пишу идеи.
- Идеи? — обалдел Авдей. — Какие идеи?
- Глубокие, — солидно ответил друг.
- Расскажите о вашей последней работе, — таким же солидным тоном попросил Авдей.
- «Самоубийство через распятие».
- Но как это понять? — сразу забеспокоился Баклушин. — Как это возможно — через распятие? Как гвозди прибивать? Ну, одну руку еще как ни шло, ну, ноги, а одна рука все равно останется неприбитой.
- Вы на себе-то не показывайте, — охладил пыл Баклушина друг Нулина.
- Но получается, как бы неполное распятие. Это загадка.
- Именно! — обрадовался друг. — Именно загадка! Именно в этом смысл картины! Люди по часу стоят у картины, пытаюсь разгадать!.. Приходите ко мне на посмертную выставку, убедитесь сами.
- На посмертную?
- А, как вы полагаете, кто в моей картине герой? Кто распят? Христос? Но это банально. Христос распят на всех крестах... А у меня, — друг сладостно улыбнулся, — у меня — это я. На кресте — мой автопортрет.
- Но почему?
- Я очень хорошо пишу именно автопортреты, — солидно произнес друг.
- Вы интересный человек, — дал свою оценку Баклушин.
- Очень интересный, — согласился друг, — я иногда даже сам себе удивляюсь. Сам себя не понимаю порой... Даже на моем классическом «самоубийстве через распятие» автопортрет гениальный, а крест сзади — ну, халтура и халтура... Зато после моей смерти художественным критикам предстоит работенка.
- После вашей смерти? — не понял Баклушин. — Ну, судя по вашему здоровому виду, им придется долго ждать.
- Тут дело не в здоровом виде, от здоровья тут ничего не зависит, — неопределенно произнес художник.
- А от чего зависит?
- Художник задумался. Видимо, не знал, говорить или не говорить все малознакомому человеку, пусть даже и с листочком от вдовы Нулина:

— Слушайте, если вы тоже хотите к нам в тюрьму, вам лучше узнать все у самого хозяина тюрьмы.

— У хозяина? — застыл Баклушин.

— А вы что думали, такую тюрьму можно содержать за государственный счет?

Пришлось Баклушину идти к хозяину тюрьмы. Он сидел за обеденным столом и старательно ел.

— Приятного аппетита, — поприветствовал его Авдей.

— Вы от кого будете? — хозяин отложил ложку.

— От вдовы поэта Нулина, — Баклушин протянул записку.

— Тоже по поэтической части?

— Нет, я наоборот, — замешкался Баклушин, не зная, что отвечать.

— Что значит наоборот? Критик, что ли?

— Да нет, не критик, — стал импровизировать Авдей, — я, в общем-то, клоун.

— Как ваша фамилия? — сразу подобрался хозяин.

— Баклушин.

— Не слышал. Но предполагаю, что выступаете под псевдонимом. Что-то вроде Бим, Бом, Бенц или Баклуша... А что? Бить баклуши. Запоминается легко... Ну что же, клоунов у нас еще не было... Вам, как я понимаю, тоже хотелось бы в камеру смертников?

— Смертников? Но сейчас, кажется, смертная казнь запрещена.

— Официально запрещена, но выбор самого человека... Сейчас ведь у нас свобода, свободный выбор...

— Нет, но выбирать смерть — это как-то... Расскажите, как бы это сказать, потолковее.

— Потолковее, ха... Сразу чувствуется клоунская закваска, так сказать, клоунский глаз... Ну что ж, расскажу потолковее. Мое частное предприятие называется «Баловни судьбы». В него входит танцлагерь за колючей проволокой, тюрьма строгого режима с камерой бессмертников...

— Бессмертников? — удивился Авдей. — Вы не оговорились?

— Официально она называется камерой смертников, но по сути — это камера бессмертников... Да, у нас в хозяйстве много услуг, но камера смертников пользуется особой популярностью.

— Даже популярностью? Давайте дальше. Детали, так сказать.

— У вас есть машина, дача, жилье?

— Разумеется.

— В заграничных цирках часто выступаете?

— Н-не без этого.

— Чтобы поступить в камеру бессмертников, вам придется все ваше богатство продать.

— Все?

— Не хотите — живите простым клоуном.

— А если продам? — спросил Авдей после паузы.

— Станете выдающимся, станете великим, станете гениальным!

— Ой, какие перспективы у смертников, оказывается...

— Это только у нас!.. Но конкурс в камеру смертников большой — десять человек на место.

Баклушин вскочил и стал ходить. Чувствовалось, что он очень взволнован.

— А чего это вы так разволновались? — спросил хозяин тюрьмы.

— А то, что нет у меня никакого преступления... Как я к вам попасть-то смогу? Да еще в камеру смертников.

— Не беспокойтесь, — остановил Авдея хозяин, — у нас с судом, так сказать, совместное предприятие. Так сказать, частное ателье, где любому гражданину сошьют любое дело. Будет сидеть, как влитое. Будто специально на вас пошили... Правда, за все это придется платить.

— Ну, это естественно. Мы живем в такое время, когда за все надо платить... Ой, скажите, а нельзя ли побывать в вашей камере смертников? Так сказать, на правах туриста — как, допустим, американец Тито в нашем космосе?

— Понимаете, если вы хотите минуты славы, то можете заглянуть туда через щелочку, но если вы хотите большой славы, так сказать, бессмертной, то надо садиться основательно.

— А продажа машины, дачи, жилья?

— Оставьте доверенность. Или поручите продать все это, допустим, мне.

— Но если у меня ничего, ничегошеньки не будет, — дрожащим голосом произнес Баклушин, — я окажусь на дне...

Так Авдей Баклушин и оказался на дне. То есть в большом казенном помещении, где за большим столом сидели красиво оборванные люди.

— Сегодня мы присутствуем на дне, — красиво сказал высокий человек по фамилии Сатин, — на дне рождения. Помните, кто-то из великих сказал: день похорон станет днем рождения. Вот сегодня умер некто, никому не известный Христопродавченко, зато родился замечательный поэт Нулин.

— Просто замечательный? — возразил небольшой человечек по фамилии Лукин. — А не выдающийся ли?

— Хорошо, — согласился Сатин, — умер маленький человек Христопродавченко, а родился большой поэт Нулин!.. Так устроит?

— Звучит, — кивнул Лукин.

— Человек — это вообще звучит... — наваристым баритоном сказал Сатин, — как там звучит, не помните?.. Гордо, кажется?

— Гордый человек — звучит гордо, — подтвердил Лукин, — красивый человек — звучит красиво, а большой человек — звучит большó.

— Нет, на слух — это не очень, — замахал ладошками человек по фамилии Актеров, — великий человек — звучит велико. Выдающийся человек — звучит выдающе. Известный человек — звучит известно. Это все плохо, это все не так.

— Как ни крути, как ни вихляй, — запел соглашательски Лукин, — а человеком родился, человеком и помрешь.

— Важно умереть не просто человеком, а великим человеком, — раскатисто сказал Актеров, но тут же снизил тон: — Ну, выдающимся хотя бы... ну, ладно, известным... Как там обычно пишут в некрологах?

— Когда я умру, — размышлял человек по фамилии Барометров, — про меня скажут: гениальный ум, растроченный на пустыки... Красиво.

— Смотря, чем этот ум занимался, — наконец-то, влез в разговор Баклушин.

— Этот ум занимался математикой.

— Теорией относительности, что ли?

— Теорией относительности занимался Альберт Эйнштейн, место занято, а я занимался... занимаюсь теорией ошибательности.

— А что это за теория? — продолжал втискивание в разговор Баклушин.

— Вам не понять, а я уже на пороге открытия.

- А почему только на пороге?
- Тебе же сказали: гениальный ум, растроченный на пустяки.
- А на какие пустяки, интересно?
- Заседания ученых советов, научные командировки... Отсюда и нехватка времени на большие открытия. И все-таки я войду в историю как корифей по открыванию тупиковых путей.
- Тупиковых? — не понял Баклушин.
- Я открываю пути, какими не надо идти. На всех моих путях висит «кирпич».
- А что же в этом корифейского? — продолжал не понимать Авдей.
- Зато каждый оставшийся путь — светлый. В каждом — свет в конце тоннеля.

И благодарная публика...

— Я благодарную публику очень люблю, — сказал Актеров, — я, когда играл в театре, театр трещал и шатался от восторгов благодарной публики.

— Вы разве играли в театре? — Баклушин с недоверием оглядел оборванного человека.

— Я родился в театре, — важно произнес Актеров.

— А если вы хотите умереть в театре, придите и умрите в нем, — вспомнил цитату из Белинского Сатин.

— Да, я хотел бы умереть в театре, — размечтался Актеров, — прямо на сцене, прямо во время действия. Лучше во время второго акта... Когда публика уже собралась расходиться... Внезапно! Под овации!

— Нет, в театре лучше помирать во время антракта, — возразил Лукин, — люди только в буфет расслабляются, а тут третий звонок — приглашают на похороны.

— Помолчите, — отмахнулся Актеров, — что вы знаете о театре?.. Меня станут вспоминать потом: бедный Йорик... Настолько бедный, что от него один только череп остался.

— Один череп? — вздрогнул Лукин. — Боже, и это всех нас ждет.

— А от меня останется нога, а не череп, — втиснулся в разговор футболист Золотоногин, — нога со смертельным ударом! С красной повязкой — мол, опасность, мол, берегись.

— А у меня посмертная слава еще не до конца продумана, — вздохнул Лукин.

— Не может быть, чтобы великий ваятель, великий скульптор не оставил после себя вечных памятников, — не поверил Сатин.

— К сожалению, я всю жизнь ваял свои скульптуры... из шоколада на фабрике «Красный Октябрь», а они не вечны.

— Да, шоколад преходящ... — поддержал разговор человек с фамилией Кулак. — Кстати, не напомните мне, кто меня вчера бил? — и нежно потрогал шишку на голове.

— А вам не все равно?

— Конечно, нет. Я же боксер чистых кровей. С большим рейтингом.

— А что, таких не бьют?

— Во всяком случае, трезвых не бьют.

— С этого и надо было начинать, — строго произнес Сатин и поднялся, — главная тема жизни: трезвость и рейтинг... Ведь что такое человек? Это не ты, не я, не они — нет! — это ты, я, они, актер, Наполеон, Магомет — в одном! Понимаешь? Это — огромное! В этом — все начала и концы. Все в человеке, все для человека! И каждый человек хочет умереть великим! Необходимым, нужным, важным... Хочется хоть напоследок потешить тщеславие. Сегодня мы на дне. На дне жизни. Перед самым уходом в другое существование. Но сегодня мы и на дне рождения великого поэта Гриши Нулина. Пройдет немного времени, и мы соберемся еще на чей-нибудь день рождения. Когда следующему из нас приговор будет приведен в исполнение.

- Приговор? — вдруг испугался Баклушин. — Ах да, это же камера смертников...
- Мы бессмертники! — с пафосом крикнул Сатин.
- Я огорчу вас, — тихо проговорил Лукин, — я слышал, как наш тюремщик говорил по телефону... У нас сегодня нет палача. Палач умер от пустяка — от насморка какого-то свиного или птичьего.
- А что, не могли найти какой-нибудь микстуры? — ввернул наконец свое кодовое слово Авдей, надеясь получить какой-то отклик.
- От свиного гриппа нет микстуры, — печально отмахнулся Сатин, — кстати, вы помните этого красавца грузина?
- Микстура — хороший был человек, — покачал головой Актеров.
- Вы его знали?
- Мы с ним дружили.
- Еще вчера его отправили туда, откуда не возвращаются, — вздохнул Лукин.
- Вчера? — заморгал Баклушин. — Еще вчера он был здесь?
- Да, а теперь он в парарпространстве, в парасуществовании...
- А что такое пара? — осторожно спросил Авдей.
- По-научному это «около», а по-нашему Парагвай...
- «Ух, — подумал Баклушин, — получена информация. Надо срочно сообщить нашим».
- Вы не подскажите, где тут дверь? — спросил он у Сатина.
- А зачем тебе?
- Выйти.
- Мил человек, отсюда выхода нет...

Возле «фирмы» Опричнев встретил Выскребенцеву.

- Тюлечка! — закричал он. — Сколько лет, сколько зим? А где все ваши? Где ваш дружок Авдей?
- Он на задании, — ушла от ответа Тюля.
- На каком еще задании? — не поверил Опричнев. — Вот я на задании, так это да. Меня телевидение назначило изучать рейтинг. Вы не хотите составить мне компанию?
- Что, тоже изучать рейтинг?
- Да, станете подсказывать мне, какие телепередачи, на ваш вкус, хорошие, а какие — не очень.
- Интересно, — согласилась Тюля, — хорошо, я составлю вам компанию.

Но когда Опричнев привел ее снова к Жоре Семенцу, Тюля попыталась отвертеться:

- Ой, не хочу я к этим...
- Тюленька, а изучение рейтинга? Это же типичные граждане, на которых нам надо ориентироваться.
- Вы же сами называли их жлобывателями.
- Мало ли как я их называл?.. Это просто во мне говорило ЧСВ.
- А что такое ЧСВ?
- Чувство собственной важности... Мне просто казалось, что я выше их, вот я их и унижал до жлобывателей, жлобыдла... Но это они, поймите, сегодня определяют звезд телевидения! Это они получают удовольствие не от голоса, а от рта певца, от ног ледникового периода. Это они обожают реалити-шоу с поеданием червяков на необитаемом острове, это они обожают наблюдать, как готовят нямку с маянезиком, это они обожают лечение медом, лопухами и собственной мочой. И мы не можем пройти мимо них, все телевидение от них зависит и на них настроено. На их вкус... Здорово, Жора! — Опричнев раскрыл объятия и вошел во двор к Семенцам. — Что жарим? Чей сегодня день рождения?

— Готовимся к футболу, — ответил Жора, — сегодня наши причешут карликов из какого-то микроскопического государства, названия которого я не помню: у меня по географии была круглая тройка... Боря Фимоз, пиво принес?

— Ро-си-я! Ро-си-я! — заорал Фимоз, выставляя фугасы с пивом. — Я брал из расчета: каждый гол — бутыль. Пять хватит?

— Аргентина—Ямайка — пять-ноль, — пропел Жора, — мало. Докупи до десяти.

Боря Фимоз рванул докупать.

— А че, Опричник, опять к нам? — поинтересовался Жора, не сводя глаз с Тюли.

— Рейтинг отправили к вам изучать. Что вам из сегодняшнего зомбоящика по нраву?

— Сериалы про ментов! — крикнула Киля, готовившая очередной тазик салата.

— Сериалы про армейские пионерлагеря с ухоженными солдатиками, — заметила Соня, мывшая огурчики.

— Сериалы с закадровой ржачкой, — подсказал Хачик, открывавший консервы, — ржачка, она заводит... От нее самому охота поржать.

— А я люблю все паранормальное, — подал голос Шурик Свисток, — и сериалы смотрю только с участием вампиров.

— А чего Тюленцию привел? — спросил Жора. — Она что, тоже рейтинг мерить пришла?

В голосе Жоры Киля сразу учуяла что-то недоброе для себя:

— Что, и Тюлька здесь? Ей еще рано измерять мужские рейтинги.

Тюля тоже учуяла недоброе для себя.

— До свидания, — сказала и ушла.

— Тюля! — крикнул вслед Опричнев и рванул за ней. — Вы не думайте, что я с ними. Я совсем другой. Я даже стихи пишу. Хотите, я вам стихи читаю?

Обыватель, обыватель...

Не герой и не предатель,

Позитивный улыбатель,

С днем рожденья поздравлятель,

Одобритель, поддержатель, радостный рукоплескатель,

От законов убегатель,

Не встреватель, не создатель,

Ни черта не понимающий,

Телевизора смотритель и рекламы поглотитель,

Всякой дряни покупатель, втюхиватель, потребитель,

Лох и тут же обуватель.

Он совсем не избиратель, на участок не ходитель.

Рубят сквер — он наблюдатель и немножечко грустител.

Убивают — не свидетель, просто мимопроходитель.

Что вы все к нему пристали? Он нормальный честный житель.

Указали — выбиратель, приказали — не стрелятель,

Нет — на митинг не ходитель, бесполезно не кричатель.

Что он, сам себе вредитель? Он чистейший обыватель.

Ну, немножко жлобыватель.

— Вот наконец-то, — улыбнулась Тюля, — вот оно, ваше отношение к ним...

Ободренный Опричнев продолжил:

На работу он ходитель

И зарплаты получатель,

Четко в отпуск отдыхатель
И детей своих раститель.
В армию их отдаватель
И налогов оплатитель.
И футбольный он болетель,
За команду всех порвателъ,
Много пива выпиватель
И «Судью долой!» оратель.
Но когда его стыдителъ,
Уши ватой набиватель,
Ключидверизапиратель...
Вот какой он обыватель. И немного жлобыватель.

Хозяин тюрьмы-пансиона «Баловни судьбы» закусывал на кухне, когда к нему постучали.

- Можно? — спросил Баклушин, приоткрывая дверь.
- А, клоун? — узнал хозяин. — Заходи.
- Господин хозяин, я как-то нечаянно оказался тут у вас в заключении, — замямлил Авдей, — хотел только заглянуть...
- Ничего, сынок, быстрее сядешь — быстрее выйдешь.
- Какое выйдешь, когда я в камере смертников?
- Тем более! Должен радоваться! Прошел такой конкурс — десять человек на место. Другие локти кусают — не могут попасть, а ты — на законных основаниях... Радоваться надо.
- Как на законных основаниях? — испугался Баклушин. — Я же ничего не совершал. Ни одного преступления.
- Мы тебя оформили сексуальным маньяком.
- Меня? Да моя девушка в ужас придет, когда узнает.
- С одним ты только тянешь — с доверенностью на свое имущество... Оформляй быстрее — быстрее станешь бессмертным... Представить не можешь, какая слава тебя ждет. Войдешь в историю как лучший клоун двадцать первого века.
- Но век только начинается.
- Вспомни Чаплина. Он тоже начал комиковать только в начале двадцатого века, а признан был лучшим комиком всего века.
- Но я не клоун, — заныл Баклушин.
- Здравьте! Он не клоун! Уже отлит хрустальный клоунский ботинок твоего имени, который будет вручаться раз в год лучшим комикам мира! Уже готовится твоя смерть прямо на арене цирка!
- Моя смерть? — похолодел Авдей.
- Это же целая Ниагара славы!

В квартире Клёпы собрались Нюня Оскоми́на и Тюля Вискребенцева.

- Девочки, — начала Клёпа, — я собрала вас на совет... Что-то ничего не слышно от нашего засланца Авдея. Меня это тревожит.
- Мы знаем адрес, куда он пошел на разведку, — сказала Нюня, — предлагаю сходить туда всем.
- Зачем?
- На месте сообразим.
- В комиссию похоронную ходить не надо, — остановила их Тюля, — после Трусевича Авдей был у вдовы умершего поэта, фамилию забыла, потом пошел в панси-

он «Баловни судьбы», адресок он мне успел сообщить... Вот по этому адресу и надо сходить.

Клёпа и Нюня переглянулись:

— Между вами какие-то отношения?
 — Между нами теплые отношения, — смутилась Тюля.
 — Вы что, встречаетесь?
 — Встречаемся по делу...
 — По какому еще делу?
 — Девочки, вы прикидываетесь, — упрекнула Тюля, — мы же вместе стараемся разгадать тайны Понюшкина.

— Понюшкина? — наморщили лбы Клёпа и Нюня.
 — Ну, который с Крымского моста прыгнул...
 — А-а... Мы уже и фамилию его забыли... Это же другое дело... Это и Микстура, и Тютелько... Помним, помним... Мы же сами Авдея по этому делу в похоронную комиссию направили... Извини, Тюля, забыли.

— Ничего не забыли, — вдруг сказала Клёпа, — наш интерес к вашей встречаемости совсем не тот... Ты что, влюбилась в Авдея, что ли, Тюль?

Тюля покраснела.

— Надо искать пансион «Баловни судьбы», — решительно заявила Нюня.

Пансион «Баловни судьбы» издали не был похож на тюрьму. Одноэтажный домишко, правда, с решетками на окнах, но нынче все первые этажи с такими решетками.

В бинокль разглядели открытые форточки, но людей за стеклом не сумели разглядеть.

Тюля заметила рыжего котенка, гревшегося на солнышке. Подошла к нему, погладила, а потом стала зачем-то перевязывать ему лапку.

Потом взяла его на руки и с независимым видом пошла прогуливаться к пансиону.

А потом неожиданно сунула котенка в открытую форточку и пошла прочь.

— Ты чего это, Тюль? — не поняла действий подружки Клёпа.
 — Это наши секреты, — объяснила Нюня и достала из сумки какое-то устройство, похожее на радиоприемник.

— У нас на сегодня нет палача, — из радиоприемника послушался голос хозяина пансиона.

— При нынешней безработице найти палача — не проблема, — возражал ему голос Сатина.

— Это должен быть высокий профессионал, — упирался голос хозяина, — ведь помимо образования важно еще, кто руку ставил. А у нас таких — фигушки.

— Пригласите палача-иностранца, — послышался голос Баклушина.

— Он здесь, — обрадовалась Нюня, — это его голос.

— Но почему они говорят о палаче? — испуганно спросила Тюля.

— Девочки, это вы к лапе кота микрофон прилепили? — сообразила Клёпа. — Или как он называется? Жучка? Ой, молодцы! Это же мы теперь можем все слушать, куда наш кот забредет!

— Ваша камера смертников вообще не имеет никаких прав, — шумел в приемнике голос хозяина.

— Но вы же обещали нам командировку в рай, — кричал голос Сатина.

— Без палача ничего не могу! У палача командировочные бланки и печать! А он умер от свиного гриппа! А куда подевал печать, не знаю!.. Это вы тут котов развели? Откуда у вас взялся кот рыжий?

— Не знаем. Мы думали, что это ваш.

— В моем пансионе-тюрьме «Баловни судьбы» котлов никогда не было и не будет! — продолжал кричать голос хозяина. — У меня на них аллергия.

— С ума сойти, — шептала Тюля, слушая трансляцию из пансиона.

— Пансион-тюрьма, — шептала Клёпа.

— Палач-иностранец, — шептала Нюня, записывая что-то в своей блокнот.

— Но главное, что Авдей здесь, — вышла из оцепенения Клёпа.

— Главное, как вытащить Авдея оттуда, — возразила Тюля.

— А как это сделать — неизвестно, — Нюня взяла бинокль и направила его на пансион-тюрьму.

В своей тюремной художественной студии друг Нулина писал свой автопортрет. Рядом стояло зеркало, куда художник поминутно заглядывал.

Из-за портьеры вышел Нулин с булкой:

— Привет.

— А, Нулин? Привет. Как тебе живется после смерти?

— Да разве это жизнь? Телевизор разбил...

— Топором, что ли?

— Почему топором? Стаканом... Не знаешь, наш каббалистик все еще гонит «телескоповку»?

— Почему ты называешь его каббалистиком?

— Ну, КАК БЫ космический балистик.

— Ах, в этом смысле... Вчера гнал.

— Надо будет навестить его.

— Когда тебя обещают отправить в рай?

— Да мне и здесь, в чистилище хорошо... Кормят хорошо, компания хорошая... Нас, умерших и погибших, уже шесть единиц. Было семь, но Микстуруа уже отправили.

— Ой, ну, какие из вас единицы? — отмахивался художник. — Разве что мнимые единицы. Помнишь, такие из математики? Минус единица.

— Минус единица — хорошее понятие. Это вообще ведет к мысли о мнимости мира. Может, у нас и государство мнимое?

Нюня перевела бинокль на другое окно пансиона. Там сидели несколько человек и листали газеты.

— Да, это большая слава: шесть статей с биографией, три статьи с изложением взглядов, куча фотографий, — цокал языком Сатин, — и где они отыскали такие?

— А легенды какие! — млея Лукин. — Я как бы вылепил Галатею из шоколада и влюбился в нее на манер Пигмалиона. И она ожила! Обалдеть, какая любовь!

— Из шоколада? — нахмурился Актеров. — Ты что, влюбился в негритянку?

— Главное, что назвали Пигмалионом, — возразил Сатин, — суть славы в этом.

— А у меня посмертная выставка картин, — художник раскрыл журнал, — особо отмечают «Самоубийство через распятие» и парафраз картины Васнецова «Три богатыря», где все три богатыря с моими автопортретами. Но самое большое потрясение — «Апофеоз войны» по мотивам Верещагина, где вместо горы черепов — гора моих автопортретов.

Нюня перевела бинокль дальше. Кажется, зал какой-то, и клоуны репетируют что-то. Под цирковой марш вынесли гроб. Каждый клоун держал свой угол гроба.

— Ой, клоуны, — проговорила Нюня, и Тюля сразу выдернула из ее рук бинокль.

Рыжий клоун громко прокричал:

— А сейчас у нас самый смешной номер — похороны Баклуши!

Клоуны продолжили маршировать, пока один из них — видимо, Баклуша — не заметил в зале знакомую нам женщину по фамилии Всячина, оторвался от своего уг-

ла гроба и стал заигрывать с ней. Достал из-за пазухи мятый цветок, распушил его и встал на колено. Стал кокетничать, строить глазки.

— Ой, я, кажется, сейчас умру, — проговорил клоун голосом Авдея.

— Сейчас, сейчас, — заторопились другие клоуны, опустили гроб на пол и открыли крышку, как бы приглашая внутрь, — скорей ложись в гроб, а то опоздаешь.

Клоун Баклуша влез в гроб, послал прощальный поцелуй Всячиной и улегся внутри. Клоуны закрыли его крышкой.

— Ой, он же забыл сказать последние слова перед смертью! Пусть скажет!

Крышку сняли, но в ужасе отскочили от гроба. Там никого не было.

Наклонили показать, что там никого — там в самом деле не было никого. Но мы-то знаем этот старый цирковой трюк: стенка на петлях и при наклоне закрывает того, кто внутри.

— Никого, — сказали клоуны.

— А ботинки? — спросил зеленый клоун. — Ботинки там?

— Только один, — сказал синий, — ах, как нам его будет не хватать.

— Конечно, — согласился желтый, — втроем этот дурацкий гроб очень неудобно носить.

— Кто сообщит родным о кончине? — спросил зеленый.

— Ботинку, что ли? У него никого больше не осталось. Можно, я сообщу? — синий стал гладить ботинок, как котенка. — Сиротинушка, на кого он тебя покинул? Никто тебя теперь не обуеет, не зашнурует, никто в угол не швырнет, — синий заревел, и струи слез полились у него из глаз.

Снова грянул цирковой марш, но теперь он стал сильно напоминать похоронный. Появился хозяин пансиона-тюрьмы:

— Предлагаю объявить этот год годом клоуна Баклуши, а все средства, вырученные за этот год, потратить на клоунскую премию с вручением копии золотого гробика, на котором Баклуша улетел в мир иной.

— Мне это не нравится, — сказала Тюля, опуская бинокль, — они положили Баклушина в гроб, и он улетел в мир иной...

— Стой, стой, — Нюня схватила освободившийся бинокль, — они все собираются в рай. Что это значит?

— Это убийство, — догадалась Клёпа, — надо вызывать полицию.

Какой-то автобус, стоявший на другой стороне улицы, стал разворачиваться и уехал куда-то.

Почти тут же появился микроавтобус со спецназом.

Из автобуса вышел лейтенант Оглоблин, достал мобильный телефон:

— Ольга? Мне Мыльневу... Ольга, выезжай с аппаратурой срочно... Сейчас начнется штурм, запиши адрес...

Спецназ стал окружать пансион-тюрьму. Прикрываясь кустиками и деревьями.

Подъехал телевизионный автобус с операторами.

Спецназ по сигналу Оглоблина в один миг с оружием ворвался внутрь...

И застыл как вкопанный... Внутри никого не было.

По пустым залам и комнатам быстрым шагом бежали спецназовцы, лейтенант Оглоблин, Ольга Мыльнева и Тюля. Никого нигде.

По дороге натолкнулись на цирковой гроб.

— Посмотрите, — крикнула Тюля, — нет ли в гробу?

— Труп, что ли? — спросил Оглоблин и поднял крышку.

Лежавший там Баклушин поднял верхнюю часть своего туловища и сел.

— Авдей!

- Тюля!
- А где все остальные ваши смертники?
- Отправились в рай.
- А где это?
- В обсерватории есть выход в подземный переход на ту сторону улицы... Спецназовцы рванули было в обсерваторию, но Авдей их остановил:
- Автобус увез их к самолету...
- А самолет куда?
- Насколько я понял, в Парагвай. Там содержат всех умерших и погибших «Баловней судьбы»... Хотя не всех, — вспомнил Баклушин и вылез в своем дурацком клоунском костюмчике из гробика, — Тюля, я тебе сейчас еще что-то покажу...

Он повел Тюлю в кабинет хозяина пансиона-тюрьмы, подошел к шкафу и распахнул его дверцы.

Внутри сидел Александр Давыдыч Нюров.

- Что вы здесь делаете? — удивилась Тюля.
- Сижу, — ответил Нюров, — благодаря стараниям гражданина Баклушина.
- Может, хоть теперь вы нам расскажете, чем занимается ваша «фирма»...
- Расскажу, — легко согласился Нюров, — наша фирма называется «Событие»... Вы, наверно, помните это римское — «хлеба и зрелищ»? Так вот мы отвечаем за зрелища. Но зрелищ сильно недостает: день города, день пива, день пожилого человека... Приходится додумывать. Например, юбилеи. Юбилеи реальные и юбилеи выдуманные: столетие граненого стакана, двухсотлетие кирзового сапога, трехсотлетие носового платка, четырехсотлетие обувного шнурка. Но это — для особо утонченной публики. А простым обывателям подавай в первую очередь терроризм: похищение людей, убийства, покушения, сексуальных маньяков... Вот и приходится культивировать их.

- В каком смысле «культивировать»? — спросила Тюля.
- Делать их объектом культуры, — не смущаясь, ответил Нюров.
- А потолковее? — спросил Авдей и еще больше заломил руку Нюрова.
- Ну, — пожал плечами Александр Давыдович, — это как у всех сценаристов... Сначала автор идеи преступления, так сказать, наводчик. Потом автор преступления, который придумывает сюжет, запоминающиеся детали, выбирает вид оружия... Затем следует постановщик преступления. Он привязывает все к определенному месту, назначает время и подбирает исполнителей преступления. У нас очень строгий кастинг, строгий подбор преступников. Надо, чтобы лица не мелькали часто, поэтому нужен новый набор, вакансии. Вот мы и набираем людей обещанием высоких заработков.

- А что такое «Баловни судьбы»? — задала вопрос Тюля.
- Это тюрьма-пансион. Здесь каждый за деньги может получить славу. Разумеется, посмертную.

- Посмертную? — переспросила Тюля.
- Смерть неокончательная, — вывернулся Нюров, — видите ли, идея «Баловней судьбы» — помочь неудачникам получить шанс выбиться в люди.

- Что за неудачники?
- Это люди с нерешенными проблемами. Клуб растерянных. Солдаты неудачи. Лозунг «баловней судьбы» — жизнь надо строить из тех кирпичей, которые падают на голову... Но это лучше всего мог бы рассказать вам сам хозяин тюрьмы, который является акционером нашего закрытого акционерного общества «Событие».

- А кто еще — в этом вашем закрытом акционерном обществе?
- Нужный судья помогает нам с нужным приговором... Да мало ли?.. У нас целый холдинг нужных людей.

- А где сейчас хозяин тюрьмы?
 - Улетает за границу.
 - Далеко?
 - Это тоже идея «баловней судьбы». Желающий умереть или погибнуть ради славы вносит деньги в райский фонд. Фонд рая подбирает ему где-то райские условия, и желающий переезжает жить туда уже под другой фамилией.
 - Конкретно, куда?
 - Для начала были выбраны необитаемые острова Океании, но жить в райских условиях там оказалось невозможно. Одна борьба за существование: рыбу ловить, корешками питаться... Тогда попытались отыскать место где-нибудь в Патагонии, но и там не вышло из-за нерайского климата... Но где-то в Латинской Америке все-таки, кажется, нашли.
 - Парагвай, что ли? — усмехнулся Баклушин.
 - Я не в курсе. Знает только хозяин тюрьмы, который сейчас туда улетает.
 - Красиво у вас все придумано, — покачала головой Тюля, — но от суда вам все равно не уйти.
 - Нам — суд? — возмутился Нюров. — За что? У нас ни одного убитого!
 - А Понюшкин? — вспомнил Авдей. — Который покончил с собой с Крымского моста!
 - Гриша? — с удивлением воскликнул Нюров и пригласил всех в соседний кабинет. В соседнем кабинете за компьютером сидел живой Гриша Понюшкин.
 - Позвольте представить вам, — торжественно объявил Нюров, — лучшего автора всех наших преступлений!
- Тут же невесть откуда вынырнула куча телеоператоров во главе с Ольгой Мыльневой и стала снимать все, что подвернется под глаз.

Александр ПЕТРУШКИН

СУРДОКАМЕРА

Низкий звук и высокий вращаются в круге,
в темном оттиске эха шахтер земляной —
протянув пред собою замерзшие руки,
словно крот разрывной, закрывает собой

это небо, как провод, что в левой лопатке
истончает остаток древесный угля,
где видны, как деревья, у ангелов пятки,
чтобы больше не ведать любого числа.

Эти даты округлы, как время в разрыве,
где любая порода, как иней, честна,
где висишь пред разрезом мороза безвидным
и стучит, словно дятел, в него высота.

Развернешь ли бумагу из звука и звука,
опустившись туда, где болит перевод —
словно эхо и кровь, стали тьмы парашютом,
где душа, как шахтеры и лошадь, взойдет.

* * *

Место, в которое ты прорастешь, назовет тебя крест,
вылетев ласточкой сразу из многих гнезд,
объединится в одно большое, так будто весть

застала ее и стала камнем, отяжелев над рекой,
и отможенной водит своей рукой,
словно бы скульптор у выдоха над губой,

у ласточки одновременной, той, что закрыла их
отсутствие и прирастает, как яма в двоих своих
крыльях — мерцание шьющих то вверх, то вниз,

и кажется, что отреза полета хватит всем на троих.

Вот же ты, вот — дотронься — пойдут круги,
ласточки, гнезда, места, как земли тюки,

Александр Петрушкин родился в 1972 году в Озерске. Публиковался в журналах «Урал», «Транзит-Урал», «Крещатик», «Уральская новь», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Нева», «Дети Ра», «Футурум-Арт», «Зинзивер», «Воздух», «Волга», «Волга-21 век», «Знамя», «Text only», «Топос», «Полутона», «Новые облака» и многих других изданиях. Автор нескольких сборников стихотворений. Координатор евразийского журнального портала «МЕГАЛИТ». Живет в г. Кыштым Челябинской области.

повозки выдохом, сжатых — как радость в страх —
в место, которое, как гнездо из глины,
ты носишь в полых устах.

* * *

Птица расслоится на полет,
с лабиринтом воздуха столкнувшись —
то кивает, то себя поет,
посредине смерти обнаружив

все снаружи, что внутри, и внутрь
смотрит или кажется кровавым
чудом — капает, как голос [сиречь жуть].
Чтобы слить в единое неправых

с их неправотой, по часовой
разводя, как вывихи и стрелки,
птица все двоится на полет
и того, кто за полетом встретит.

Вглядываясь в эту пустоту,
что несет в себе ее опору —
птица то пикирует, то вновь
оживает, чем подобна вору,

в месиве из зрения дрожит,
оживает на своей изнанке
и стучится к этому отцу
из тоннеля смерти, как из мамки.

МАЯТНИК ФУКО

Стоит и петь, и плыть или быть рекой —
блажен темный маятник или блажлив, как всяк
начавший быть человек, что своей немотой —
почти как рукой — разжигает времен очаг.

Дернешь рычаг — понесется по небу вскачь
стремный свой ангел, слямзивший мглы язык, —
я бы все уравнил, но растет ловкач
с рожей моей, выбранной из вины.

Что ж ты бранишься, галка, да вьешь гнездо
и достаешь звезду из воды лица? —
маятник делает круг, точнее, восьмерку и все крыльцо
снимает, как пленку засвеченную и взгляд отца.

Стоит и петь и плыть, и грести сквозь снег,
воздух оставив нитям, камням, вора
там, где идем по мостику из воды
или часы, как песок, над водой хрустят.

* * *

То девять звезд внутри собора
своей жестянкой шелестят,
то звон очертит огорода
и участь, и слепых котят,

то никакого Бога нету,
то Он разделит твердь и тварь
и дырочку в тебе просверлит,
чтоб легче было умирать.

То лампа копоть и морозы
накопит на огонь и свист,
то встанут в круг сквозной березы,
чтоб сок нечеловечий пить,

то лев, свернувшись, как изнанка
пустыни или кровь моя,
летит, как кров, и умывает
котят слепых внутри огня.

И я кручу, как будто белка,
как свет округлый, колесо,
где девять звезд на звук надето
и невозможно хорошо.

* * *

Не сад, а огород,
не птица, а трещотка,
впадающая в ересь
из ранней темноты,

где злости больше нет
и небо как щекотка
и щель густой воды
вдоль перышка висит.

Лепечут мертвецы
с той стороны, где жалость,
как стыд и смерть, совсем —
совсем отменена

и плавится, как мед,
слеза, а что осталось
в ее смешной земле —
совсем уже не я.

СОСЕД

Размежеваться. Что там, Боже мой, сосед, ты говорил горящими волнами, другими человечками, когда, как хворост неба всеми языками, мне вылепил и дочь, и мать, и дом, и тарантас простуды. В эти хрипы что приходило? — мне не отличить, не рассмотреть — темна моя обитель, черны сосуды, то есть скуден я, и вороват язык. В твоём ли сите

лежу теперь прозрачный и немой, скрипящий всей кирзой, соприкоснувшись с твоим прощением, а что точней — с виной моей. Стыдом в дыхание раздувшись, я все расту смертельным леденцом и слова восхитительного ядом и падаю к земле твоей лицом — снежком твоим, в твоё горенье, рядом со мной лежит твой хворост, в смысле свет, как циркуль и окружность звездопада.

Но имя чудно! — что тебе с него? — на поиски ты вышел спозаранку и видишь, как убогая свирель зализывает словом твоим ранку.

* * *

Прости, что песенка одна катается в трамвае сна и видит тень мою и звон, что снег, поднявшийся кругом, изъят с земли, идет обратно, как кругосветный идиот, что видит нас теперь, как пятна, и крылья темной буквы о, что птицелов, поймавший небо, его отпустит в небеса, и, как подросток, наша муза все ждет от тела чудеса,

что хлеб прозрачен (в смысле — точен), что несвобода нам дана для перспективы там, где в хлеве верней заучена звезда, что сосны в птицах ночь качались, как будто шляпками они, как умозрительные стаи среди воды, по водам шли и сшито мертвым было тело, и оживало лишь пальто, как стая ангелов, что слева шагнет в ничто,

что эти мраморные тени мы, словно буквы, обрели, как якорное перекрестье внутри земли, что в зернах этих, вверх подвижных, прекрасна наша слепота, где за младенчиком, как в спирте, растет невидимо душа, узрев озябшее дно кожи, в котором звуки далеки. Катайся, песенка, — быть может, тебя уловят рыбаки.

Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

РАССКАЗЫ

ДАЯНА

Заканчивался наш недельный отпуск в Венеции. Так вышло, что приехали мы в конце октября и вполне могли попасть к началу сезона дождей и наводнений. Мужа такая перспектива тревожила, а со мной случилось нечто странное: захотелось увидеть Венецию при непогоде. Возможно, с годами устают глаза от ярких масляных красок жизни, и тянет человека к акварельным пастельным тонам, когда житейские картины, как репродукции в ценных книгах, прикрыты тонкой папиросной бумагой, утоляющей буйство красок и берегущей рисунки от повреждений. Я воображала себе Венецию в дожде, прекрасные и таинственные, как женские лица под вуалью, дворцы, горбатые мостики, с которых водопадами стекает в узкие каналы дождевая вода, будоража их вековое спокойствие и затхлую тишину. Мысленно я уже шлепала по разливанному морю на пьяцца Сан-Марко, заглядывала сквозь занавешенные дождем арки в темные галереи Дворца дождей и стояла на берегу Большого канала, *любясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод*. Собственно говоря, типично петербургская картина, и на кой она нужна была мне в Венеции? Поэзия, друзья мои, венецианская непогода сильно попахивала первозданной, самой что ни на есть натуральной, живой поэзией. Во всяком случае, мне так казалось.

Но не сбылось. Не знаю, как у итальянцев, но у россиян, с их точным и озорным умением давать клички окружающей действительности, это называется «бабьим летом», которое, едва начавшись, давно закончилось в Петербурге. А здесь в конце октября голубое небо, не тронутое червоточинами облаков, с утра до вечера неподвижно стояло над лагуной, и солнце, сменив летний разухабистый смех на нежную улыбку, приглашало к радостному, наполненному сюрпризами движению. Мы обошли и объездили весь город, нахлебались легкого, как сухое вино, ветра, стоя на открытых палубах вапоретто, наслушались песен гондольеров, не столь хорошо исполненных, сколь романтических, и *насились* в кафе «Флориан» на пьяцца Сан-Марко с его неприхотливой кухней и легендарным прошлым: здесь, начиная с восемнадцатого века, *сживали* все знаменитые посетители Венеции. Ну, и мы в том числе.

И вот наступил последний день нашего венецианского «бабьего лета». Мы медленно прошлись вдоль Большого канала, а потом покатали на остров Лидо, на пляж. С утра небо изменилось, небольшая тучка в первый раз вывела на прогулку стайку мелких игривых облаков, и ветер погрубел – кто-то испортил ему настрое-

Светлана Владимировна Розенфельд – петербургский поэт и прозаик, член Союза российских писателей. По образованию – инженер-химик. Автор двенадцати книг и многочисленных публикаций в журналах, альманахах и коллективных сборниках. Один из постоянных авторов «Невы» (стихи, проза).

ние, намекнув на предстоящие в скором времени трудные будни. Но солнце ничего не хотело знать, разливало по пляжу свою легкую улыбку, и отдельные, не слишком многочисленные тела впитывали его в себя, блаженно растянувшись на берегу лагуны. Купались немногие, и мы решили не лезть в воду, а пройтись по прибрежному парку. Там-то и выяснилось, что наступила осень. Цветы еще цвели на кустах и клумбах, и сладкие запахи лета, как невидимые дымки, окутывали дорожки и лужайки, но бурные скукоженные листья летели на землю то медленно, то стремительно, шуршали под ногами, ложились на траву, и стало нам как-то тоскливо, потому что оказалось, нет в Венеции *золотой осени*, а есть только увядание и высыхание. А наши-то, российские, желтые, оранжевые, красные рощи, а наши-то разноцветные фейерверки, вспыхивающие от руки балтийского ветра, — где они? Почему нет их в этом волшебном месте, под этим румяным солнцем? Красота умирания — это парадокс или яркий апофеоз угасающей жизни?..

— Поехали на Пьяцца, — сказал муж, и мы сразу повеселели, почувствовав себя настоящими венецианцами, которые никогда не говорят «Пьяцца Сан-Марко», а просто «Пьяцца», называя все другие площади своего города «кампо». Пьяцца — это главное место в Венеции, и никаких пояснений и дополнений не требуется.

Близился вечер. Пьяцца, и без того не слишком шумная в октябре, к вечеру опустела: разлетелись надоедливые голуби, туристы разбежались по ресторанам и кафе, только темнокожие выходцы с Востока по-прежнему приставали к редким прохожим, настойчиво втюхивая свой невзрачный товар — вялые, измученные за день розы. «Per favore», — говорили они, тыча своими венчиками в лицо каждому встречному, и долго не отставали, шли следом, а то и хватали за руки: «Per favore». Покупателей не находилось, некоторые отмахивались и огрызались.

Впрочем, тишина опустевшей Пьяцца оказалась относительной и объяснялась лишь огромным размером площади. По бокам же ее, впритык друг к другу многочисленные уличные кафе жили своей шумной ежедневной жизнью, и с каждого «пяточка» лилась, пела, гремела музыка на все вкусы и пристрастия: джаз, попса, неаполитанские песни и даже что-то такое из классики.

Мы уселись за столик, заказали салат «моцарелла» и вино, и в уши нам грянул маленький оркестрик, — громко, но сначала медленно, лирично. Сами собой всплыли в памяти слова: «У леса на опушке жила зима в избушке...» Ба! Это же наша, русская песня, ее пел Эдуард Хиль. Не может быть! И тут за соседним столиком произошло движение, стол закачался, опрокинулся бокал с вином, и румяный коротышка в брюках под животом и распахнутой рубашке рванул ближе к эстраде и запрыгал вприсядку, размахивая руками под убыстряющую темп музыку:

Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая...

Ему аплодировали и кричали «браво!», а он, раззадоренный всеобщим вниманием, алкоголем и чувством патриотизма, плясал и плясал, постепенно багровея. За столиками уже смеялись, он по-клоунски кланялся, но оркестр снова играл то же самое, и он опять плясал — жалкий счастливый человек, вырвавшийся из плена тусклой жизни на волю: людей посмотреть и себя показать.

— Пошли отсюда, — сказала я. — Не люблю, когда над нами смеются.

— Никто над нами не смеется. Ну, подумаешь, выпил мужик, расслабился. Он же не виноват, что ты русская. И разве он думал когда-нибудь, что попадет на Пьяц-

ца в Венеции? А ты разве не удивляешься сама себе? Знаешь, я сам чуть в пляс не пустился. И захотелось домой. Пойдем, купим еще сувениров, подарим знакомым.

Большинство магазинов уже закрылось, но небольшая лавочка сувениров вблизи Пьяцца переливалась огоньками витрины, приманивая поздних туристов. В помещении, впрочем, властвовала удручающая пустота, лишь в дальнем углу толстуха продавщица, пышной грудью подмяв под себя прилавок, полушепотом беседовала с молодой посетительницей, почти вплотную приблизившей голову к ее лицу и наклонившейся к прилавку так низко, что короткая юбка, едва прикрывавшая ягодицы, подтянулась, как говорится, *по самое никуда*, обнажив великолепные мускулистые ноги непомерной длины в босоножках на столь же непомерных каблуках.

Мы молча рассматривали убогие витрины магазина с бесконечными пиноккио всех размеров, игрушечными гондолами, футболками с намалеванными черной краской силуэтами Дворца дождей, «магнитиками» с венецианскими видами, открытками и яркой безвкусной бижутерией.

— Тут, пожалуй, и выбрать нечего, — сказал муж. — Надо было раньше соображать. А теперь где искать? Все приличные точки закрыты.

— Ой, мамма мия! — воскликнула девушка, повернувшись к нам всем корпусом и едва устояв на своих предательских каблуках. — Это ж наши! — и побежала в нашу сторону, подворачивая ноги и сгибающая колени. — Вы из России? А из какого города?

— Из Петербурга.

— Ой, из Петербурга! Я-то сама там не была, но знаю — красивый город. Как Венеция. А я с-под Ростова. Вы туристы, да? А я здесь живу, уже десять лет.

— Родители привезли?

— Ну да, как же!.. Слушайте, вы здесь ничего не покупайте, ерунда одна, — понизила она голос. — Пойдемте, я отведу вас в хорошие магазины, они еще работают. На набережной, у Большого канала есть хрустальная мастерская. Вы там были? Нет? Ой, зря. Венецианский хрусталь — лучший в мире, а в этой мастерской даже показывают, как его варят. Как суп: ложат в печку разные продукты, а какие, не говорят — то ихняя производственная тайна, — тараторила она на чистейшем безграмотном русском языке. — А потом выставляют в своем музее, и можно купить, что захочешь. Правда, цены кусаются. Но у меня там есть знакомая, продаст по дешевке, из брака. Вы не думайте, не побитые, а может, какой махонький камешек в стекле застрял или пузырек. И не видать, а у них это брак. Или еще есть место, там продают головы львов с кольцами — вешать на двери. Из дорогих металлов: меди и этой... бронзы. Очень культурный салон, выполняет заказы английской королевы. Правда, правда. Для еёного дворца. Как его?

— Букингемский.

— Во-во. Цены тоже не приведи бог, но можно подобрать что-нибудь мелкое, дешево обойдется.

— Спасибо, — улыбаясь, сказал муж, разворачиваясь в сторону двери. — У нас сегодня последний день, валюту потратили, так что ни хрусталя, ни львиных голов не получится.

— Жалко, — сказала она, выходя следом за нами. — А вы ведь не торопитесь?

— Надо собраться, пораньше лечь, утром рано вставать, — уклончиво ответил мой спутник, а я поняла, что ему надоела вся эта итальянско-ростовская говорильня.

— Да ну, бросьте. Последний день в Венеции — куда спешить? Давайте посидим здесь на лавочке, видать, сегодня последний теплый денечек. И ветер потише стал. Садитесь, садитесь, соскучилась я по русским. В это время из России мало кто едет. Все на жару прутся. А жара — что? Только потеешь. Садитесь, садитесь.

Мы сели: я с интересом, муж с неудовольствием.

Девушка была на редкость хороша собой, типичная итальянка: черные, вьющиеся крупными кольцами волосы, черные глаза, маслянисто блестящие и таинственные в бликах вечернего освещения, не очень густые, но длинные стрелчатые ресницы, крупный нос и нежно загорелая кожа. Я пригляделась: ни грамма косметики, даже полные губы, которые она все время покусывала и облизывала, не тронуты губной помадой и одарены от природы тем розово-туманным цветом, которым так привлекают русские полевые гвоздики.

— Как вас зовут? — спросила я.

Она засмеялась:

— А как собачку в будке: Динкой. Но вообще-то Дианой, мама с папой выпендрились. А здесь меня зовут Даяной. Знаете почему? Потому что английское «и» с точкой по-ихнему будет «ай». Вот и получается: Даяна.

— Вы говорите по-английски?

— Не-а, зачем? Я по-итальянски чешу свободно, а надо будет, — выучу и английский. Я способная.

— Так как же вы здесь оказались?

— Ой, это длинная песня. Я, знаете, в молодости красавицей была, — она улыбнулась, показав белые крупные зубы и кокетливо смущенно прищутив глаза.

— И сейчас ничего себе, — подал голос муж.

— Ну, сейчас что говорить, мне уже тридцатник, — и опять кокетливо улыбнулась. — А раньше — другое дело. У меня ухажеров было, как грязи, а в восемнадцать лет привязался один дядечка, взрослый уже, образованный, так он говорил, что я на итальянку похожа, и называл синьоритой.

— Скорее, на испанку, — прокомментировал муж.

— Не знаю, он говорил: итальяночка моя. А тут увидела я по телевизору кино про Венецию и прямо обалдела: разве бывают на свете такие города, что по воде плавают?! Я тогда думала, что в Венеции улиц-то и вовсе нет, одна вода кругом. И представила себе, как они ездят на лодках да еще и поют, — у меня у самой голос хороший и слух, — ну, вооще... И обидно так стало. Вот ведь красивая, молодая, а как живу? Да на фиг мне все эти куры, огород и мамаша с папашей, что никогда не просыхают, — и подалась в Ростов, деньги зарабатывать на турпоездку.

— Как же можно заработать в таком юном возрасте? — опять подал реплику муж, а я толкнула его ногой под скамьей: не ехидничай, мол.

— Да по-разному можно заработать, было бы желание. А подробно рассказывать не буду, зачем зря время вести, тем более что вы, видать, люди культурные, можете неправильно понять.

— Ясно, — коротко резюмировал муж, а я опять толкнула его ногой.

— Короче, через два года накопила бабок, купила путевку и покатила. Увидела — и осталась. А как жить? Гражданства нет, денег нет — беда! И тут мне повезло. Встретила парнишку одного, русского, его-то как раз мать сюда в детстве привезла. Она в «Ла Фениче» в кордебалете ногами дрыгала, правда, тогда уже к пенсии дело шло, но она и сыночка в балет сунула, и гражданство у них имелось. Мне двадцать было — так я уже взрослая женщина, а он в двадцать — телок глупый, балерун, одним словом. И влюбился в меня без памяти. Я говорю: придется нам расстаться, выдворят меня на родину того и гляди, вот если бы мы с тобой были женатые... Он обрадовался, как ребенок, в ладоши захлопал. Короче, поженились. Да только... Они, балетные мужики, не все нормальные, у них, видно, от того, что лапают за все места полуголых баб — в смысле в танце, — инстинкты уродуют-

ся, вот и потянуло его не в ту сторону, остренького захотелось. Понимаете, да? Ну, и ушла я от него, а сама беременная...

— Н-да, ситуация, — изрек муж.

— Так у вас есть ребенок?

— А как же! Дочка, девять лет, тоже красавица. Вся в мать. Но, конечно, правильно ваш мужчина говорит: ситуация фиговая. А я оптимистка. Устроилась на стоянку лодок около Пьяцца. А там один гондольер меня заметил и пожалел. Говорил потом: пожалел тебя за твою красоту. А может, и правда. Мало ли почему люди друг друга жалеют? Он хороший человек, уже тогда был немолодой и очень порядочный: и жена у него, и дети, и любовница не какая-нибудь шаромыжка, а официантка в «Флориане». И вот услышал он, как я что-то такое напеваю, и говорит: ты очень музыкальная девушка. А сам-то он так пел, что заслушаешься, ему бы и в «Ла Скала» петь не грех. А он у нас гондольером. Так за его баркаролы туристы денег не жалели и даже специально заказывали: пусть Марио нас катает. И вот он дал мне гитару, аккордам кое-каким научил и брал иногда с собой в лодку. Сколько зарабатывали — вам не передать! Смешные все-таки люди. За песню готовы без порток остаться. Плотят и плотят. Представляете? Но, конечно, за так ничего в жизни не делается. Иногда приходилось оказывать ему внимание, но это раньше, сейчас-то он постарел, на женщин не заглядывается и теперь просто мне помогает, будто я его дочка: квартиру помог снять, мою красавицу в хорошую школу устроил и так, по мелочи. Живу неплохо, дай бог каждому...

Как из-под земли, перед нами вдруг вырос высокий тощий парень в дырявых джинсах и майке. Похожие на гнездо светло-русые кудрявые волосы, сероватым оттенком намекающие на редкость встреч с шампунем и водой, сзади были убраны в короткий подрагивающий хвостик, придававший всему его облику настороженно-птичье выражение.

— Ну что, Динка? Сколько тебя ждать? — не взглянув на нас, спросил он по-русски с легким акцентом неизвестного происхождения.

Даяна улыбнулась своей светлой улыбкой, повернулась к нам и представила пришельца со всей возможной светскостью.

— Познакомьтесь, господа. Это мой друг, здесь его зовут Джон, а настоящее имя выговорить не могу. Он из Сербии... Сейчас, Джонни, иду, это русские туристы. Пообщались немножко.

Мы поднялись.

— Стойте, — сказала Даяна. — Вы ведь в отеле проживаете? Это ж полное разорение.

Из маленькой сумочки через плечо она достала какой-то счет и карандашик и быстро-быстро начиркала на оборотной стороне текст острыми прямыми буквами.

— Вот, держите. Это мой адрес. Вы ведь обязательно еще раз приедете, точно говорю. Так напишите мне заранее, я вас у себя поселю или другое место найду, у друзей. Бесплатно!

— Спасибо, — сказала я, безуспешно пытаясь прочесть это волшебное письмо.

— Ладно, — бодренько сказала девушка. — Да свиданьца пока. Приятно было познакомиться. Пошли, Джонни...

— Ну что, будешь ей писать? — насмешливо спросил мой невыносимый муж.

— Даже и не подумаю.

— И правильно сделаешь. Наша итальянская мадонна — наркоманка, правда, начинающая, а вот ее Джонни сидит крепко — это я тебе как врач говорю — и ее за собой тянет. Торгуют, наверно, этой дрянью.

— Да брось ты! Почему обязательно торгуют?

— А о чем, ты думаешь, она шепталась с толстухой в магазине? Дела свои обтяпывала.

В полной растерянности я обернулась и увидела всё ту же парочку прямо на гребне мостика через канал. Даяна что-то говорила, размахивая руками и пританцовывая, а кудрявый Джон молча качал головой, засунув большие пальцы рук в карманчики джинсов на животе и глядя в землю. Потом вяло кивнул, и она бросилась вниз по мостику, часто-часто перебирая ногами и спотыкаясь на своих угрожающе эффектных каблуках.

— Подождите, подождите! — кричала она.

Мы остановились.

— Слушайте, ведь еще не поздно. Пойдемте к нам, посидим, хорошего вина выпьем, русские песни попоем. А?

— Нет, нет, спасибо, — строго сказал муж. — Мы очень устали. Какие могут быть гости?

Она умоляюще посмотрела на меня, но я только развела руками...

Мы молча приближались к своему отелю. Усилился ветер, и небо опустилось совсем низко: вот-вот и сольются две водные стихии — земная и небесная. Я смотрела в это низкое небо, беспокойное и такое близкое, что там наверняка могли меня услышать. «Господи, — взмолилась я, — помоги этой русской венецианке Даяне, права она или неправа, грешна или безгрешна. Помоги ей, Господи, хотя бы за то, что не захотела быть дворовой собачонкой Динкой, порвала цепь и отважно помчалась на поиски иной жизни, не имея при себе ничего, кроме кучки сомнительно заработанных денег и линялого флажка надежды, с которым так лихо сочетается воинственный клич: *вперед!* И еще потому помоги ей, Господи, что, кроме тебя, кто же ей поможет?..»

ОЧКИ

Дом был высокий, шестиэтажный, старый, но вполне приличный с виду и гармонично вписывался в строгую линейку домов в центре Невского проспекта. Лет тридцать назад его капитально отремонтировали, почистили пескоструем и вставили новые высокие окна. Тогда же произвели внутреннюю перепланировку, ликвидировали коммунальные квартиры и поселили в новых отдельных гнездышках достойных людей, о чем свидетельствовали латунные таблички на некоторых, обитых дерматином дверях: «профессор И. П. Ивановский», «стоматолог А. Ф. Фридман», «архитектор Д. М. Тищенко» и пр. Чуть позже дом осыпали лифтом, крошечной коробочкой с лазоревыми стенами, которые со временем посерели, покрылись болячками отслоившейся краски и даже украсились некими непечатными надписями, выполненными явно детскими руками, — свидетельство того, что высокий родительский статус вовсе не гарантирует детскую воспитанность. Впрочем, лифт работал исправно, а его внутренний вид иногда подновлялся, но так поспешно и незаинтересованно, что предательские надписи пробивались сквозь новую краску, как древние фрески, пополняясь новыми фантастическими тексточками. В общем, это был обычный, совершенно типичный лифт старого дома в центре города, с одной только небольшой особенностью: последняя остановка транспортного средства находилась на пятом этаже, а на последний, шестой, усталый путник должен был добираться по лестнице пешком. Шестой этаж, который

жильцы из поколения в поколение именовали «голубятней», был, по-видимому, пристроен позже и вид имел куций, как бы нежилой: частые небольшие окошки, железные проржавевшие козырьки треугольной формы и узкая металлическая площадка под окнами, которая осенью звенела от ветра, летом оглушала барабанной дробью дождя, а зимой прогибалась и стонала под снегом. Этот последний, шестой этаж был единственным в доме, где после капремонта остались коммунальные квартиры: две двери твердо и непоколебимо смотрели в лицо друг другу, пряча за своей спиной две малонаселенные — как испокон принято, буйные, без свидетелей — квартиры, в каждой из которых в двух комнатах, площадью по восемнадцать квадратных метров, проживали две семьи, и ничего лучшего им не светило.

Впрочем, квартира номер шесть, где родилась и много лет прожила Вика, буйной не числилась, потому что отношения внутри каждого коллектива определяются его духом, а дух, в свою очередь, порождается человеком. Духовным лидером, духовным санитаром и оздоровителем квартиры номер шесть всегда оставалась Валентина Петровна, мама Вики, и хоть менялись несколько раз соседи, и старые селились, и молодые, но никогда не возникало в мирном квартирном оазисе ни конфликтов, ни ссор, ни тем более драк. И в этом состояла мамина невидимая, казалось бы, заслуга. Она не была дирижером или первой скрипкой в маленьком коммунальном оркестре, но она была *мелодией*, в которой не находилось места ни одной грубой или фальшивой ноте.

Что такое должно содержаться в человеке, чтобы его аура распространялась на окружающий мир, облагораживая его и подавляя присущие жизни безобразия? Ничем особенным Валентина Петровна не отличалась: ни редкой красоты, ни властности характера или блеска ума, ни престижной должности на службе, вызывающей в обывателях почтительный трепет. Обычный бухгалтер — ах нет, *старший* бухгалтер, — умеренная зарплата, негромкий голос, простое лицо из тех, что не обращают на себя внимания и характеризуются неконкретным эпитетом «симпатичное». Но были принципы. Не сформулированные умом и не навязываемые человечеству как единственно правильный способ существования. Принципы Валентины Петровны касались ее самой и составляли ее неотъемлемую часть, как почерк, походка или отпечатки пальцев. Может быть, в естественности, ненавязчивости и одновременно очевидности принципов и состояла тайна ее гипнотического воздействия на людей? Впрочем, какие такие принципы?

Если говорить о быте, то принцип был один и давно сформулирован советской властью: соблюдать правила социалистического общежития. Со временем красивое слово «социалистическое» скукожилось и отпало, а общежитие и его правила остались. Их она и соблюдала, невольно заражая своей верностью соседей. Такая благостность вовсе не исключала возможности прекращения отношений и прерывания дружбы, — но спокойно, без склок, а лишь путем объяснения своей личной позиции.

Что касается отношений с дочерью, то есть Викой, то в них присутствовала та невидимая на первый взгляд любовь, которую иные принимают за холодность, а то и за равнодушие: без нежностей, без поцелуев и объятий, без суетливого желания услужить рано лишившейся отца девочке, чтобы потом бросить в лицо подростку: *я тебе всю жизнь отдала!* Ну, отдала, ну, отказалась приводить в дом нового папочку, но в жертву себя не принесла, а жила, как ей было удобно, то есть так, как было удобно ей и дочери. Требования, запреты, наказания, конечно, случались, но редко, потому что существовало понимание, умение выслушать, объяснить и скорее разрешить, чем запретить, попросить, а не потребовать, огорчиться,

а не наказать. Ну да, принципы, — но не ума, а души, и тогда опять получается чистая нефальшивая мелодия.

Когда Вика, уже беременная, привела в их комнатенку молодого лейтенанта из сибирской глубинки, Валентина Петровна распахнула руки и с несколько напряженной улыбкой воскликнула: *welcome!* — что (для непосвященных) означало *добро пожаловать*, но по-русски в данных условиях звучало бы неискренне, а по-английски очень даже забавно. И вот, как в теремке из сказки, стали они жить втроем, потом вчетвером, впятером, постепенно сужая свободное пространство комнаты, но не сближаясь друг с другом до ссор и не отдаляясь до холодной неприязни. Мелодия духа...

Лейтенант оказался головастым, рукастым и ногастым и уверенно зашагал по крутым ступеням служебной лестницы, дошагался до полковника и получил трехкомнатную квартиру в спальном районе, а принципиальная мама, дабы не мешать молодым (правда, к тому времени уже не совсем молодым), осталась в своей комнате на шестом этаже в центре родного Петербурга — интеллигентная пенсионерка с прямой спиной, в элегантной одежде (секонд-хенд, после тщательного отбора), с седыми, аккуратно уложенными волосами и в красивых очках в темно-коричневой оправе, демонстрируя всем своим обликом еще один незыблемый принцип: *старость не должна быть уродливой...*

После похорон Вика приходила к маме каждый день. Она заканчивала работу в школе в три часа, садилась в автобус, потом пересаживалась на метро и от станции «Невский проспект» бежала к дому целых две остановки, хотя можно было доехать на троллейбусе. Но этот кусочек Невского, давно изменившийся, обновленный, испещренный вывесками на русском и английском языках, сияющий роскошью витрин, световыми рекламными тумбами и перечеркивающими небо баннерами на проводах, оставался для нее обязательной частью маршрута, как первый двор в анфиладе проходных дворов старых петербургских построек. Она пробегала по Невскому, резко дергала на себя тяжелую новую дверь и ненадолго оставалась в полутьме парадной. Да пятого этажа можно было, конечно, добраться на лифте, но она делала глубокий вдох и начинала медленный подъем по лестнице — домой.

Лестница оставалась прежней, разве что чисто вымытой, но латунные таблички на дверях потускнели, и их стало меньше, а сами двери посуровели, сбросили свои дерматиновые фуфайки и приоделись в дубовый камуфляж с разводами и оттенками. Кажется, некоторые этажи полностью закуплены какими-то уважаемыми гражданами и превращены в личные апартаменты за железными, отделанными деревом дверьми. На таких дверях таблички с фамилией и родом занятий хозяина вешать неразумно, а разумно вставить «глазки» и надежные, хитрые, на много ключей запирающиеся замки.

А шестой коммунальный этаж жил своей, как бы отдельной жизнью, и никому не было до него дела, хотя грозный шаг марширующей по Невскому проспекту частной собственности вполне мог упереться в «голубятню», чтобы превратить ее в нечто экзотическое, соседствующее с небом и романтическое. Для жильцов же это означало бы, конечно, переселение и улучшение условий быта. Валентина Петровна такого счастья не дождалась...

Добравшись до «голубятни», Вика открывала простой французский замок входной двери, потом такой же замок, условно запирающий комнату, и замирала на пороге, *останавливаемая* прямым бликующим светом, бьющим со стороны маминой

кровати. Там, на тумбочке, на раскрытой книге лежали мамины очки, вернее, не лежали, а стояли, опираясь на дужки, словно приподнявшись на цыпочки, — как будто читавший человек снял их на секунду, чтобы, скажем, протереть глаза или смахнуть ресницу с века, поставил на книгу, не складывая, потому что всего на секунду, — и в эту секунду дверь жизни захлопнулась.

Когда в первый день после похорон Вика, как в тумане прожившая случившийся ужас, вернулась в комнату, она как бы споткнулась о блеск стоящих на книге очков, этой неотъемлемой детали живого мамино облика. Она споткнулась, рухнула на стул, и очки смотрели на нее увеличенными за линзами, а потому огромными, пронзительно мудрыми глазами. А потом ей привиделось легкое движение руки, спускающей оправу на кончик носа, и взгляд поверх очков, внимательный и насмешливый: *Ну что? Опять опростоволосилась, девочка моя?* А потом он же, сосредоточенный, серьезный: *Ну, как же нам поступить, девочка моя?* А потом он же, усталый, больной: *Всё в порядке, девочка моя.*

Вика вскочила со стула, примерила очки на себя, как будто прижалась к родному лицу. У нее было плохое зрение, но эти линзы еще не подходили, комната помутнела и завертелась. *«Ты еще молодая, не торопись, всё увидишь, но позже, позже...»*

Она хотела убрать очки в футляр и спрятать, но не смогла окончательно выселить маму из комнаты. Так и приходила каждый день, усаживалась на стул и мысленно разговаривала с пробивающимся сквозь линзы взглядом напротив, вспоминала эпизоды из прошлого, сожалела о своих проступках и всё больше понимала, что слишком мало знает о маме, никогда не отягощала себя этим знанием — и теперь пыталась разобраться, что же таится там, в глубине бликующих линз, что придает ей силы и помогает переносить горе...

На девятый день очки исчезли. В этот день, когда, как считается, душа умершего окончательно покидает землю, вся семья собралась в комнате на «голубятне» — помянуть. Вика, озабоченная сервировкой стола, не сразу посмотрела в спальняный угол и, лишь когда подняли рюмки, обратила взгляд к маме и закричала в ужасе:

— Где очки?!!

— Какие очки? — спросил муж.

— Здесь, на тумбочке, были мамины очки. Их нет. Кто взял?

— Никто не брал, — ответила дочь. — Мы сюда и не заходили. Ты, наверно, сама куда-то спрятала.

— Я не прятала! — истерически кричала Вика. — Они все время были здесь, а теперь нет. Кто взял?

— Успокойся, мама, — сказал сын. — Давай помянем бабушку, а потом ты подумаешь и вспомнишь.

Она потом долго думала, вспоминала и искала. Не вспомнила, не нашла. А через несколько лет, когда один успешный человек добрался-таки до «голубятни», чтобы превратить ее в студию художника, пришлось Вике разбирать старые вещи. В углу старинного платяного шкафа обнаружилась коробочка, давняя хранительница семейных реликвий, милых, дорогих сердцу пустяков: детские штанишки и кофточки, старые игрушки и елочные украшения, стопки похвальных грамот Вики, ее первые, совсем светлые волосики в бархатной коробочке от какого-то кольца, мамины летние перчатки из искусственных кружев, Викины детские рисунки и много других вещей, столь же ценных, сколь и бесполезных. Нашлись и очки, утонувшие под тяжестью футляра на самое дно коробочки.

Вика недоуменно вертела их в руках, не в силах вспомнить, когда, в какой момент, в каком состоянии она все-таки убрала и спрятала в коробку эту бесценную

вещь. Она надела очки, и теперь линзы соответствовали ее зрению, она ясно, детально видела всю комнату, обставленную прабабушкиной, но хорошо сохранившейся мебелью. Трюмо поблескивало поврежденной кое-где амальгамой, но хранило чистоту и гладкость качественно сработанного изделия. Вика посмотрела в зеркало и в первый миг отшатнулась, встретившись взглядом с мамой. Однако взгляд за стеклами был другой, не мамин: ни мудрости, ни понимания, ни спокойной, обреченной любви к жизни. *Еще не вечер, ты еще многое поймешь, не грусти, девочка моя...*

Вика сняла очки, уложила в футляр и поместила в коробку, которую она возьмет с собой.

Вещи из прошлой жизни... Законсервированная память хранится долго, а потом... Потом превращается в засахаренное варенье, которое в конце концов выбросят, не потому, что оно потеряет свой вкус и аромат, а потому, что некому будет его пробовать...

Алина МИТРОФАНОВА

СОНЕТ

Вся жизнь как возвращение домой.
Куда б ни занесло меня в азарте —
Перемещенья по цветистой карте —
Я все равно терзаюсь тишиной.

Бреду по незнакомой мостовой
Пришельцем, заключенном в вечном марте,
Как много лет назад, я все на старте,
Все так же рядом двухэтажный мой

Далекий дом. Спокойны фонари.
И тополя во мне приметят друга.
В наушниках играет та же fuga,

Написанная, верно, века три
Назад. Весна над осенью парит —
Прогресса нет. Все движется по кругу.

* * *

Мне будет непокой до октября,
Пока трава не высохнет, и с нею
Тоска твоя личину скарабея
Не примет, и не вымерзнут моря,

Не стихнет солнце жаром янтаря..
Дожди покуда бурей не прольются —
Мне будет непокой — какой уют, сэр?
Уют вернется в пору октября.

До октября еще не пройден путь,
Не стерта обувь, ноги не устали
Вновь выбирать из тысячи, из ста ли
Дорогу в ту болотистую муть

Алина Валерьевна Митрофанова родилась в 1992 году в городе Тихвине Ленинградской области. Окончила Санкт-Петербургский институт культуры (бывший СПбГУКИ). Публиковалась в газете «Литературный Санкт-Петербург», газете СПбГУКИ, сборниках стихов финалистов молодежного поэтического конкурса «КаэРомания», альманахах «Свежий взгляд», «Зеленая среда», «Иволга» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Прошедших чувств — им август не предел,
Им бушевать, и дом наш летний рушить,
И рвать одну нам выданную душу
На триллионы бледных светотел.

До октября — все так, как ты хотел:
Шиповник будет пьяным ароматом
Душить тебя. Поставит кто-то мат, и
Мир вспыхнет в предпоследней красоте...

До октября, а с ним придет покой.
Ты, опустевший, снова возвратишься.
И будет это зимнее затишье
До теплых дней иль вечный выбор твой —

Мне станет бесконечно все равно,
Хлеб приготовлю, разолью вино...

НА ОСТАНОВКЕ

Когда вам стукнуло за двадцать три,
Вы не легенда и не сумасшедший,
Стоите, материтесь, поджидая
Приблудный и неверный транспорт свой,
То это значит — вы уже смирились
С извечно серой утренней тоской
И с недосыпом будним, с пересыпом
По драгоценным жалким выходным...

Как пошло это каменное небо!
Несмелые и голые деревья,
Облезшие зимой... А воронье
На них напомнит вам средневековье:
Телегу с клячей, потную рубашку
И где-то в перспективе эшафот —
Что тоже предрешенность и смиренность,
Раз вы не сумасшедший и не царь.

А ежели близ вашей остановки
Случайно присоседилась больница,
То вам на полминуты будет страшно
Попасться в лапы чуткой медицины.
Вы вспомните о Фрунзе, о скандалах,
Халатности врачей и о таблетках,
Которые опять подорожали...

А транспорт ваш нейдет, совсем нейдет.

* * *

Моя Франция там, где сияет возлюбленный Крым,
Где шумят мушкетеры на улицах старой Одессы,
Где с большим рюкзаком, неумелый смешной пилигрим,
Припадаю к мечтам я сиреневоокого детства.

Моя Франция там, где скитанья, пути, автостоп,
И спешу я к ней, нет, не в карете, в раздолбанной фуре,
В городах проходящих встречая ее островок,
В грозových переливах, как в звуках немеркнувшей фуги.

Моя Франция там, где пустеет ночной Петербург,
Где румяный дворец обернется поместьем в Отейле,
Где теряется жизнь, как следы на декабрьском снегу
Замечаются платьями резвых изысканных фрейлин.

* * *

Я осталась вместе с домом,
Старым домом, домом давним,
И глядят полузнакомо
Полужеванные ставни

От дождей, ветров и снега,
Ни надежды, ни исхода —
Где дорога в эту небыль,
Дверь таинственного кода?

Дверь безвременных открытий:
Знали окна, стены знали
Все, чего бы ради жить нам,
Все заветы, все Граали,

Грани мира, грани моря,
Хоры ангелов под крышей,
За́говоры, заговóры —
Тише, милый друг мой, тише!

Свет в окне глядит зовуще
Древним оком с барельефа,
Простираются над сущим
Звуки каменного смеха.

* * *

Уйти в леса, и шерстью обрасти
И снова встать на все четыре лапы

Свободным зверем без цепи, без кляпа.
Веди, освобождающий инстинкт,

В леса! В леса, в раздолья из коряг
Стволов и мхов, когтей нечеловечьих...
Что мир разумный взял и изувечил,
Оздоровит мне первозданный мрак

Лесов! Лесов, размашистых лесов,
Проросших вновь не выпиленной плотью.
И не продать, не вывезть, не смолоть их...
Уйти в леса, в безвремение сов.

Евгений БЕРКОВИЧ

КАК ЗЕРНА МЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ... Жертвы диктатур в XX веке

Смятение умов

По мере становления и укрепления гитлеровской диктатуры в Германии положение немецких евреев и противников режима (коммунистов, социалистов, пацифистов) становилось все более непереносимым. Однако поначалу это осознавали далеко не все.

В судьбоносный для истории Германии день 30 января 1933 года в кафе «Леон» на центральной берлинской улице Курфюрстендамм состоялось традиционное собрание представителей еврейских организаций. В повестке дня стоял вопрос о проблемах ремесленников. Незадолго до начала собрания пришло сообщение, к которому многие уже были готовы: президент Гинденбург поручил сформировать новое правительство лидеру Национал-социалистической рабочей партии Адольфу Гитлеру.

Из всех присутствующих только раввин Ханс Трамер (Hans Tramer), представлявший сионистов, посвятил свое выступление этому событию и предсказал большие неприятности, которые ожидают евреев. Однако предостережения Трамера большинство присутствующих сочло «сгущением красок и паникерством». Повестка дня не изменилась, собрание продолжало обсуждать насущные проблемы ремесленников, тема Гитлера больше не поднималась [Ball-Kaduri, 1963, с. 34].

Известие о назначении нового рейхсканцлера евреи Германии встретили относительно спокойно. Не было никакой паники, мало кто предчувствовал наступающую беду. Руководство «Центрального общества немецких граждан иудейской веры» («Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens»), ведущей еврейской организации страны, выступило в тот же день с заявлением, смысл которого заключался в одной фразе: *«В целом сегодня действует один лозунг: сохранять спокойствие!»*

Чтобы сосредоточить в своих руках всю власть в стране, Гитлеру нужно было получить большинство мест в парламенте. Новые выборы состоялись 5 марта 1933 года, после поджога рейхстага и исключения коммунистов из предвыборной борьбы. Несмотря на яростную кампанию в прессе, направленную против оппозиционных

Евгений Михайлович Беркович — публицист, историк, издатель. Окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор естественных наук (Германия). Создатель и главный редактор журнала «Семь искусств» и ряда других сетевых изданий. Автор книг «Заметки по еврейской истории» (М., 2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста» (М., 2003), «Революция в физике и судьбы ее героев. Томас Манн и физики XX века» (М., 2017), «Революция в физике и судьбы ее героев. Альберт Эйнштейн в фокусе истории XX века» (М., 2018) и др. Публиковался в журналах «Нева», «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Человек» и многих других изданиях.

демократических партий, национал-социалистам не удалось получить абсолютного большинства голосов избирателей. Только благодаря временному союзу с крайне правой Немецкой национальной народной партией Альфреда Гугенберга они контролировали 340 из 647 мест в рейхстаге. Теперь путь к диктатуре Гитлера был открыт.

Некоторые еврейские организации, например, «Союз национал-немецких евреев» («Verband nationaldeutscher Juden»), руководимый Максом Науманом (Max Naumann), и «Имперский союз еврейских фронтовиков» («Reichsbund jüdischer Frontsoldaten»), возглавляемый Лео Лёвенштайном (Leo Löwenstein), сделали попытку присоединиться к новому порядку. Лёвенштайн даже подготовил специальное заявление на имя Гитлера, к которому приложил составленные в национал-социалистическом духе предложения в отношении евреев Германии, а также экземпляр памятной книги с именами двенадцати тысяч немецких солдат-евреев, павших на фронтах Первой мировой войны. Руководитель рейхсканцелярии Ханс Генрих Ламмерс (Hans Heinrich Lammers) даже принял делегацию евреев-фронтовиков, но после этого все подобные контакты были прекращены. Власти взяли за правило игнорировать обращения от евреев и еврейских организаций.

И хотя нападки властей на евреев с каждой неделей усиливались, позиция еврейских лидеров менялась мало. Они по-прежнему призывали к спокойствию и терпению. Даже после бойкота еврейских предприятий, организованного властями 1 апреля 1933 года, известный раввин Йоахим Принц (Joachim Prinz) считал неразумным любые выступления против «нового порядка», который имеет целью дать людям *«хлеб и работу»* (один из лозунгов нацистской партии на выборах в рейхстаг).

Несмотря на все трудности, выпавшие на долю немецких евреев, их жизни в ту пору еще ничего не угрожало. Многие считали проблемы временными, они пройдут, и все станет снова прекрасно, как было. Один из самых знаменитых историков того времени Исмар Эльбоген (Ismar Elbogen) повторял распространенное тогда выражение: *«Нас могут заставить голодать, но не умирать от голода»* [Walk, 1981, с. 4]. Это была трагическая ошибка: через десять лет сотни тысяч евреев будут умирать от голода в гетто и концлагерях.

В первой половине 1933 года у некоторых (не только евреев, но и немцев) еще оставалась иллюзия, что нацистский режим продержится недолго. Кое-кто предполагал, что консервативные силы в армии не потерпят узурпации власти в руках авантюристов, военный путч тогда был еще возможен. Кто-то, как бывший канцлер Франц фон Папен (Franz von Papen), возлагал надежды на консерваторов в правительстве:

Окруженный консервативными политиками, Гитлер не сможет реализовать свои экстремистские устремления. Через два месяца мы заждем его в угол [Bredow-Noetzel, 2009, с. 18].

Гитлер не дал себя «окружить». Напротив, он сам «окружил» своих политических противников колючей проволокой концлагерей. Но на это потребовалось время. А тогда даже такие выдающиеся мыслители, как Мартин Бубер (Martin Mordechai Buber), оставались в плену иллюзий. В письме философу и педагогу Эрнсту Симону (Ernst Simon) от 14 февраля 1933 года он выражал надежду:

Пока сегодняшняя коалиция существует, ни о какой законодательной травле евреев думать не приходится, можно говорить только об административном давлении. Антиеврейское законодательство могло бы стать реальностью только при перераспределении власти в пользу национал-социалистов. Но этого вряд ли можно ожидать [Buber, 1973, S. 466].

Действительность очень скоро не оставила от этих иллюзий и следа. Но смятение умов, в котором пребывала интеллигенция в условиях наступающей диктатуры, весьма показательны.

«Вы уволены, господин профессор!»

Свои преобразования Веймарской республики в Третий рейх Гитлер начал с «чистки» государственных служащих, к которым относились, в частности, профессора университетов. Закон «О восстановлении профессионального чиновничества» («Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums») от 7 апреля 1933 года был первым законодательным актом, в котором появились расистские формулировки. Так в § 3 этого закона говорилось, что «государственные служащие неарийского происхождения должны быть отправлены на пенсию».

Исключения делались для тех чиновников, кто был принят на государственную службу до 1 августа 1914 года (так называемых «старых служащих»), либо воевал за Германию или ее союзников на фронтах Первой мировой войны, либо имел детей или родителей, павших на той войне.

Еще один параграф этого закона (§ 4) позволял увольнять с государственной службы политически неблагонадежных, «кто своей предыдущей политической деятельностью не гарантировал беззаветную преданность национальному государству». Под эту формулировку попадали социал-демократы и коммунисты, а также все, кто поддерживал идеалы Веймарской республики.

Специальным разъяснением, опубликованным 11 апреля 1933 года, определялось, кто понимался под «неарийцем» в § 3 этого закона: у кого кто-то из дедушек или бабушек были неарийцами (прежде всего евреями).

Меньше чем через месяц, 6 мая 1933 года действие этого закона распространили на приват-доцентов, которые не являлись государственными служащими.

В начале 1933 года в немецких университетах насчитывалось около шести тысяч преподавателей: профессоров, доцентов, ассистентов. С учетом технических институтов численность преподавательского состава высшей школы составляла около восьми тысяч человек. Уже в течение зимнего семестра 1934–1935 годов по новому закону было уволено 1145 профессоров и доцентов, или 14,34 % от общего числа преподавателей в предыдущем зимнем семестре [Engelmann, 1998, с. 128].

Если учесть ассистентов, сотрудников научных библиотек и научно-исследовательских институтов, то число уволенных научных работников и преподавателей в первый зимний семестр возрастет до 1684.

Однако увольнения продолжались и в следующие семестры. В 1935 году фактически отменили все льготы для участников Первой мировой войны и их семей, а также для «старых служащих». С присоединением Австрии к Третьему рейху в 1938 году начались чистки и в австрийских университетах. По данным «Центрального управления по еврейской экономической помощи» («Zentralstelle für jüdische Wirtschaftshilfe»), до 1938 года было уволено свыше 2000 ученых и преподавателей высшей школы.

По словам Вильяма Ширера (William Shirer), «в естествознании, которое на протяжении многих поколений играло в Германии выдающуюся роль, наступил быстрый упадок. Такие большие ученые, как физики Эйнштейн и Франк, химики Габер и Вильштеттер, ушли сами или подвергались травле. Из тех, кто остался, многие попали под влияние заблуждений гитлеровской идеологии и пытались применить их в своей науке» [Engelmann, 1998, с. 129].

По итогам 1935 года потерял свое место каждый пятый ученый и преподаватель Германии. Физики и математики пострадали еще значительно — уволенными оказались 25 % научных работников.

Математики пострадали больше других: гонения затронули 187 преподавателей и исследователей, из них 134 эмигрировали из Германии [Siegmond-Schultze, 1998]. Ученых увольняли из всех университетов, но интенсивность чисток была неодинаковой. Например, в Кёнигсберге отправили в бессрочный отпуск 6 математиков, во Франкфурте — 8, а в Брауншвайге, Фрайбурге, Мюнстере — по одному.

Почти две трети всех изгнанных преподавателей математики работали в Гёттингене и Берлине. В Гёттингене оказались уволенными 27 ведущих математиков, 24 из них вынуждены были эмигрировать. Среди них была и великая Эмма Нётер, занимавшая скромный пост внештатного лектора по алгебре.

Династия

В истории математики известно не так много семей, подаривших науке сразу нескольких своих представителей и среди них настоящих звезд первой величины. В этом ряду вместе с семейством Бернулли можно уверенно назвать фамилию Нётер [Беркович, 2009a]. Математическая традиция этой семьи началась с Макса Нётера, ученика Альфреда Клейна и близкого друга другого ученика Клейна — Феликса Клейна, поразительно рано ставшего руководителем большой математической школы. В возрасте двадцати трех лет Клейн получил место профессора Эрлангенского университета. После внезапной смерти учителя к Феликсу Клейну в Эрланген приехали осиротевшие ученики Клейна, в их числе Макс Нётер. Между Клейном и Нётером всю жизнь сохранялись теплые, дружеские отношения, в архиве Гёттингенского университета хранится их переписка: 89 писем от Нётера и 129 от Клейна, причем большинство начинались с дружеского, неформального обращения «дорогой Нётер» [Segal, 2003, с. 270].

Макс Нётер получил неплохие математические результаты, оставившие след в математике XIX века, но сам долгое время оставался лишь экстраординариусом, несмотря на обещания Клейна сделать его полным профессором. Клейну никак не удавалось помочь другу, хотя он искренне старался использовать для этого все свое немалое влияние в математическом мире.

Через восемь лет после начала работы Макса в Эрлангене Клейн, переехавший к тому времени в Лейпциг, писал ему с грустью, что, несмотря на все усилия, он не смог отстоять кандидатуру Нётера во Фрайбурге, а ситуация в Тюбингене еще хуже, так как там факультет твердо придерживается принципа не принимать к себе на работу евреев.

В итоге ни один университет в Германии так и не пригласил Макса Нётера на должность профессора, и он ждал тринадцать лет, пока Эрланген не предоставил ему заветное звание и кафедру.

Двое детей Макса — дочь Эмма и сын Фриц — стали, как и отец, математиками. Их карьера тоже складывалась нелегко: кроме еврейства, положение детей в академическом обществе осложнялось еще и тем, что оба придерживались левых и пацифистских взглядов. Для Эммы положение вообще выглядело безнадежным, так как до веймарской эпохи преподавание в немецких университетах женщинам было запрещено.

Будь Эмма Нётер мужчиной, ее, без всяких сомнений, приглашали бы на профессорские должности лучшие университеты страны. Ей же приходилось доволь-

ствоваться титулом «экстраординарный профессор» Гёттингенского университета, полученным ею 6 апреля 1922 года, когда ей исполнилось уже сорок лет. К этому времени она уже по праву считалась среди специалистов основоположником современной алгебры, ей удалось заложить краеугольные камни в фундаменты нескольких важнейших научных направлений.

В указе о назначении Эммы Нётер на должность экстраординарного профессора специально оговаривалось, что никаких привилегий, предусмотренных государственным служащим, ей не положено (в отличие, например, от штатного экстраординарного профессора Феликса Бернштейна, который считался госчиновником).

Отец Эммы умер год назад, и если бы не разрешение читать лекции и получать за это хоть какую-то зарплату, у Эммы практически не оставалось никаких источников для существования.

Все эти материальные и моральные ущемления Эмма Нётер переносила легко и достойно, не жалуясь и не позволяя другим себя жалеть. Ее увлеченность наукой не оставляла ей времени на сетования по поводу скромной карьеры, она жила в том мире, где бытовых неурядиц просто не существует. Основные научные результаты она получала, готовясь к очередным лекциям или гуляя в окрестностях Гёттингена. Ее лекции были столь увлекательны и неожиданны по содержанию, что поток желающих попасть к ней в ученики постоянно возрастал.

В Гёттингене Эмма Нётер появилась в апреле 1915 года и быстро завоевала уважение коллег и руководителей математической школы Феликса Клейна и Давида Гильберта.

Но никакой талант и никакие заслуги не защищали от безжалостной машины подавления, запущенной Гитлером в первые месяцы после установления диктатуры. Эмма Нётер оказалась в числе первых шести преподавателей, которым Прусское министерство запретило читать лекции и отправило в бессрочный отпуск на основании упомянутого закона о восстановлении чиновничества от 7 апреля 1933 года, положившего начало массовой чистке профессорско-преподавательского состава. В черный список, опубликованный 25 апреля, входили профессора Рихард Хониг (юридическое право), Курт Бонди (социальная психология), Феликс Бернштейн (математическая статистика), Макс Борн (физика), Рихард Курант (математика) и приват-доцент Эмма Нётер (математика). Все они оказались евреями. Хотя на этом этапе с точки зрения властей не менее преступными считались либеральные политические пристрастия преподавателей.

Эмма активно участвовала в общественной жизни лишь в начале 20-х годов: в 1919–1922 годах состояла членом Независимой социал-демократической партии Германии, после чего до 1924 года — членом Социал-демократической партии (СПД). После этого заметной политической активности Эммы не наблюдалось. Но в 1931 году, незадолго до перехода власти к нацистам, она подписала «Заявление протеста республиканских и социалистических преподавателей высшей школы» против попыток националистических студентов Гейдельберга лишить права преподавания статистика и политического полемиста Эмиля Гумбеля за его «антинемецкие» и пацифистские высказывания.

Еще одно ее «преступление» с точки зрения национал-социалистов состояло в том, что в зимнем семестре 1928–1929 учебного года она читала лекции в Москве. По словам академика Павла Сергеевича Александрова, лично знакомого с Эммой, «она восхищалась советской наукой, и особенно математикой. Ее симпатии безоговорочно были на стороне Советского Союза, в котором она видела начало новой эры в истории и твердую поддержку всего прогрессивного» [Segal, 2003, с. 59], хотя открытое выражение таких симпатий было не принято в академических кругах того

времени. Возможно, это восхищение сталинским СССР передалось и ее брату, что стоило ему потом жизни.

Кроме того, в 1933 году Эмме Нётер поставили в вину проводившиеся в разные годы на ее квартире собрания левоориентированных студенческих групп. Герман Вейль полагал, что в этом и состояла, главным образом, ее «партийная деятельность»: оставаясь, по существу, в стороне от какой-либо партийной жизни, она охотно и страстно участвовала в политических дискуссиях об актуальных проблемах общества.

Куратор Гёттингенского университета в Прусском министерстве Юстус Валентинер (Justus Valentiner) — консервативный, но не национал-социалистически настроенный чиновник — дал Эмме Нётер точную характеристику в служебной записке от 9 августа 1933 года: *«Насколько я знаю, в политическом смысле фройляйн Нётер со времен революции 1918 года и до наших дней придерживается марксистских взглядов. И даже если я допускаю, что ее политические установки были и являются сейчас скорее теоретическими, чем осознанными и практическими, я убежден, что ее симпатии столь решительно отданы марксистской политике и мировоззрению, что нельзя ожидать ее безоговорочного перехода на сторону националистического государства»* [Schappacher, 1998].

На политическом жаргоне того времени «марксистские взгляды» означали «некоммунистические левые» установки, что-то вроде социал-демократических принципов СПД.

Это было время, когда трагедия и фарс шли рядом. У Эммы Нётер, которой запретили появляться в университете, осталось много учеников. Часть их приходила к ней домой за советами и помощью. Один из студентов постоянно являлся в униформе СА, что, по словам Ван дер Вардена, слегка смущало и даже веселило преподавателя. Хороший пример того, насколько далека была Эмма от реальной политики.

Гениальность Эммы Нётер удивительным образом сочеталась с поистине ангельским характером. Потеряв право на преподавание, она лишилась и своего маленького оклада. Герман Вейль отмечал позднее ее мужество, открытость, легкость, с которой она переносила тяготы, отсутствие озлобленности, умиротворяющий и веселый нрав — все это выглядело разительным контрастом на фоне царивших вокруг ненависти, подозрительности, озлобленности, страха перед неизвестным будущим и боли от жестокого настоящего. Как сказал Герман Вейль, *«ее сердце не знало злобы, она не верила в дьявола»*.

Траектории спасения

В начале XX века Соединенные Штаты Америки были привлекательным местом для эмигрантов из Европы. Наука и университетское образование в США бурно развивались, по всей стране требовались новые преподаватели и исследователи, опыт и знания европейских ученых были весьма кстати. Подбором кадров для американских университетов и институтов занимались многие организации. Среди них был активен Международный комитет по образованию, созданный Рокфеллеровским фондом. Комитет выдавал стипендии талантливым молодым ученым из Европы. Многие из них оставались потом в Америке навсегда.

Но не нужно думать, что в Америке найти место даже известному ученому было легко и просто. Нет, и свободных кафедр было не безгранично, и языковой барьер существовал, и конкуренцию с местными кадрами надо было выдержать.

Руководители многих американских университетов не доверяли европейским ученым, считая, что они не станут патриотами Америки. Дополнительные прегра-

ды выстраивал и антисемитизм в академических кругах США, ничуть не меньший, чем в Европе.

Особенно трудно стало найти место после 1933 года, когда Америку захлестнул поток еврейских беженцев из Европы. Даже высокий авторитет ученого помогал слабо. Директор Института математики в Гёттингене Рихард Курант был вместе с Эммой Нётер в апреле 1933 года отправлен в бессрочный отпуск «до окончательного решения вопроса». После мучительных колебаний Курант все же уехал из Германии: сначала в Кембридж, а в 1934 году в США. Несмотря на всемирную известность и славу, устроиться на работу ему было очень нелегко. Секретарь Американского математического общества Ричардсон писал в июне 1933 года датскому математику Харальду Бору в отношении его друга: *«Рихард Курант — способный администратор и талантливый математик и, без сомнений, не хотел бы занять в Америке второстепенную позицию. Однако, учитывая его слабое знание американских условий, я не думаю, чтобы какой-нибудь американский университет предоставил бы ему соответствующую должность»*.

Куранту в конечном счете повезло: с большим трудом он все же получил место профессора в Нью-Йоркском университете, где создал математический институт, который сейчас носит его имя.

Рихард Курант старался помочь своим коллегам, бегущим от преследований нацистов. Но часто усилия оказывались безрезультатными. В 1935 году он писал в английский Комитет поддержки ученых в отношении своего ученика, уже известного тогда математика Фрица Джона: *«К сожалению, обстановка сейчас такова, что среди американских ученых растет сопротивление к приему иммигрантов, которые могут занять рабочие места. Поэтому я не думаю, что Джон мог бы эмигрировать в Америку сейчас»* [Siegmond-Schultze, 1998, с. 170].

В отличие от Рихарда Куранта другому гёттингенскому профессору — директору Института статистики Феликсу Бернштейну — в эмиграции повезло меньше. Оказавшись в США в 1933 году, он так и не смог найти себе постоянное место работы, соответствующее его опыту и таланту. Всего через год после начала его последнего пребывания в США, в бумагах Рокфеллеровского фонда появляется запись от 21 мая 1934 года, дающая убийственную характеристику еще недавно процветающего ученого и научного организатора: *«Бернштейн — определенный неудачник среди ученых-беженцев, которым помогал фонд»* [Siegmond-Schultze, 1998, с. 217–218].

Так что распространенное мнение о том, что крупному ученому легко найти себя в эмиграции, не соответствует действительности. Эмиграция для большинства людей, не исключая и выдающихся ученых, становится тяжелым испытанием, выдержать которое удается немногим [Беркович, 2008]. Массовая эмиграция случается во времена бедствий, когда оставаться в стране, не рискуя свободой или жизнью, уже невозможно. Такие условия сложились для «неарийцев» в нацистской Германии.

Куда бежать из страны, охваченной «национал-социалистической революцией», каждый решал для себя сам. Кому-то удалось устроиться в Палестине, кто-то нашел место в Турции, кто-то уехал в Южную Америку. Но большинство ученых стремились попасть в США, где перспективы трудоустройства были самыми обнадеживающими.

Для Эммы и Фрица Нётер более привлекательным представлялось направление не на запад, а на восток. По словам П. С.Александрова, Эмма *«серьезно думала об окончательном переезде в Москву»* [Александров, 1936, с. 263]. Павел Сергеевич пишет, что он вел с Наркомпросом переговоры о предоставлении ей кафедры в Московском университете, однако в Наркомпросе, как водится, медлили и не давали окончательного решения.

Между тем время шло, и Эмма Нётер, лишенная даже того скромного заработка, который она имела до увольнения, вынуждена была принять приглашение из-за океана — в женский колледж в американском городке Брин-Мор (Bryn Mawr) в штате Пенсильвания. Кроме того, она получила возможность вести научную работу в Институте перспективных исследований в Принстоне.

Даже после отъезда из Германии Эмма Нётер не показывала и следа горечи или вражды к тем, кто сломал ее жизнь. Она оказалась одной из немногих эмигрантов, кто на следующий же год после отъезда осмелился вернуться назад: летом 1934 года она решила провести некоторое время в знакомой обстановке зеленого Гёттингена, где ей так хорошо работалось все последние годы. Главной же ее задачей было проводить любимого брата Фрица в таинственную Россию, из которой ему не суждено было вернуться. Да и самой Эмме жизнь отпустила после последней встречи с братом всего год.

Устроившись сама, она тут же стала заботиться о коллегах, кому меньше повезло в изгнании. Вместе с Германом Вейлем она организовала специальный «Фонд помощи немецким математикам», в который должны были отчислять небольшую часть своей зарплаты те ученые, которые уже нашли работу. Из собранных средств выплачивались стипендии тем, кто особенно нуждался в поддержке. Денег удавалось собрать, конечно, немного, но и эта помощь многим оказалась очень своевременной и действенной.

В Америке не все понимали масштаб ее личности ученого и человека. В актах Чрезвычайного комитета Даггена сохранилась запись, сделанная 21 марта 1935 года, за три недели до неожиданной смерти гениального ученого: *«Вчера состоялась дискуссия с президентом колледжа Брин-Мор о судьбе Эммы Нётер. Она сказала, что Эмма Нётер слишком эксцентрична и трудно адаптируется к американским условиям, чтобы заключать с ней постоянный контракт, но она оставит ее в колледже еще на два года»*.

К сожалению, Эмме не дано было проработать в колледже и этих двух лет: 14 апреля 1935 года после неудачной медицинской операции она скончалась. Альберт Эйнштейн написал в тот же день издателю «Нью-Йорк таймс»: *«По мнению самых компетентных из ныне здравствующих математиков, госпожа Нётер была самым значительным творческим математическим гением (женского пола) из родившихся до сих пор»* [Рид, 1977].

* * *

Фриц Нётер не мог последовать за сестрой в Америку, так как не надеялся найти там работу, а рисковать благополучием семьи, в которой росли двое сыновей, он не хотел. Зато в Советском Союзе для немецкого профессора место работы нашлось. В Томском государственном университете имени Куйбышева требовался специалист по вычислительной математике и математической физике.

Приглашение в Томск Фриц получил от расположенного в Швейцарии «Общества содействия немецким ученым за границей» (Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland). В Томске работали и другие немецкие математики, среди них Штефан Бергман (Stefan Bergmann) и Ганс Байервальд (Hans Bayerwald). Им удалось за два года в Сибири осуществить уникальное по тем временам издание *«Известий НИИ математики и механики»* на немецком языке, в котором печатался даже Альберт Эйнштейн [Кликушин и др., 1992].

Всего из Германии в Советский Союз эмигрировало в 30-е и 40-е годы XX века около трех тысяч немецких граждан. Большинство из них были коммунисты, спасавши-

еся от репрессий нацистов. Среди эмигрантов из Германии немалую часть составляли и евреи. По сравнению с другими странами эмиграция в Советский Союз из Германии была одной из незначительных. Столько же беженцев нашли приют в Канаде. А вот в США искали спасения 140 тысяч человек, во Франции — 100 тысяч, в Великобритании — 75 тысяч, среди них 10 тысяч детей в рамках так называемой операции «Детский транспорт». Около 60 тысяч немецких евреев нашли приют в Палестине. В Чехословакию бежало 10 тысяч человек, в страны Бенилюкса — 35 тысяч, в Италию — 68 тысяч. Дания и Швеция приняли вместе более восьми тысяч немецких евреев, Швейцария — около 25 тысяч [Unger, 2009].

Фриц Нётер добился, чтобы его увольнение из Технического университета в Бреслау было оформлено как досрочный выход на пенсию. Но получал он ее недолго, только до сентября 1934 года. В связи с переездом в СССР выплата пенсии была прекращена. В жизни профессора Нётера наступил новый этап — советский. Угрозы гитлеровских властей немецким евреям теперь для него были не страшны. Опасность подстерегала с другой стороны, о которой наивный профессор даже не догадывался.

«Член террористической шпионской организации»

Об одном экзотическом приглашении Альберта Эйнштейна на работу, поступившем летом 1933 года, рассказал мне Борис Шайн, американский математик, работавший до 1979 года в Саратовском государственном университете [Беркович—Шайн, 2009]. Речь идет о предложении великому физика стать профессором этого учебного заведения. Приглашение исходило от Гавриила Константиновича Хворостина, влиятельного человека в городе и имевшего, как говорят, высокопоставленного покровителя в Москве. В 30-е годы Хворостин стал ректором (директором) Саратовского университета и мечтал, по его словам, сделать из СГУ «Гёттинген на Волге» [Гордон, 2011]. Надо сказать, что Саратов не был Эйнштейну совсем незнакомым городом: здесь жил и работал профессор Милош Марич, с 1930 года заведующий университетской кафедрой гистологии, брат Милевы, первой жены Альберта Эйнштейна.

По словам Бориса Шайна, Эйнштейн ответил, что ему никогда не выучить русский язык. Тогда Хворостин придумал хитрый план: создать Академию наук автономной республики немцев Поволжья, сделать Эйнштейна ее президентом с хорошей зарплатой, а жить и работать физик будет в Саратове. Хворостину было, конечно, известно, что Академии наук автономным республикам не положены, они существовали только в союзных республиках, но он надеялся этот вопрос уладить с помощью своего покровителя в ЦК ВКП(б). К счастью для Эйнштейна, из этого плана ничего не вышло.

Судьба большинства эмигрантов из Германии в СССР сложилась трагически. Бежав от одной диктатуры, они пали жертвами другой. История Фрица Нётера весьма показательна. Уже в 1937 году он был арестован органами НКВД. Судебный процесс проходил в Новосибирске. Нётер был признан виновным в том, что, будучи членом террористической шпионской организации, основанной в Советском Союзе немецкими разведывательными службами, он по их заданию с 1934 года занимался шпионажем в пользу гитлеровской Германии и организацией актов саботажа на оборонных предприятиях СССР. В числе обвинений фигурировали и совсем фантастические: Фриц якобы должен был помочь немецким подводным лодкам пройти через устье Оби! Никого не озадачило, что Нётер — еврей, считающийся на родине злейшим врагом национал-социализма. Признавая под давлением следствия свою ви-

ну в подобных нелепых обвинениях, Фриц надеялся, что суд увидит всю их несуразность. Но этим надеждам не суждено было реализоваться.

Следствие продолжалось почти год: приговор был зачитан 23 октября 1938 года. Основанием для осуждения названы параграфы 6, 7, 8 и 11 знаменитой пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, находящиеся в главе «Преступления против государства» в разделе «Контрреволюционная деятельность».

Приговор оказался суров: 25 лет заключения с конфискацией имущества. Жена Фрица умерла еще в 1935 году. Оставшихся без родителей сыновей Фрица — Германа и Готфрида Нётер — в марте 1938 года просто выслали из СССР. То, что им невозможно вернуться в Германию, где они вместе с отцом в том же году были лишены немецкого гражданства, никого не волновало. К счастью, у Германа и Готфрида нашлись родственники в Швеции, откуда молодых людей удалось переправить в США. Оба получили хорошее образование и стали в Америке известными учеными. Но то, что судьба сыновей Нётер сложится благополучно, никто тогда не мог знать.

Фактических доказательств вины Фрица перед советской властью не было и не могло быть. В приговоре есть ссылка на показания самого обвиняемого, сделанные на предварительном следствии, а также протоколы очных ставок с другим обвиняемым, бывшим директором института Львом Александровичем Вишневым. Когда пятьдесят лет спустя Пленум Верховного суда СССР вновь исследовал материалы дела, то было установлено, что все указанные протоколы подделаны. Не было на самом деле ни признания Фрица Нётера, ни показаний против него со стороны Вишневого. Допросы бывших сотрудников Фрица, выступавших в качестве свидетелей, однозначно говорят о лояльности Нётера советской власти, никаких антисоветских высказываний от него никто не слышал. Косвенным подтверждением этого служит и тот факт, что Фриц готовился принять советское гражданство.

Кроме того, и почвы для шпионажа у немецкого профессора не было: в Институте математики и механики Томского университета не велись работы по развитию каких-либо современных систем вооружения. К единственному баллистическому отделу, в котором исследовались какие-то военные задачи, хоть и не связанные ни с каким секретным оружием, Нётер никакого отношения не имел. К секретным работам допуска у профессора не было, ни в какие военные тайны его не посвящали.

Не исключено, что и Эйнштейну грозила судьба несчастного Фрица Нётера, при этом предложение переехать в Саратов. Фриц тем временем отбывал тюремное заключение в Орловском центре.

Когда в конце лета 1941 года война с бывшим союзником, а теперь заклятым врагом — гитлеровской Германией — подкатила к городу Орлу, большая часть заключенных Орловского центра была этапирована в другие тюрьмы и лагеря, подальше от линии фронта. Но от наиболее опасных своих врагов Сталин решил избавиться немедленно. Он подписал специальное постановление высшего в то время государственного органа — Государственного Комитета Обороны за № ГКО-634сс от 6 сентября 1941 года, позволявшее Военной коллегии Верховного суда СССР осуждать людей и выносить им смертные приговоры. При этом даже возбуждать уголовное дело и проводить предварительное и судебное разбирательства не требовалось.

В отношении 157 орловских заключенных, в том числе и Фрица Нётера, смертный приговор был вынесен 8 сентября 1941 года. Военная коллегия под председательством В. В. Ульриха заочно осудила заключенных по статье 58-10 (часть вторая) за антисоветскую агитацию и пропаганду и приговорила их к расстрелу.

Сталин придавал операции по уничтожению своих политических противников такое большое значение, что не доверил расстрел заключенных местной тюремной администрации, как было обычно принято. Через день после вынесения пригово-

ра в Орел выехала специальная бригада оперуполномоченных из Центра, задачей которых было привести приговор в исполнение. Фриц Нётер был расстрелян одним из первых — 10 сентября.

Все эти подробности стали известны в 1988 году, когда сыновья Фрица — Готфрид и Герман — обратились к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой сообщить судьбу их отца. По указанию Генерального секретаря ЦК КПСС Верховный суд СССР поручил Генеральной прокуратуре пересмотреть «дело профессора Нётера».

В Постановлении Верховного суда СССР № 308-88 от 22 декабря 1988 года говорится: «С учетом всех этих обстоятельств следует заявить, что Нётер был осужден безосновательно. В соответствии с пунктом 1 параграфа 18 Закона о Верховном суде СССР Верховный суд СССР постановляет: приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 23 октября 1938 года и от 8 сентября 1941 года в отношении Нётера Фрица Максимилиановича отменить и дальнейшее судопроизводство прекратить в связи с отсутствием состава преступления». Постановление подписано Председателем Верховного суда СССР С. И. Гусевым.

На могиле Регины Нётер на католическом кладбище старинного городка Генгенбах, рядом с надгробной плитой с ее именем, которую Фриц своими руками установил в 1935 году, его сыновья поставили новый памятный знак: камень, на котором каждый может прочитать такую надпись:

В память
профессора доктора Фрица Александра Нётера
7 октября 1884 Эрланген — 10 сентября 1941 Орел
Железный крест 1914—18
ЖЕРТВА ДВУХ ДИКТАТУР
1934 — изгнан из Германии из-за расы
1938 — в Советском Союзе обвинен и осужден
1941 — казнен
1988 — объявлен невиновным

Казалось бы, в деле несчастного профессора, попавшего в жернова двух самых безжалостных диктатур кровавого XX века, можно поставить точку. Однако жизнь преподносит иногда такие повороты сюжета, которые не выдумает ни один драматург.

Жизнь после смерти

В 2009 году после публикации моей статьи [Беркович, 2009а] о семье математиков Нётер уже знакомый читателю Борис Шайн сообщил в редакцию «Заметок по еврейской истории» поистине сенсационную новость: Фрица Нётера видели живым в Москве поздней осенью 1941 года, то есть после официальной даты его расстрела — 10 сентября. Новостью, правда, сообщение Бориса Шайна назвать трудно, ибо первый раз автор упомянул об этом факте еще в 1981 году в немецком реферативном журнале по математике «*Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete*». Реферируя книгу Аугусты Дик об Эмме Нётер [Dick, 1981], Борис сделал в реферате примечание: «...однако, как говорил мне один мой знакомый, он встретил Фрица Нётера в самом центре Москвы в самом конце 1941 года или в начале 1942 года. После этого, насколько я знаю, никто не встречался с ним больше. Это показывает, что в конце 1941 года Фриц Нётер был еще жив» [Беркович—Шайн, 2009].

До отъезда в США в 1979 году Борис Моисеевич Шайн работал в Саратовском государственном университете. Вот что он сам написал спустя 28 лет (я только исправил год смерти Савелия Владимировича):

В Саратове на мехмате нашей кафедрой аэро- и гидродинамики заведовал проф. Савелий Владимирович Фалькович, он умер в 1982 г... Все, что я дальше говорю о Ф. Нётере, я слышал от него. Как-то (думаю, где-то в 70-х годах), мы разговорились о жертвах сталинского террора, и он заметил, что даже в самые плохие годы кое-кого изредка выпускали из тюрем и лагерей.

Он рассказал как, будучи аспирантом или недавно защитившимся сотрудником того же мехмата, он ехал в командировку в Москву в начале войны (кажется, в декабре 1941 г., но точного месяца я уже не помню). Я родился в Москве, война началась в мой третий день рождения, и нас эвакуировали в конце сентября или октябре 1941 г., когда... город собирались сдать немцам. (Мне кажется, что время, когда Фалькович был в Москве в тот раз, было после того, как мы оттуда уехали, но на 100% я в этом не уверен). Чтобы купить билет на поезд, нужно было предьявить так наз. «мандат», который у него был. В Москве в вагоне метро он неожиданно встретил Фрица Нётера, с которым был знаком с предвоенных времен. Поскольку Фалькович знал из слухов, что Нётера арестовали, он не поверил своим глазам, но поздоровался и проф. Нётер его узнал [Беркович—Шайн, 2009].

Обратим внимание на слова про «мандат», мы к ним вернемся позднее. Далее Борис Моисеевич пересказывает со слов Савелия Владимировича Фальковича историю появления Фрица Нётера в Москве (я только исправил оговорку «Омск» на правильное «Томск»):

Нётер рассказал, что его арестовали в Томске, держали в Орле, он все время доказывал свою невиновность (если я правильно помню, его обвиняли в шпионаже в пользу нацистской Германии). Затем его неожиданно освободили, он только что приехал в Москву и ехал на Лубянку, где должен был получить билет для проезда в Томск к своей семье. На Лубянке он собирался жаловаться на поведение НКВД во время ареста — что-то насчет его книг. Кажется, какие-то из них забрали работники НКВД во время обыска в его квартире. Фалькович пожелал ему успеха, они распрощались, и больше Фалькович его никогда не видел. Более того, он спрашивал многих людей, и никто ничего не знал о Нётере. Т. е. «все» знали, что его арестовали, и он исчез, но деталей никто не знал [Беркович—Шайн, 2009].

Напомню, что первоначальный приговор Фрицу Нётеру включал не только тюремное заключение сроком 25 лет, но и конфискацию имущества, так что вопрос с пропавшими книгами выглядит вполне естественно и правдоподобно.

Реферат Бориса Шайна в немецком журнале нашел одного из самых заинтересованных читателей — сына покойного профессора Нётера. Старший сын Фрица — Герман — стал химиком, а младший — Готфрид — пошел по стопам отца, деда и знаменитой тети — стал математиком, руководителем отделения статистики в американском университете Коннектикута. Готфрид прочитал реферат и нашел его автора. Вот что об этом пишет сам Борис (исправляю еще одну оговорку: «Отто» вместо «Готфрид»):

По возвращении в Америку осенью того же года я получил письмо от Готфрида Нётера, который был Chairman of the Department of Statistics at the University of Connecticut in Storrs (а может, он мне звонил, пока меня не было, и просил перезвонить ему, уже не помню). Он читал мой реферат и заинтересовался замечани-

ем, которое я там сделал. Он сказал, что хорошо помнит, как арестовывали его отца. Отец исчез, и больше они его никогда не видели. По их сведениям отца выдали гестапо в группе других антинацистов (или, в коминтерновской и советской фразеологии, «антифашистов») [Беркович—Шайн, 2009].

Напомню, что разговор происходил в 1981 году, за семь лет до того момента, когда детям Фрица советские власти официально сообщили судьбу их отца. Слухи о выдаче Фрица Нётера нацистам не подтвердились, хотя такое изощренное издевательство над людьми, которых можно было бы считать союзниками советской власти, в те годы было распространено.

Естественно, Готфрид Нётер захотел встретиться с Фальковичем, адрес и телефон которого сообщил ему Борис Шайн, но «железный занавес» в то время выглядел абсолютно непроницаемым, и встреча не состоялась. В том же 1981 году у Савелия Владимировича произошел инсульт, и через год он скончался.

Для оценки правдоподобности приводимых Борисом Моисеевичем сведений уместно привести мнение сына профессора Фальковича — Александра Савельевича — о его университетском преподавателе и руководителе дипломной работы:

У нас на мехмате Саратовского университета было много хороших и очень хороших преподавателей и ярких личностей, но Борис Моисеевич выделялся даже на этом фоне. Казалось, что математику он знал всю целиком, что во второй половине 20 века вряд ли возможно. У него были обширные познания в истории, языках и литературе. Доктор физико-математических наук в 27 лет (а в 29 опять кандидат — антисемитское лобби в ВАКе не утвердило). Он говорил очень быстро — и в бытовом общении и на лекции — но не как футбольный комментатор Синявский, не захлебываясь, а очень четко. Надеюсь, что он и сейчас говорит так же. Речь Бориса Моисеевича была грамматически правильной, все периоды правильно завершались и согласовывались, и не было ощущения суетливости — весь этот устный текст был плотно заполнен информацией и мыслями. Каждый вопрос быстро освещался со всех сторон, с необходимыми оговорками и взаимосвязями со всем, чем можно и нужно. При этом лекцию можно было легко записать, потому что он отделял интонацией крупный шрифт от мелкого. Мог привести пример из совершенно неожиданной области, который всегда оказывался очень уместным. Я такого больше никогда не видел.

Я об этом рассказываю потому, что вчера понял — все эти годы я считал голову Бориса Моисеевича какой-то совершенной машиной, и память его — компьютерной памятью, подчиняющейся законам реляционной алгебры, а не человеческой психологии. То есть что вся информация в его сознании не то что не забывается, но хранится точно в том виде, в котором он ее туда поместил — не обобщается на первичном уровне, не отделяется главное от второстепенного, не отсекаются незначачные детали и т. д. А над всем этим хранилищем уже совершаются мыслительные процессы.

Вчера я понял, что это мое представление было очень наивным — просто я об этом не задумывался никогда. Мое восхищение Борисом Моисеевичем от этого не уменьшилось (из комментариев к статье [Беркович—Шайн, 2009]).

И словно подводя итог оценке личности своего бывшего научного руководителя, Александр Фалькович пишет:

А вообще, почему папа рассказал эту историю именно Борису Моисеевичу? Может быть, именно зная о точной памяти Шайна, его неравнодушии, общительности и широком круге знакомств, в том числе с зарубежными математиками, па-

па надеялся, что про встречу с Нётером станет известно (из комментариев к статье [Беркович—Шайн, 2009]).

Если так, то Савелий Владимирович не ошибся — именно благодаря Борису Шайну мы обсуждаем сейчас эту историческую загадку: когда и с какой целью Фриц Нётер был выпущен на свободу из Орловского централа?

Правдоподобная гипотеза

Сразу оговорюсь, что в последующих рассуждениях мы с каменной тропы фактов переходим на зыбкую почву правдоподобных рассуждений. Пока не раскрыты и не исследованы все архивы, связанные с «делом профессора Нётера», мы не можем достоверно говорить, как собирались использовать немецкого математика еврейского происхождения НКВД и высшее руководство СССР. Тем не менее определенные суждения мы можем высказать и сейчас, опираясь на имеющуюся информацию.

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что сам факт встречи Савелия Фальковича с Фрицем Нётером в Москве установлен достаточно убедительно. Феноменальная память Бориса Шайна ухватила и навсегда зафиксировала этот эпизод в случайном, в общем-то, разговоре: *«То, что Фалькович сказал мне, что видел Нётера в Москве, — это я хорошо помню. О времени этой встречи — тут я на 100 % не уверен. Про железнодорожный «мандат» я помню хорошо. Но их, кажется, ввели задолго до войны. Может быть, это было перед войной, но мне кажется, что после ее начала. Так или иначе, Фальковичу не было никакой необходимости что-то сочинять, про Нётера он сказал чисто случайно. Т. е. я уверен, что Ф. его действительно видел. Значит, Нётера на самом деле выпускали из тюрьмы, а потом снова посадили, притом до того, как он успел с кем-то связаться, а может, и связался с кем-то, но мы об этом не знаем»* [Беркович—Шайн, 2009].

Точно так же уверен в том, что его отец встретился с Фрицем Нётером, и сын Савелия Владимировича — Александр:

Эта встреча действительно имела место (Борис Моисеевич не мог перепутать, а уж Савелий Владимирович — естественно, т. к. это произошло с ним самим) (из комментариев к статье [Беркович—Шайн, 2009]).

Менее определенно можно говорить о времени встречи. Почему мне представляется декабрь 1941 года более надежной датой встречи Нётера и Фальковича в Москве, чем любой довоенный месяц? Вспомним, что говорил Борис Шайн про мандат: *«Чтобы купить билет на поезд, нужно было предъявить так наз. „мандат“, который у него был»*. И в другой раз: *«Про железнодорожный „мандат“ я помню хорошо. Но их, кажется, ввели задолго до войны»*.

Насколько могу судить по воспоминаниям родственников и других знакомых людей, мандата для поездки в столицу до войны не требовалось. В гости к москвичам приезжали родственники из других городов и сел. Вряд ли требовались мандаты свинарке Глаше из российской деревни и пастуху Мусаibu из дагестанского аула, героям фильма «Свинарка и пастух», которые приезжают в довоенную Москву на сельскохозяйственную выставку.

Все изменилось после 22 июня 1941 года. В первый день Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР утвердил два важных для нашей темы

указа: «Указ о военном положении» и «Указ об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» [Орлов—Лебединский, 1947, с. 511—518].

Второй указ определял список регионов, в которых вводилось военное положение. Среди них были Москва и Московская область, но не было ни Саратова, ни Саратовской области. Вот с введения в Москве военного положения въезд в столицу стал возможен только по специальному мандату.

Историк Марк Солонин в беседе со мной подтвердил, что мандатов для въезда в Москву до войны не требовалось, и высказал еще более сильное предположение: мандаты потребовались после введения в столице режима *осадного положения*. Оно было введено Постановлением Государственного Комитета Обороны от 19 октября 1941 года и объявлялось вступившим в силу на следующий день — 20 октября.

Так что встреча Фальковича и Нётера в Москве, вероятнее всего, произошла в конце ноября — декабре 1941 года. А теперь задумаемся, с какой целью выпустили из тюрьмы «опасного преступника», попавшего в список 157 заключенных Орловского центра, которых непременно нужно было расстрелять перед приходом гитлеровцев?

Здесь на память приходит история Хенрика Эрлиха и Виктора Альтера, видных деятелей международного социалистического движения и руководителей польской рабочей еврейской партии «Бунд», арестованных советскими чекистами осенью 1939 года [Беркович, 2010]. Если 10 сентября 1941 года Фриц Нётер, вопреки официальной информации, не был расстрелян, а, напротив, был выпущен на свободу, то его судьба с точностью до дней совпадает с судьбами Эрлиха и Альтера. Ведь их тоже освободили 12—13 сентября после того, как в июле—августе приговорили к расстрелу.

Цель руководства СССР в их случае понятна: Сталин собирался привлечь польских евреев к созданию антигитлеровского комитета. Предложение исходило от Лаврентия Берии, наркома НКВД, присутствовавшего на некоторых допросах руководителей Бунда и Второго Интернационала. Главным аргументом при выборе Эрлиха и Альтера для столь необычной задачи являлась международная известность обоих деятелей рабочего и социалистического движения.

Мог ли найти свое место в этой «компании» Фриц Нётер? Безусловно! Профессор Нётер был хорошо известен среди коллег-математиков всего мира не только сам, но и как представитель славной математической династии: сын профессора Макса Нётера и брат великой Эммы Нётер. Чекисты знали, что на Международном математическом конгрессе 1936 года в Осло, в котором участвовал Фриц и куда не был выпущен ни один советский математик, профессор из Томского университета тесно общался с коллегами из разных стран.

Когда Фрица арестовали, сам Альберт Эйнштейн ходатайствовал о нем и его детях. В 1994 году опубликован русский перевод письма великого физика наркому иностранных дел М. М. Литвинову. Письмо написано в апреле 1938 года, когда подследственный Фриц ждал вынесения приговора:

Господину Народному Комиссару

Литвинову

Москва, СССР

28 апреля 1938 г.

Глубокоуважаемый господин Литвинов!

Обращаясь к Вам с этим письмом, я выполняю тем самым свой долг человека в попытке спасти драгоценную человеческую жизнь. Речь идет о математике, профессоре Фрице Нетере, который в 1934 г. был назначен профессором Томского университета. 22 ноября 1937 г. он был арестован и препровожден в Новосибирск в связи с обвинением в шпионаже в пользу Германии. Два его сына были 20 марта 1938 г. высланы из России.

Я очень хорошо знаю Фрица Нетера как прекрасного математика и безукоризненного человека, не способного на какое-либо двурушничество. По моему убеждению, выдвинутое против него обвинение не может иметь под собой оснований. Моя просьба состоит в том, чтобы Правительство особенно обстоятельно расследовало его дело, дабы предотвратить несправедливость по отношению к исключительно достойному человеку, который посвятил всю свою жизнь напряженной и успешной работе. Если его невиновность подтвердится, я прошу Вас поспособствовать тому, чтобы и оба его сына смогли вернуться в Россию, чего они хотят более всего. Эти люди заслуживают особого к ним внимания.

С глубоким уважением

Профессор А. Эйнштейн [Эйнштейн, 1994, с. 187–193].

Ходатайствовал за Фрица Нётера и известный математик Герман Вейль, ставший на короткое время директором знаменитого Института математики Гёттингенского университета. В письме, написанном 3 октября 1939 года математику Н. И. Мухелишвили, Вейль, тоже вынужденный эмигрировать из Германии, страхась за судьбу двух сыновей и жены-еврейки, просил грузинского коллегу подключить к делу Фрица Нётера всемогущего Лаврентия Берию, которого Вейль назвал в письме Николаю Ивановичу «*твой друг*» [Siegmond-Schultze, 1998, с. 121].

Так что профессор Нётер мог бы своей известностью в научных кругах оказаться полезным и в проекте Еврейского антигитлеровского комитета. Именно известных ученых, способных привлечь к проекту интеллектуалов всего мира, не хватало коллективу, складывавшемуся вокруг Эрлиха и Альтера: там были актеры и режиссеры, литераторы и журналисты, политики и деятели профсоюзного и рабочего движения, но ученых, с которыми лично были бы знакомы Альберт Эйнштейн и Герман Вейль, найти было нелегко.

Фриц Нётер в этом смысле подходил организаторам Еврейского антигитлеровского комитета идеально: всемирно известный математик, еврей по происхождению, сторонник левых, социалистических взглядов, подвергавшийся преследованию со стороны Гитлера и лишенный в 1938 году немецкого гражданства...

Предположение о том, что Фриц Нётер рассматривался руководством НКВД в качестве возможного члена создаваемого антигитлеровского комитета, объясняет и отмену расстрельного приговора от 8 сентября, и освобождение из Орловского централа, и встречу с Савелием Фальковичем в ноябре—декабре 1941 года.

Планы Сталина в отношении Эрлиха и Альтера и проекта антигитлеровского комитета круто изменились именно в декабре 1941-го. Тогда произошло временное сближение с правительством Польши в изгнании, которым руководил генерал Сикорский. 3 декабря 1941 года состоялась встреча Сталина и Молотова с Сикорским и недавно освобожденным из Лубянки генералом Андерсом. Во время этой встречи польские руководители подняли вопрос о бесследно исчезнувших тысячах польских офицеров, расстрелянных годом раньше в Катynie. Сталину пришлось пережить несколько неприятных минут, когда поляки своей настойчивостью буквально прижали его к стенке. Всесильному диктатору пришлось придумывать жалкую ложь о том, что польские офицеры в массовом порядке убежали якобы в Маньчжурию.

Понятно, что Сталину было крайне неприятно неуклюже изворачиваться от прямых вопросов Сикорского. Но он бы попал в еще более щекотливое положение, если бы правда о случившемся в Катынском лесу стала известна миру. То, что Эрлих и Альтер взяли за поручение Сикорского, переданное польским послом в СССР С. Котом, разыскать следы пропавших офицеров, стало известно вождю от приставленных к полякам наблюдателей от НКВД. Своей политической наивностью бундовцы фактически подписали себе второй смертный приговор. На этот раз — окончательный.

На следующий день после встречи Сталина с Сикорским и Андерсом Эрлих и Альтер были арестованы в Куйбышеве, и уже никто на свободе не видел их живыми. В том же декабре исчез и Фриц Нётер, которого после Савелия Фальковича никто больше живым не встречал. Проект Еврейского антигитлеровского комитета закрылся, так и не начавшись. Актеры, предназначенные на главные роли, оказались не нужны. Мавр может умереть, даже не сделав своего дела.

Верна ли наша гипотеза о связи Нётера с Еврейским антигитлеровским комитетом, или НКВД использовал немецкого профессора в какой-то другой своей игре, мы узнаем только тогда, когда откроются все соответствующие архивы. А сейчас даже изученные историками фонды содержат большие лакуны. Гертруда Пикхан, которой разрешили в архиве КГБ на Лубянке ознакомиться с «делами» Эрлиха и Альтера, отмечает, что в предоставленных ей томах отсутствуют протоколы многих допросов. Например, лейтенант НКВД Федотов, который вел дело Альтера в Москве, в постановлении о продлении срока заключения от 12 сентября 1940 года указывает, что уже состоялись 33 допроса подследственного. Однако в деле Альтера, которое предоставили для изучения Гертруде Пикхан, содержалось всего 15 протоколов, то есть большая часть документов из «дела» была изъята [Pickhan, 1994, с. 164].

Что уж говорить о «деле Фрица Нётера», которого никто не видел: детям профессора предоставили только решение Верховного суда о реабилитации.

«Как собеседника на пир»

Часто вспоминают вещие слова поэта: *«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые»*, мысленно ставя кавычки вокруг слова «блажен». Три наших героя — Фриц Нётер, Виктор Альтер, Хенрик Эрлих — безусловно, сполна ощутили на своей судьбе эти «минуты», длившиеся годы, когда две кровавые диктатуры, то объединяясь, то воюя друг с другом, рвали на части карту Европы и уничтожали миллионы жизней. Вряд ли представлял себе и сам Федор Иванович Тютчев, что означают его пророческие слова, ибо буквально в следующих строчках уточнял: *«Его призвали всеблагие как собеседника на пир»*. Если и «призвали всеблагие», то не «как собеседника», а как корм для ненасытных людоедов, как топливо в пылающие костры, на которых сгорала цивилизация.

В спокойные времена Хенрик Эрлих стал бы успешным адвокатом, Виктор Альтер — преуспевающим инженером, и вряд ли бы они пересеклись по жизни с благополучным немецким профессором математики Фрицем Нётером. Но история распорядилась по-своему, и глобальный террор двух диктатур привел их судьбы к общему знаменателю: все трое бежали от одной диктатуры, а погибли в застенках другой.

В тоталитарном государстве террор приобретает новые черты, это уже не средство справиться с чрезвычайной ситуацией, он не направлен больше на идеологических врагов, как было всегда. В XX веке в сталинском Советском Союзе и гитлеровской Германии террор становится сутью и формой существования режимов, он приобретает системность, не слыханный ранее масштаб и не разделяет врагов и друзей.

Идеология оказалась сильнее здравого смысла, диктатура уничтожала не столько своих потенциальных противников, сколько ни в чем не повинных людей, готовых верно и беззаветно поддерживать существующий строй. Так тиран готовит свое будущее поражение и приближает свой конец.

В мае 1933 года великий физик Макс Планк добился приема у Гитлера и пытался убедить свежеепеченного рейхсканцлера, что такие люди, как Фриц Габер или Альберт Эйнштейн, полезны для страны. По мнению Планка, для таких евреев следова-

ло бы сделать исключение и дать им возможность продолжать научные исследования на благо Германии. Планк настаивал, что нужно подходить к евреям дифференцированно, делать различия между ними. Гитлер резко возразил: «*Это неверно. Жид есть жид, все евреи связаны одной цепью. Где есть один жид, там сразу соберутся евреи всех видов*».

Макс Планк осмелился возразить рейхсканцлеру, что изгнание за рубеж лучших ученых ослабит Германию и, наоборот, укрепит возможных противников. В ответ на это Гитлер стал хвастаться, что обойдется без евреев, его речь становилась все более быстрой и возбужденной, в конце концов фюрер впал в такой раж, что сильно ударил себя по колену и закончил с угрозой: «*Говорят, что я страдаю временами от нервной слабости. Это клевета. У меня стальные нервы*». Планку не оставалось ничего другого, как замолчать и попроситься [Беркович, 2009].

Не нужно искать логики и здравого смысла в преступлениях тиранов. Внешне во всех этих «операциях» и «акциях», в которых задействована вся мощь тоталитарного государства, видна продуманная система и глобальная цель, диктуемая идеологической грезой. Но, по сути, эта цель не имеет ничего общего с процветанием государства или с благополучием людей. Уничтожая евреев Европы, Гитлер хотел осчастливить Германию. Осуществляя Большой террор, Сталин хотел усилить Советский Союз в предстоящей войне. На деле оба достигли противоположных результатов.

Идеологическая греза ослепляет. Тот, кто недрогнувшей рукой написал в 1937 году полную ярости записку членам Политбюро: «*Всех немцев на наших военных, полувосенных и химических заводах, на электростанциях и строительствах, во всех областях всех арестовать*» [Охотин—Рогинский, 1999], вполне мог бы написать то же самое и в 1953-м, заменив «немцев» «евреями» или любой другой национальностью, благо под жестокой властью Кремля оказались десятки народов многонационального советского государства.

У диктаторов, как правило, «*стальные нервы*», а доводы разума им не указ, если эти доводы противоречат идеологической иллюзии. И хотя своей безумной непреклонностью тиран сам роет себе могилу, он успеваеет сломать жизнь ни в чем не повинных людей. Трагизм XX века усугублялся еще и тем, что обе диктатуры действовали синхронно, как два жернова, перемалывающих тысячи жизней. Спасшийся от одной диктатуры часто оказывался в лапах другой, и выход из этой ловушки найти было нелегко.

Литература

Ball-Kaduri, Kurt-Jakob. 1963. Das Leben der Juden in Deutschland im Jahre 1933: Ein Zeitbericht. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 1963.

Bredow-Noetzel. 2009. Wilfried von Bredow, Thomas Noetzel: Politische Urteilskraft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009.

Buber, Martin. 1973. Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. Hrsg. v. Grete Schaeder, Bd.2, 1918—1938. Heidelberg : Verlag Lambert Schneider, 1973.

Dick, Auguste. 1981. Emmy Noether: 1882—1935. Boston—Basel— Stuttgart: Birkhäuser, 1981.

Engelmann, Bernt. 1998. Deutschland ohne Juden. Göttingen: Steidl, 1998.

Pickhan, Gertrud. 1994. Das NKWD-Dossier über Henryk Erlich und Wiktor Alter. Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte. Institut für Geschichtswissenschaften. Berlin, S. 155—186. 1994.

Schappacher, Norbert. 1998. Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus. In: Heinrich Becker, Hans-Joachim Dahms и Cornelia (Hrsg.) Wegeler. Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus, S. 523—551. München : K. G. Saur, 1998.

Segal, Sanford L. 2003. *Mathematicians under the Nazis*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003.

Siegmund-Schultze, Reinhard. 1998. *Mathematiker auf der Flucht vor Hitler*. Braunschweig; Wiesbaden: Deutsche Mathematiker Vereinigung, 1998.

Unger, Corina. 2009. *Reise ohne Wiederkehr?* Darmstadt: Primus Verlag, 2009.

Walk, Josef (Hrsg.). 1981. *Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat*. Heidelberg: UTB Uni-Taschenbücher Verlag, 1981.

Александров П. С. Памяти Эмми Нетер. Речь, произнесенная президентом Московского математического общества П. С. Александровым на заседании общества 5 сентября 1935 г. *Успехи математических наук*. 1936. № 2.

Беркович Евгений. Гипотеза Ферма и казус Радзиховского. *Заметки по еврейской истории*. 2008. № 7(98).

Беркович Евгений. Одиссея одной династии. *Еврейская старина*. 2009. № 2.

Беркович Евгений. Прецедент. Альберт Эйнштейн и Томас Манн в начале диктатуры. *Нева*. 2009. № 5.

Беркович Евгений. Расстреляны при невыясненных обстоятельствах. Загадки предыстории Еврейского антифашистского комитета. *Еврейская старина*. 2010. № 1 (64).

Беркович Евгений, Шайн Борис. Одиссея Фрица Нётера. Послесловие. *Заметки по еврейской истории*. 2009. № 11 (114).

Гордон Евгений. Адресат Л. С. ПонTRYгина — И. И. Гордон. *Семь искусств*. 2011. № 11.

Кликушин М. В., Красильников С. А. *Анатомия одной идеологической кампании 1936 г.: «Лузинщина» в Сибири*. Советская история: проблемы и уроки. Новосибирск, 1992.

Орлов Д. И., Лебединский В. Г. *История советской прокуратуры в важнейших документах*. М.: Юридическое издательство, 1947.

Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937–1938 гг. В книге: И. Л. Щербакова (Ред.-сост.). *Наказанный народ. Репрессии против российских немцев*. М.: Звенья, 1999.

Рид Констанс. Гильберт. М.: Наука, 1977.

Эйнштейн Альберт. Письмо Альберта Эйнштейна М. М. Литвинову в защиту проф. Ф. Нётера. 28 апреля 1938. Публ. и пред. В. Я. Френкеля. Пер. Л. В. Славгородской и В. Я. Френкеля. *Звезда*. 1994. № 12. С. 187–193.

Юлия ЩЕРБИНИНА

УПРАЖНЕНИЕ В НИЧТОЖЕСТВЕ Феномен глумления

Нет пытки, которая сравнялась бы с пыткой глумления.

Виктор Гюго. Человек, который смеется

«Он поглумился над моими лучшими чувствами!» — сетует обманутая парнем девушка. «Убийца долго глумился над жертвой», — сообщает криминальная хроника. «Сказано не на глум, а на ум», — гласит пословица. Мы часто употребляем слово, но верно ли понимаем смысл? В чем суть глумления?

Инфернальное развлечение

Специализированных научных работ о глумлении ничтожно мало, а в тех, что есть, исследователи пытаются подобраться к этому явлению через смежные: нигилизм, аморализм, цинизм. Таков, например, подход немецкого философа Петера Слотердайка в «Критике цинического разума» (1983). Большинство толковых словарей определяют глумление как злобное и оскорбительное издевательство, осмеяние, вышучивание, доставляющие удовольствие говорящему. В русском языке с глаголом «глумиться» соотносятся также *куражиться, изыматься, потешаться*.

Между тем за сухими словарными толкованиям такая глыба истории, такая цитадель культуры, что становится очевидно: глумление невозможно целиком свести ни к роду оскорбления, ни к разновидности насмешки. Разница между глумлением и оскорблением примерно такая же, как между *ругательством* (бранным высказыванием) и *надругательством* (осквернением, бесчестьем). Последнее слово в определенных контекстах может выступать синонимом глумления.

Животные не глумятся — только люди. Глумливый смех — это не звериный оскал, скорее сатанинская ухмылка. Еще как-то возможно глумливо шутить, но никак нельзя глумиться в шутку, притворно. Глумление слишком очевидно, чтобы его не заметить и предельно однозначно, чтобы с чем-либо спутать. Усомнившись или не разобравшись, могут спросить: «Ты шутишь?», «Вы смеетесь?» И даже: «Это издевка?» Но никому не придет в голову задать прямой вопрос: «Ты глумишься?» Смех в глумлении не очищающий и не освобождающий — это смех насилия, разрушения, уничтожения.

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доктор педагогических наук, специалист в области книговедения и коммуникативных дисциплин. Автор ряда научных, научно-популярных, учебных книг и многочисленных статей в журнальной периодике. Лауреат премий журнала «Нева» (2014), журнала «Октябрь» (2015).

Глум иррационально инфернален, что отражено уже в мифологических представлениях. *Глумица* — устаревшее региональное название привидения, жуткой неопределенной тени на стене, вообще нечистой силы. «Нечистики» *глумятся* — то есть мерещатся, чуются, неожиданно появляясь и исчезая. В Новгородской губернии *поглумом* обобщенно называли внезапно, случайно и странным образом полученные физические повреждения. Здесь семантика иноприродности и противоестественности: глумление — удел бесов; самопроявление зла в жизни людей.

Глумцами в старину называли также скоморохов, а *глумами* — скоморошья выступления, в которых и злободневная сатира, и лукавое насмехательство над несовершенством мира, и обнажение изнанки быта, приоткрывающей бездну бытия. Воспринимавшийся в язычестве как маргинальный двойник жреца, «перевернутый» образ волхва, в христианстве скоморох превратился в инфермальную фигуру, прислужника сатаны. Церковь усматривала в скоморохах «позоры бесовския», песни и пляски их считала дьявольски «всескверненными».

Переход поношения и высмеивания непосредственно в глум достигается не интенсивностью речевого воздействия — особой злобностью, беспримерной жестокостью высказываний, а особой мотивацией и специфической целью. Коммуникативная направленность глумежа не только, а часто даже и не столько в стремлении обидеть, унижить. Глумлением уничтожается достоинство, «обнуляется» ценность объекта. Часто глумотворец вообще не смеется, говорит и поступает абсолютно серьезно. Принципиальное отличие насмехательства от глумления — трансгрессия, выход за рамки дозволенного, преодоление моральных ограничений, взлом культурных табу.

В «Горе от ума» фамусовское общество насмехается над Чацким, но не глумится. В финальной сцене пушкинского «Выстрела» Сильвио насмехается и даже издевается, но все же не глумится над графом. А вот чиновники в «Шинели» и насмехаются, и глумятся над безответным Башмачкиным: здесь злословие превращается в увеселение, потеху. Упрощенно-обобщенная формула глума — *мучение как развлечение*.

Страсти Христовы

В европейской культуре присутствует универсальный архетип глумления и его устойчивые иконографические сюжеты: Поругание Христа и Увенчание терновым венцом. В изобразительном искусстве особое место занимает образ «Христа страждущего». Пожалуй, наибольшего пластического драматизма исполнен дюреровский «Христос-страстотерпец, высмеиваемый солдатом», сидящий на крышке гроба как вечное посмешище для своих земных мучителей (фронтиспис серии гравюр на металле «Большие страсти»). Из русской живописи вспомним незавершенную картину Ивана Крамского «Хохот (Радуйся, царь Иудейский)», изображающую сцену облачения Иисуса в багряные одежды, чтобы в насмешку поклоняться Ему как царю.

Однако Христова жертва не просто архетипический сюжет европейской культуры, но во многом культуру эту сформировавший и определивший ее генезис. Для всей европейской цивилизации этот сюжет как ковчег для иконы, обрамляющий ее и создающий эффект окна в иной мир. И любой акт глумотворчества — даже совсем беспомощный или самый ничтожный — содержит символическое воспроизведение Страстей Христовых, уменьшенное до масштабов частной человеческой судьбы. Притом вовсе не важно, кто конкретно глумится: верующие, атеисты, агностики. И всякий, над кем глумятся, автоматически становится мучеником, поскольку в акте глума уничтожается не *самолюбие* отдельной личности, но человеческое *достоинство* в целом.

Онтологическая взаимосвязь любого глумления со Страстями Христовыми как бы обеспечивает его жертве моральное алиби, даже если жертва насковозь порочна, греховна и не менее отвратительна, чем ее истязатель. Почему? Потому что глумление как издевательство ради удовольствия не имеет никаких моральных оправданий, никаких этических обоснований.

Глумотворчество всегда и всецело на стороне зла. Оно слишком расчетливо и чересчур изощренно, чтобы быть оправдано эмоциональным аффектом или объективной необходимостью. В глумливых высказываниях, помимо их прямого значения, содержится общий, присущий всему роду человеческому «генокод злоречия». Глумление обнажает теневую сторону человеческой психики, а нередко и лютость нрава самого разумного на свете существа, готового ради гнусной прихоти терзать себе подобного.

Слова важнее действий

Древнейший род глумотворчества — тиранический: упоение властью через истязания. Глумление — одно из сущностных свойств тирана как извращенная демонстрация господства и насильственная фиксация вертикали власти. Примерами изобилует весь Древний мир, затем эта поведенческая модель воспроизводится последующими эпохами, включая современность. Аристотель в «Поэтике» выделял глумление как особый «вид пренебрежения». По Аристотелю, глумиться — значит «делать и говорить кому-то нечто такое, от чего другому становится стыдно... чтобы доставить себе удовольствие».

В римской античности сразу вспоминается император Калигула во всей ужасающей грандиозности его тиранического глумотворства. Калигула брал на пиру приглашенную ему жену знатного мужа из числа приглашенных, проводил с нею ночь, а затем детально излагал интимные подробности обесчещенному супругу. Казнив единственного сына сенатора Фалькона в присутствии отца, распорядился еще специально приготовить для него блюдо из мурен. Во время трапезы Калигула обратился к убитому горем Фалькону с издевательским вопросом-подвохом: знает ли тот, чем кормили этих мурен. Насладившись недоумением, торжественно провозгласил: «Эта рыба вчера утром называлась Публием Фальконом-младшим! Ты сожрал своего сына! Вчера, после казни, я приказал разрезать его на куски и накормить ими мурен, которых мои повара запекли специально для тебя!» И долго хохотал над своей чудовищной шуткой.

Особо заметим: слова здесь гораздо важнее действий. «Чудовищность поступков он усугублял жестокостью слов», — комментирует Калигуловы упражнения в глуме Гай Светоний Транквилл в «Жизни двенадцати цезарей». Глумление — прежде всего словесная расправа, а физическое насилие — уже «меблировка» ситуации, будь то пиршественный зал, пыточная камера, городская площадь или сельское коповище, чтобы там состоялся обмен вербальными знаками.

Почти ни один случай глумления не исчерпывается одним лишь набором физических операций, это прежде всего акт коммуникации. Притом акт диалогический, даже если жертва молчит и молчат сторонние наблюдатели. Почему? Потому что глумотворец всегда ожидает ответной реакции: признания вины, раскаяния, сообщения ценных сведений (при пытках), мольбы о пощаде, да просто страдальческих воплей. Для тирана глумливые речи — отдельный вид извращенного удовольствия, для толпы устные издевательства — «довесок» к физическим истязаниям, «бонус» к общему куражу.

Пуше всего толпа обожает глумиться над беспомощными и обездвиженными: привязанными к позорному столбу, закованными в колодки, пристегнутыми к крестовине и т. п. Вперемешку с палками, камнями, комьями земли жертву забрасывают оскорблениями, насмешками, проклятиями. Но самое жуткое — глумление над казнимыми. Ужаснейшими из казней — роскошно обставленными, исполненными изощреннейших издевательств на потеху праздному люду — были казни нокси, как называли в Древнем Риме приговоренных магистратом к смерти преступников. Нерон изобрел беспримерно глумливый способ лишать жизни провинившихся подданных и пленных врагов: самолично сочинял и ставил на сцене трагедии, герои которых в финале умирали по-настоящему. Казнь превратилась в настоящий театр.

Так, вор Мениск сгорел заживо, изображая Геракла в плаще, пропитанном кровью кентавра Несса, что, согласно сюжету, вспыхивал от соприкосновения с полубожественной плотью. Другой лиходей был сожран львом, изображая на сцене Орфея, пытавшегося очаровать стадо травоядных звуками лиры. Двое нокси, представляя Икара и Дедала, величаво взмыли в воздух на крыльях из перьев — и точно по легенде красиво рухнули с перерезанными веревками в центр арены. Несчастных христианок — героинь театральной постановки легенды о Дирке (Дирцее) привязали к спине быка, а затем натравили тех же львов... Последний сюжет запечатлен на известной картине Генриха Семирадского «Христианская Дирцея в цирке Нерона» (1897).

Глумление как сценическая постановка, где речь важнее действия, практиковалось и с трупами. Один из самых памятных случаев вошел в историю под названием «Трупный синод» или «Жуткий синод» (лат. *synodus horrenda*). Вступив на священный римский престол в 897 году, папа Стефан VI приказал вырыть из могилы тело его предшественника Формозе, одеть полуразложившийся труп в папские одежды, посадить на трон, допросить (за «обвиняемого» отвечал прятавшийся за трон дьякон) и признать виновным в преступлениях против Католической церкви. В качестве наказания телу отсекали пальцы, совершавшие крестное знамение, труп обнажили и проволокли по городским улицам, после чего зарыли в безымянной могиле для чужеземцев. Этот эпизод изображен Жаном Полем Лораном на картине «Папы Формоз и Стефан на „трупном синоде“» (1870).

Метафоры зла

Характерная черта глумотворчества — вычурная метафоричность, обнажающая его чудовищную вербальную подоплеку. Метафоричны казни Нерона, метафоричен «трупный синод». Глумливо-метафоричны названия казней и пыточных орудий: «медный бык», «железная дева», «колыбель Иуды», «дудка крикуна», «молитвенный крест», «дьявольский ветер», «испанский шекотун», «республиканская свадьба»...

В российской истории один из самых выдающихся тиранов-глумотворцев — Иоанн Грозный. Вот уж чье поведение и речь — нагляднейшие образчики метафоризации! Царь любил казнить поджариванием на вертеле, превращая человека в зайца; заживо запекать людей в муке, будто карасей; уподобляя медведю, повелевал переодевать казнимого в шкуру и затем бросать на растерзание собакам (это называлось «общить медведно»). Приказал повесить на одной виселице дворянина по фамилии Овцын и живую овцу. Голландскому доктору, который делал подпольные аборты, распорядился вытянуть щипцами внутренности через задний проход. Поставщиков несвежей рыбы — выпотрошить, как осетров, и разбросать кишки по городским площадям...

Иные исторические источники, конечно, грешат наивной либо злонамеренной гиперболизацией, а то и вовсе баснословными выдумками в описаниях царевых злодеяний, но для коллективной памяти экспрессия превышает достоверности, и потому в общественном сознании хранится некий «кластер» глума, составленный из наиболее вопиющих случаев, записанных на «жесткий диск» Истории. Среди таких случаев казнь одного дьяка-мздоимца, уличенного во взятке в виде набитого деньгами жареного гуся. Перед казнью Грозный спросил: «Ну, кто разрежет этого гуся?» Затем велел отрубать осужденному поочередно ноги вполтину икр, руки выше локтя, спрашивая, «вкусна ли гусятина». Наконец, после отсечения головы обратился к палачу с глумливым вопросом: «Ну что, хорош гусь?»

Поджигая пороховой бочонок с привязанным к нему схимником Никитой Казариновым-Голохвастовым, Грозный издевательски пошутил: «Схимники ведь ангелы: подобает ему над землею взлетети». Еще одного несчастного Иван Васильевич якобы пустил по озеру привязанным к запряженной слепой лошадей телеге, со словами: «Отправляйся же к польскому королю, вот у тебя есть лошадь и телега!» Воеводе Василию Телятевскому, приговоренному к утоплению за сдачу Полоцка, любезно предложил: «Когда ты запотел там при этом огне, то здесь охладись».

С беспримерным цинизмом было обставлено убийство боярина Ивана Федорова-Челяднина, в котором Грозный с его маниакальной подозрительностью узрел главу заговора. Царь призвал Федорова в парадные покои Большого Кремлевского дворца, приказал облачиться в государевы одежды и сесть на трон, затем встал перед боярином на колени и произнес: «Ты имеешь то, чего искал, к чему стремился, чтобы быть великим князем московским и занять мое место: вот ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством, которого жаждал». Вдоволь насладившись театральным эффектом, с размаху ударил боярина ножом. Затем по приказу Грозного к расправе присоединились опричники и земские, пока не закололи несчастного насмерть. Начало этой душераздирающей сцены отражено на известной картине Николая Неврева «Опричники».

Оборотная сторона тиранического глумотворчества — раболепие перед большей силой, пресмыкательство перед верховной властью. У того же Грозного глумливое кривлянье сочеталось с постоянным самоуменьшением перед Богом. Бесконечно измываясь над людьми и бесконечно же каясь пред Господом, в ряду прочих своих прегрешений царь упоминает словесные грехи, напрямую именуя их глумлением: «Душею убо осквернен есмь... язык срамословия, и сквернословия, и гнева, и ярости, и невоздержания всякаго неподобнаго дела... и иных неподобных глумлений...» В данном случае не столь важно, что смысл слова «глумление» в ту эпоху не имело полного тождества с современным — важно неоспоримое доказательство факта: глумящийся всецело осознает порочность своего поведения. Выспренность слов подсвечивается низость действий. Сусальная позолота речи плохо маскирует дьявольскую копоть поведения.

Идолы и жертвы

Природа глумления суть языческая. Акт глумотворчества весьма напоминает обрядовую процедуру, чаще всего — ритуал жертвоприношения. В них действительно немало общего: с одной стороны — хаос насилия и торжество низменных страстей; с другой — некая сконструированность, искусственность, а иногда даже искусность. Речь здесь используется не собственно для коммуникации, но в качестве «коммуникативной рамки», моделирования контекста ситуации. Глумящиеся рабы приносят

жертвы идолам своих тиранов. Глумящиеся тираны приносят жертву верховному идолу Власти.

При этом на поверку, за редкими исключениями, ритуальность глумотворчества иллюзорна. Всякий ритуал имеет строгую организацию, установленный порядок, а речь и поведение глумца не регулируются никакими правилами. Глумление лишь пародирует ритуальность, как бы само глумится над ней.

Формальное сходство глума с ритуалом позволяет провести также параллели с наказанием и казнью. Действительно, в древности многие экзекуции носили явно глумливый характер — когда не просто карали *преступника*, но издевались над *человеком*. Применявшиеся в старину публичные наказания не случайно именуются позорящими, в их антураж включаются и специальные атрибуты унижения: шапка с рогами, погремушки, перья, соломенные венцы и т. п. Однако в строгом смысле наказание никогда не синоним глумления, опять же, в силу регламентированности первого и произвольности второго. Экзекуция, какой бы жестокой она ни была, отличается от глумления регламентом и протоколом. Трактат «О преступлениях и наказаниях» (1764) итальянского правоведа Чезаре Беккариа гласил: «Целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку... а упреждение новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и удержание других от подобных действий».

Место ритуала в глумлении занимает клише, набор речеповеденческих стереотипов. Глум имеет устойчивые коммуникативные «сценарии», набор регулярно воспроизводимых стратегий. Так, аналогично Калигуле, тот же Грозный бесчестит жену своего писца, после чего приказывает повесить в трапезной прямо над обеденным столом, чтобы несчастный писец за едой смотрел на задушенную супругу. Затем Петр I, казнив сибирского губернатора Матвея Гагарина, тем же манером распоряжается накрыть пиршественный стол прямо рядом с виселицей и посадить за него жену и детей казненного. Очевидно также, что во множестве приемов глума — отголоски евангельского сюжета. Вспомним хотя бы коленопреклонение Грозного перед Федоровым-Челяднинным. Вновь и вновь, «становясь пред Ним на колени, насмеялись над Ним, говоря: Радуйся, Царь Иудейский!..»

Подчас не менее глумливы, чем сами издевательские слова и действия, их циничные описания свидетелями и осведомленными современниками: словесные смакования пыток и казней, черный юмор о трупах, оставленных на потеху зевакам. Так, Жозеф Лебон, проконсул Па-де-Кале в 1793 году после казни госпожи де Моден куражился в дружеской переписке: «Третьего дня сестра бывшего графа Бетюнского чихнула в мешок!» Он же похвалялся тем, что немилосердно предаст казни всех старух, ибо «на что они на свете?».

Видный общественный деятель и журналист XIX века Михаил Семевский описал пытку в 1743 году Натальи Лопухиной, бывшей статс-дамы императрицы Елизаветы Петровны. В этом описании ужаснее пыток на дыбе и сечения кнутом слова палача: «Показывая народу отрезок языка, крикнул, шутки ради: „Не нужен ли кому язык? Дешево продам!“» А ведь еще двумя годами ранее ей, супруге вице-адмирала, была высочайше отписана волость в Суздальском уезде с «говорящим», словно по иронии судьбы, названием Глумовская...

Известный современный историк Евгений Анисимов в книге «Русская пытка» цитирует не менее впечатляющий отечественный источник XVIII века: «И сидит на том шпиле преступник дотоли, пока иссохнет и выкоренится, як вяла рыба, так что, когда ветер повеет, то он крутится кругом як мельница и торохтят все его кости, пока упадут на землю»¹.

¹ Анисимов Е. В. Русская пытка. Политический сыск в России XVIII века. СПб.: Норинт, 2004.

Однако же, несмотря на речеповеденческие клише, глумотворчество отчаянно сопротивляется углубленному изучению. Но проблема не в древности феномена (проклятие или оскорбление ничуть не менее архаичные виды злоречия), а в его преимущественно психической, нежели социальной основе. Скрытые психические структуры коренятся так глубоко, что для их исследования не хватает ни глубины лота научного познания, ни мощности прожектора культуры. Глумление приоткрывает бездну потаенного в человеке зла, переводит метафизику в коммуникацию, в сферу общения. Чем глубже разверзаемая бездна зла — тем тоньше «озоновый слой» культуры.

Жизнь «сугубого вандала»

Глумление — неотъемлемая составляющая ряда субкультурных практик. Субкультура маргинальна по отношению к национальной и общечеловеческой культуре, и глумление как речевая маргиналия вполне логично обретает здесь если не законные, то полузаконные основания.

Принцип сосуществования маргиналий наглядно воплотился в *пеннализме* (нем. *Pennalismus*) — неофициальных отношениях между студентами-новичками (пенналами) и старшекурсниками в немецких (особенно лютеранских) университетах. Достигнувший крайних и подчас вопиющих проявлений в XVII веке и просуществовавший, как минимум, до XVIII, пеннализм происходит от обычая *депозиции* (лат. *depositio*) — церемонии «посвящения в студенты» и вступления в «корпорацию студентов», наподобие рыцарскому, монашескому, ремесленническому посвящениям в средневековье. Нередко эта церемония обставлялась как ритуальное истязание и носила глумливый характер, увеселяя присутствующих.

В истории российских учебных заведений интересны сложившиеся в военных училищах во второй четверти XIX столетия «закальство» и «цук» — целая система неуставных отношений, основанная на жестком принудительном подчинении по старшинству. Глумливы уже сами названия лиц: старшекурсники — «благородные корнеты», «лихие», тогда как новоприбывшие — «сугубые звери», «вандалы», «печенег», «хвостачи»; эскадронный вахмистр — «земной бог»; взводные портупей-юнкера — «полубоги»; противники унижительных правил — «навоз школы»...

Словесный глум воплощался в унижительных ритуалах. Заставляли влезать на тумбочку, нюхать воздух в открытую форточку и докладывать, чем пахнет. Желать «корнетам» спокойной ночи с подробнейшим долгим перечислением всех начальников. «Отправляли в путешествие», принуждая делать приседания и делиться путевыми впечатлениями «по дороге из Петербурга в Москву». В любой момент «корнет» мог изобличить и без того измученного рассказчика в ошибке: «Вы не успели еще доехать до Бологого. Начинайте сначала!» Принуждали признаваться «корнету» в любви в стихах: «Лишь вижу ваш корнетский взгляд, / Вмиг зверской страстью загораюсь...» Писать сочинения на нелепые темы вроде «Влияние луны на бараний хвост». Демонстрировать осведомленность по разным вопросам: «Молодой, пулей расскажите мне про бессмертие души рябчика!»

Причем интересен и важен следующий факт: «цук» был исключительно офицерской практикой, среди солдат вплоть до середины прошлого века ничего подобного не наблюдалось. Этот факт может немало удивить иного неискушенного современника, ведь в культуре укоренился стереотипный образ дворянина как «невольника чести», эталона благородства, поборника высоких моральных принципов. Здесь вновь наглядно проявляется иррациональная инфернальность глумотворчества, незримая в обыденных обстоятельствах и не мотивированная формальной логикой.

Мидасовы уши

Не менее питательная среда для глумотворчества — школа, в которой оно пускает свои первые корешки. Школьный глум отчасти также опирается на субкультурные практики, отчасти на специфические формы взаимоотношений учащихся и педагогов. Здесь пересекаются несколько феноменов: борьба за авторитет и лидерство, известное во все времена третирование одних членов коллектива другими — буллинг, испытания новичков — хейзинг и, конечно же, традиционные школьные наказания, многие из которых выходят за официально установленные рамки, приобретая явно глумотворческий характер.

В старину во многих школах практиковалось позорящее наказание «Мидасовы уши». Нерадивого или шаловливого ученика ставили в центр класса в бумажном колпаке с ослиными ушами и надписью «Dunce», «Dussel», «Âne» (англ., нем., фр. — дурак, тупица, остолоп, болван). Название отсылает к знаменитой античной легенде о царе Мидасе, награжденном ослиными ушами. На протяжении столетий школяров обряжали в позорные колпаки на потеху однокашникам, цепляли на спины тетрадки с ошибками и выставляли на школьный двор, водили по классам, заставляя выслушивать хоровые издевки и оскорбления. Воспитанниц российских императорских институтов благородных девиц ставили в столовой без форменного передника — такое наказание столь же глумливо именовалось «столпник» и символизировало публичное раздевание.

Но даже и без наказаний глумежа в школах всегда было предостаточно. Глумились ученики над учителями, педагоги над школярами, соученики друг над другом. Что ни мемуарный рассказ о школьных годах — то очередная грустная исповедь.

Вот как, например, описывает Андрей Белый своего учителя немецкого языка в книге воспоминаний «На рубеже двух столетий»: «С сардонически улыбающимся (презло и прегадко) ртом — даже тогда, когда не на что было улыбаться, с пытливыми какими-то желтыми зрачками юрких глазенок, он производил впечатление вечного паяца (и когда объяснял, и когда хвалил, и когда порицал); и нельзя было разобрать, над чем он глумится; его глумление выражалось в иронических „ээ“, „хээ“, „хм“, в постукивании нас по лбу пальцем (лишь в шестом классе мы его отучили от этого), сопровождавшем исправление стиля наших переводов...»

Глумились в заведениях не только светских, но и духовных — достаточно почитать «Очерки бурсы» Помяловского, цитируемые нынче едва ли не во всех работах по агрессологии. При этом почти никем из исследователей не отмечено, что Помяловским выводится специфический речеповеденческий тип *отпетого*, воплощенный в образе Гороблагодатского, который «поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, отмачивает дикие штуки».

«Отпетый» — своего рода эталон глумотворца, его речеповедение — матрица глума. Выстраивается логическая взаимосвязь: утрата сущностных свойств уподобляет живого человека мертвецу (ср.: отпетый в церкви покойник) и одновременно подталкивает к глуму — уничтожению человечности в других людях. Рядом с «отпетыми» обыкновенно присутствуют глумцы помельче, хотя вовсе не значит, что безобиднее.

Уже-не-человек

Нередко глумотворчество — это явная патология сознания, доведенное до предела антиповедение, эксцесс злоречия. Склонность к глумлению — характерная черта

некоторых серьезных психических расстройств, в частности эпилептоидной психопатии, вызывающей *дисфорию* (греч. *disphoria* — раздражение) — внешне не мотивированную и неподконтрольную злость, побуждающую к нападкам. Некоторые выходы переходят все мыслимые границы дозволенного и отличаются эксцентричностью в соединении безумства с чудачеством.

Что нынче, что встарь иные господа откалывали такие фортели, выкидывали такие коленца, будто соревновались за титул почетных глумцов. В русской истории вспомнить хотя бы крупнейшего горнозаводчика XVIII века Прокофия Демидова, который обвенчал крепостную девку с мертвым рудокопом. Этот вопиющий случай описан в исторической трилогии Евгения Федорова «Каменный пояс». Известны деспоты калибром помельче, вроде зарвавшихся помещиков. Хрестоматийный пример, конечно же, Дарья Салтыкова, что из столбовой дворянки с безукоризненной репутацией уже в 26 лет превратилась в ужасную Салтычиху и жесточайшими изуверствами в течение пяти лет истребила, как минимум, 138 человек — четверть своих крепостных. В лично составленном Екатериной II приговоре о лишении дворянства и пожизненном заключении в монастырскую тюрьму фамилия преступницы была заменена определениями «урод рода человеческого» и «бесчеловечная вдова».

О более мягких, но не менее омерзительных формах помещичьего самодурства читаем, например, у Александра Амфитеатрова в романной хронике «Княжна» (1896): «Грозные зверствовали, добрые глумились. Провинившегося лакея кроткая помещица, не признающая телесного наказания, ставила на коленях посредине двора и заставляла вязать чулок. Горничная, не выполнившая приказания, приглашалась в гостиную, — сажали ее на место барыни, на диване, подавали ей чай, говорили ей „вы“ и „чего изволите“, — до тех пор, пока виноватая не валилась в ноги, моля простить ее и освободить от непривычного приема и угощения...»

Вообще глумление над безответными «маленькими людьми» — один из сквозных мотивов русской литературной классики. Помимо произведений Достоевского и гоголевской «Шинели», назовем не столь известные широкому читателю пьесы Тургенева «Нахлебник» и Островского «Шутники». В «Нахлебнике» бедный дворянин выказывает жалкое раболепие, демонстрирует угодничество, чем провоцирует хозяев всячески над ним издеваться: заставлять петь и плясать, рядить в колпак из сахарной бумаги. «Горемыка-подьячий», герой комедии «Шутники», покорно признается: «Тот тебе рыло сажей мажет, другой плясать заставляет, третий в пуху всего вываляет. Сначала самому не сладко было, а там и привык, и сам стал паясничать и людей стыдиться перестал». Здесь уже не просто покорность, но едва ли не радость от глумления.

Однако глумились отнюдь не только власть имущие. Точно так же среди крестьян, рабочих, купцов, чиновников — всюду встречались самодуры и сумасброды, считавшие глум лучшей из всех забав. В чеховском рассказе «Корреспондент» купцы в хмельном угаре жестоко потешаются над опустившимся журналистом: вливают в него водку без меры, подбрасывают к потолку, сыплют на голову соль. А тот «блаженно улыбался», поскольку «ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, „нолика“». Случай горчайшего самоуничтожения человека, который не ведает глумления как зла. По большей части глумление носило все же не сословный, а бытовой характер, проявляясь как общая черта, универсалия человеческого поведения. Так ведь и над Христом глумились не только власть имущие, но и простонародье, в том числе даже рабы.

Наиболее распространенной, хотя и не самой сильной формой повседневного глумления можно считать *злорадство* — веселье и ликование над чужим горем,

несчастьем, бедственным положением; выражение удовлетворенности и наслаждения от чьих-то неприятностей, неудач, поражений. Истоки злорадства лежат на поверхности: зависть, ревность, собственное ничтожество. Отсюда типичные объекты глумления: поверженные враги (глум как подтверждение победы); бесправные люди, рабы (глум как демонстрация власти); беспомощные и немощные — калеки, больные, старики (глум как проявление психологических комплексов); аутсайдеры и чужаки (глум как превентивная самозащита). В каждом из этих случаев как бы недостаточно уже достигнутого унижения — военным поражением, болезнью, старостью, отверженностью и так далее. Возникает inferнальная потребность в еще большем умалении — вплоть до полного истребления.

На это косвенно указывают и некоторые этимологические разыскания. Так, глагол *издеваться*, впервые фиксируясь в русском языке в XVII веке, по мнению большинства лингвистов, происходит от старославянского «вынуть, извлечь имя», а *измываться* — из «колдовать, обмывая», то есть причинять вред колдовством. На уровне языкового бессознательного оба слова соотносятся с неким иррациональным воздействием, скрытым проявлением злых сил, изъятием у человека чего-то существенно значимого, жизненно важного. Ср. также различные диалектные синонимы: *измогать* (лишать сил); *искитаться, выдирать* (высмеивать); *изумляться* над кем-либо (значение «издеваться», производное от «лишиться разума»).

Глумлением развоплощается и обесценивается не только конкретная личность, но сам образ Человека, венец творения. Глумление — это акт *расчеловечивания*. «Обнуляя» свою жертву, глумотворец сам уподобляется вещи, неодушевленному предмету, ибо не страдает, не стыдится, не совестится. То есть ведет себя *не по-человечески*.

Глум — упражнение в ничтожестве. Как выглядит ничтожество? Уильям Блейк метафорически уподобил его призрачной блохе, что вселяется в человеческие души, которые «были по своей природе слишком кровожадны». На знаменитой блейковской картине чешуйчатый монстр выходит словно из-за кулис дьявольского театра и пускает слюни в чашу для сбора крови. Самый потаенный и самый ужасающий смысл глума — разрушение личности, в системе христианских представлений — истязание души, пусть ненастоящее (ибо душа бессмертна), но символическое ее уничтожение.

Животворящее vs смехотворное

Глумление возможно не только над людьми, но и над идеалами, святынями, ценностями, добродетелями. В этом случае мы имеем дело чаще всего с глумливым осмеянием как разновидностью богохульства, кощунства, святотатства², в светской культуре — со стебом. Здесь глум выступает противоположностью благоговения и превращает *животворящее* в *смехотворное*. Стратегия все та же: символическое уничтожение через обесценивание.

В отличие от иронии или порицания, глумлению неведомы никакие ценности — оно нацелено на полную дискредитацию объекта. Жертва глума превращается в *посмешище* — нечто обезличенное, безобразное, обесцененное. Христианство усматривает глумление богохульного свойства не только в различных атеистических практиках, но и в остаточных языческих верованиях. Так, в 92-й главе «Стоглавого собора» (1551) под названием «Об игрищах еллинского беснования» читаем: «...глумы творят всякими играми и песнями сатанинскими». Значение в целом то же, что в церковном определении скоморошеских игрищ, но тут глумлению все же дается кон-

² Подробнее см.: Щербинина Ю. «Ощущаем и неверующим в него». Заметки о богохульстве // Нева. 2017. № 7. <http://magazines.russ.ru/neva/2017/7/oshushaem-i-neveruyushim-v-nego.html>

сервативно-охранительное толкование. Гораздо более очевидно и недвусмысленно глумление над христианскими святынями в развлечениях того же Иоанна Грозного с его «монастырем» из опричников или Петра Великого с его Всешутейшим и Всепьянейшим Соборами.

При этом если Иван IV привечал скоморохов, на пирах даже иной раз прятался за «машкару» (личину) и отплясывал вместе с ними, то Петр I скоморохов запрещал. Однако, в сущности, оба государя одинаково явно, лишь в разных формах демонстрировали двойные стандарты, присущие вообще любой тирании. Один днем мучил и убивал, в перерывах тешась скоморошьими забавами, а ночью отбивал земные поклоны в покаянных молитвах. Другой, изгоняя «бесовских игрецов», бесновался куда как хлеще. Тирания сама определяет форматы и границы глумотворчества, сама решает, что есть рвение пред Господом, что просто озорство, а что богомерзость.

В целом же легко заметить, что глум во всех его проявлениях пуще всего любуется в переломные периоды истории, связанные со смутами, войнами, революциями. Скажем, Емельян Пугачев, как и подобает бунтовщику, не только подымал господ на вилы, но и «произвел подобные своему зверству варварствы». Причем глумился не только над ненавистными господами и защищавшими их царевыми воинами. Астронома Георга Ловица велел повесить «поближе к звездам». На обеде у архимандрита Александра заставил дворню петь тропари, пока его робятушки разграбляли дом священнослужителя. В плане речевых стратегий и поведенческих стереотипов самопровозглашение Пугачева «царем Петром» более чем символично.

В смутные времена глумеж превращается в доминанту коммуникации: глумятся все и над всеми. Примеров хоть отбавляй. Так, в годы Гражданской войны глумились и «красные», и «белые», и «зеленые», и большевики, и меньшевики, и беспартийные. Вот лишь несколько вопиющих случаев 1919 года. В Барнаульском уезде арестованных зажиточных крестьян, зверски избив, водили по селу, заставляя говорить: «Я враг народа» и «Благодарю вас, товарищи». Наглумившись вдоволь, закопали живьем на кладбище для скота. В селе Тогул казнь священников обставили в декорациях Страшного суда: сначала прогнали через строй крестьян с нагайками, а затем перед публичным сожжением заставили заклинать партизан анафемой и петь «Христос воскрес». В Кузнецке, учинив расправу над 800 горожанами, пьяная мразь горланила глумливые частушки вроде: «Попадью застрелил Ваня, / Бело платье на меня. / Я иду, собой люблюсь, / Все равно как попадья». В отместку в одном из поселков крестьяне убили коммуниста и зарыли вместе с песьим трупом и запиской: «Коммунист и собака — одно и то же».

Эти и аналогичные примеры — очередные доказательства того, что в глумотворчестве речь страшнее действия, что чудовищность происходящего открывается именно в высказываниях, что глум не просто род насмешки, но символическое убийство.

Агрессивная непристойность

Глумление над идеалами и ценностями непосредственно связано с *цинизмом* — особым типом сознания, выражающимся в нигилистическом отношении к морали, общественным ценностям, идее человеческого достоинства. Понятие цинизма формально происходит из кинической философии, но за последовавшие затем столетия существенно с ней расходится и в настоящее время определяет общую поведенческую установку глумотворца.

Американский философ и психолог Ролло Мэй в работе «Сила и невинность» (1972) высказывает справедливую и очень важную мысль о том, что «первой жерт-

вой насилия становится язык». Более того, само насилие, по Мэю, есть результат искажения языка. А «промежуточной стадией распада слов» философ считает цинизм, который «атакует то, что было неприкосновенным, и возникает, когда слово теряет свойственную ему цельность». Слово «становится агрессивным на одной из стадий своего изнашивания: оно теряет свое изначальное значение, принимая форму агрессивной непристойности»³.

На рубеже XX—XXI веков филологи заговорили также о *лингвоцинизме* (термин А. П. Сковородникова) как особом использовании языка для демонстрации пренебрежительно-уничжительного отношения к действительности. С одной стороны, лингвоцинизм проявляется как деконструкция уходящих реалий, разоблачающе-уничжительное осмеяние ветшающих лозунгов. Появляются такие специфические жанры, как *антипословицы* и *антиафоризмы* — переделки традиционных паремий (нем. Antisprichwoerter, англ. anti-proverbs, twisted wisdom). Многие из них основаны на черном юморе, вульгаризации ценностных понятий, разрушении традиционных смыслов, а некоторые являются и откровенным глумотворчеством⁴.

С другой стороны, лингвоцинизм выражается в глумливом смаковании непристойностей, игровой подаче трагических сведений, перенасыщении текстов СМИ всевозможным негативом. Популярно подробное описание технологий совершения убийств и суицида, деталей терактов, катастроф, стихийных бедствий. Вместо нейтрального предъявления фактов — кошуństwo в определениях, описаниях, оценках; искусственное нагнетание страха либо нездорового любопытства; насаждение сниженных форм речи, жестокий стеб в новостных лентах, комментариях происшествий, криминальных хрониках.

Заголовки публикаций газеты «Московский комсомолец» разных лет: *Выброшенный в мусоропровод младенец и не подумал умирать... Родных жены продавец вгонял в гроб молотками... Студентка кулинарного техникума приготовила рагу из головы матери... Убийца выпустил из родителей кровь, чтобы трупы не портились... Подросток готовил кошкам гречневую кашу с мясом отца... Труп ездил на санках в центре Москвы... Перед самоубийством ребенок рассказал стих о мире...*

Однако лингвоцинизм — это не только способ отстранения от реальности, но и иммунологическая реакция социума на угрозы и вызовы окружающей действительности. Одновременно и провокация, и защита. Причем здесь не так называемый *юмор висельника* (нем. Galgenhumor, фр. rire jaune) — смеховая бравада в отчаянном положении, в ситуации смертельной опасности, изживание травматического переживания смехом. Нет, это скорее «юмор вешателя», то есть именно глумеж, жестокая издевка над тем, что вообще не подлежит поношению и осмеянию.

Ржунимагу

Далее можно пропустить почти вековой период европейской и отечественной истории и обратиться сразу к современности. В событиях и фактах XX столетия при всем изобилии и разнообразии конкретных примеров (даже в зверствах фашистских концлагерей, трагических судьбах заключенных ГУЛАГа или вопиющих случаях нашей армейской «дедовщины») мы вряд ли обнаружим какие-то принципиально новые способы глумотворчества в дополнение к описанным.

Современные формы глума — сплошь упражнения в ничтожестве. Из обширного арсенала коммуникативных инструментов и словесных средств выбираются самые примитивные, несмотря на порой кажущуюся формальную изощренность. Сове-

³ Мэй Р. Сила и невинность: в поисках истоков насилия М.: Смысл, 2001.

⁴ См., например: Вальтер Х., Мокиенко В. М. Антипословицы русского народа. СПб.: Нева, 2006.

менность усиливает и акцентирует смеховую составляющую глума. Все переводится в «ржаку», «бугагашечки», «гы-гы-гы». Из поведенческой маргиналии глумеж превращается в заметную речевую тенденцию, захватывая едва ли не все сферы — профессиональную и бытовую, публичную и приватную. Антиполовицы уже не только о политике, но и о дружбе («Не зная брода — пропусти вперед товарища»), любви («Любовь — костер: не кинешь палку — погаснет»)...

Прежде во всяком споре требовались аргументы — сейчас вполне достаточно всего лишь глумливо дискредитировать предмет обсуждения: «Да это вообще бред полнейший!»; «Здесь не о чем говорить, ведь это смешно!» И даже совсем просто: «Бруга-га! Ноу комментс!» Раньше народная мудрость гласила: «Молчи — за умного сойдешь». Сейчас ум проще продемонстрировать осмеянием чего угодно. Главное, хочотать погромче и стебаться пожестче. Излишнее усердие и тотальная неразборчивость в выборе объектов осмеяния доводят стеб до глума.

Прежде была глумливая подлость — нынче глумливая пошлость. Измельчание жизненных форм неизбежно ведет к деградации форм речи. Нынче глум все чаще не от жестокости и невежества, а от снобизма и неутолимой страсти к самовыражению, которое, как точно сформулировал Алексей Иванов в романе «Комьюнити», отличается от самореализации тем, что «ему не нужны причины, нужен только повод». Глумление во всех его разновидностях — легкий и незатратный способ заявить о себе в социуме, где актуальные тренды становятся важнее общечеловеческих ценностей.

При этом глумотворчество усиленно ищет апологетические основания в самом языке, создает себе новые лексические подпорки. Общество увлечено изобретением неологизмов, заведомо мотивирующих и отчасти даже оправдывающих глумеж. Диагностируют у части населения «православие головного мозга» — и выступают с «панк-молебном» в центральном храме страны. Называют «победобесием» почитание военно-патриотических традиций — и отплясывают топлес у мемориалов, жарят шашлык на Вечном огне...

Попутно заметим: многие подобные неологизмы уже сами по себе образчики глумотворчества. Причем здесь неважно, каков объект — одобряемый или порицаемый: глумом разрушается вообще все человеческое. Сам же глум пафосно именуется, а заодно и неплохо маскируется красивыми определениями вроде «свободомыслие», «креативность», «художественный жест», «акция протеста».

Неразборчивость и тотальность глума порой приводят к абсурду. Вспомнить хотя бы не столь давнюю историю с «Упоротым Лисом» (англ. stoned fox) — странным, жутковатого вида чучелом попавшей в капкан лисы. Изначально неудавшееся, бракованное изделие британской таксидермистки Адель Морзе по каким-то ничем не объяснимым, иррациональным (опять же!) причинам вдруг стремительно обрело широкую популярность, превратилось в модного персонажа многочисленных интернет-приколов, вариант «отличного подарка» и вообще в «национального героя». В онлайн-среде глумотворчество становится одновременно материалом, инструментом и механизмом создания квазиинформационных продуктов: мемов, фейков, демотиваторов, «фотожаб».

Однако вот что любопытно: в Интернете легко оскорблять и гораздо сложнее именно глумиться. Глумление расчеловечивает, а как расчеловечить аватар, юзерпик? Никак. Поэтому за редким исключением ошибочно отождествлять глум и, например, троллинг или флейм. С натяжкой можно назвать глумотворцами и уже утративших былую популярность падонкаф — участников русскоязычной сетевой субкультуры, развлекающихся коверканьем слов, типа «пацталом», «ржунимагу», «аффтар жжот»... Этот «олбанский йязыг» скорее пародия, а не собственно глумеж.

Настоящему глуму подвергается именно реальное, а не виртуальное. Идол Глума вожделеет не виртуальных, а живых жертв — из плоти и крови. Такова его языческая основа. Капище может быть и виртуальным, например веб-форум или социальная сеть — главное, чтобы объектом, мишенью был настоящий, реальный человек.

Умирает известная поп-певица — тут же циничные весельчаки переиначивают слова ее шлягера «Я никогда не была в Малинках» на «не была в могилке». Падают в океан самолет с ансамблем песни и пляски — сразу сочиняются глумливые посты в духе «концерт на дне», «трупы загрязняют воду», «раньше царя морей веселил гуляр Садко, а теперь целый ансамбль». И так обо всем: о терактах, стихийных бедствиях, религиозных столкновениях, политических конфликтах... Хотя эмоциональный градус уже явно не тот, что во времена Ивана Грозного: глумеж по-прежнему коробит, но уже почти не шокирует.

В любую эпоху находится прибежище инферральности. Кстати, есть и антипословица в тему: «Ад — историческая Родина человека, рай — доисторическая». А супермодное, превратившееся в мем звукоподражание *бру-га-га* (фр. *brouhaha* — обваль-ный хохот, шквал хохота; англ. *brouhaha* — скандал, шумиха) изначально, в XVI столетии, означало не что иное, как смех дьявола. Но неужели человек как тот Упоротый Лис: бракованная модель самого себя, застрявшая в капкане глума?



ПОРТРЕТ ПОЭТА

Наталья ГРАНЦЕВА

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТОК КАПНИСТА

Василий Капнист — одно из ярких светил на поэтическом небосклоне российского XVIII века. Нисколько не потускнел блеск его знаменитейшей сатирической комедии «Ябеда», которая и сейчас могла бы собирать полные театральные залы, если бы какой-нибудь театральный режиссер взялся перечитать эту старинную пьесу. Герои «Ябеды» очень органично смотрелись бы в современных костюмах и интерьерях. Это несомненный признак великого произведения: избрав актуальную злободневную тему, автор ухватывает ее сущностную природу, коренящуюся в несовершенстве социального мироустройства. И далекие потомки драматурга, как и мы, обнаруживают, что смены общественных формаций, совершенствование государственных институтов, усилия прогрессистов-реформаторов бессильны против неизменности социальных институтов, изъяны которых никуда не исчезают, а только более изощренно адаптируются к низменным рефлексам человека.

Василий Капнист впервые показал российскому зрителю изнутри работу местного (регионального/губернского) суда по гражданским делам. На сцену были введены председатель гражданской палаты Кривосудов, его жена Фекла, его дочь Софья, члены гражданской палаты Бульбулькин, Атуев, Радвын, Паролькин, секретарь гражданской палаты Кохтин, понытчик Добров, прокурор Хватайко. Так сказать, часть местной элиты, столпы третьей власти — судебной. Уже по фамилиям героев ясно, что отправлять правосудие призваны самые никчемные людишки (так подобрана команда!): пьяница, неграмотный тупица, заика-конформист, модник-франкоман, трусливый старичок-исполнитель... Надзор за законностью принятых решений осуществляет прокурор с говорящей фамилией — Хватайко. Единственный приличный человек в этом сборище — понытчик Добров.

В чем же суть тяжбы, в которой столкнулись интересы героев — подполковника Богдана Прямикова и отставного асессора Праволова? Спор идет за владение зем-

Наталья Анатольевна Гранцева — поэт, эссеист — родилась в Ленинграде, окончила Литературный институт им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в Санкт-Петербурге.

лей, местный авторитет Праволов желает прирастить земельную собственность к своему имени. А вожделенная собственность по закону принадлежит наследнику бывшего владельца, который и прибыл в губернский город для того, чтобы вступить в права наследства.

Оба фигуранта дела положили глаз на дочь судьи Софью. Желают жениться. Плюсы и минусы женихов обсуждают в приватной беседе супруги Кривосудовы: оба претендента хороши по-своему. Праволов хоть и в невысоком чине (ассессор — восьмой чин в Табели о рангах) и в отставке, но свой, местный, крепкий хозяйственник. Прямиков молод и хорош собой, нравится Софье, через четыре года станет полковником, и по закону спорные владения принадлежат ему. В своем праве не сомневается и сам Богдан Прямиков, явившийся в дом судьи с визитом к будущим родственникам и потенциальной невесте.

Кажется, дело не стоит выеденного яйца, документы собраны, все готово к заседанию.

Есть ли шансы у Праволова отсудить чужую землю? Заседание состоится только после того, как судья Кривосудов отпразднует именины! На день ангела в дом начальника стекаются подчиненные. На правах будущего зятя является и Праволов. Вслед за ним вносят корзины с провизией — все, что выращено на его земле. Так сказать, запас экопродукции на три недели, удовлетворенно замечает жена именинника. Ну и еще кое-что по мелочи презентует Праволов хозяевам: атлас на роброн (Фекле), на кафтан бархат (Кривосудову), цветной флер невесте на фуру (Софье), а также деликатесы — шампанское, швейцарский сыр, провесная рыба... Все готово к празднику! Может быть, в надежде на благодарность за дары и блестяще организованный судебный корпоративчик председатель гражданской палаты решит дело в пользу Праволова? Вряд ли, репутация кристально чистого судьи дороже: все решит палата по закону. А вдруг члены палаты проголосуют в пользу Прямикова?

Пока хозяева и гости наслаждаются винами и закусками, резвый Праволов продолжает готовить материалы к будущему заседанию. Нахваливает заседателей, сулит им подарки, общается с соратниками. Один должен сказать в суде такую речь, чтобы с помощью уловок сделать прямо противоположный вывод, другой должен дело фальсифицировать:

- Между тем ты не забыл искусно
Промеж листов вклеить то показанье устно,
Что мы с покойника?
- Спроволено уж все.
- А те свидетели, которых налицо нет, уж подставлены?
- Уж все, сударь, готовы.
- Да твердо внушены? И все ли однословы?

Итак, в дело вклеено устное показание человека, который давно умер. (Здесь уже проблескивают первые черты гоголевских мертвых душ!) Уже подготовлены лже-свидетели, что покойный говорил именно то, что написано в подложной бумаге. Лжесвидетели поклялись держать слово и подтвердить свои показания в суде.

А вдруг судья их заставит подтвердить свои слова под присягой?

- Но документы где и ясные бумаги,
Не должно там отнюдь уже давать присяги.

Наивные российские бюрократы XVIII века еще избегали прибегать к откровенным клятвopреступлениям. Тогда еще только зарождался генеральный принцип судопроизводства: без бумажки ты букашка...

Василий Капнист показал современникам еще одну популярную технологию решения дел. Нет, герой не раздавал членам суда конверты с наличностью, ему просто системно не везло в картах! В завершение праздничного застолья собравшиеся за карточным столом в пух и прах обыграли незадачливого игрока Праволова! Обчистили как липку.

Но члены суда понимают, что таким неслучайным проигрышем истец заручается их поддержкой. Вкрадчивый вопрос — циничное заверение.

П р а в о л о в: Я в деле лишь на вас надежду неизменно...

А т у е в: Надейся на меня, как на Кремлевску стену.

В ходе дружеского разговора судья Кривосудов интересуется предметом тяжбы. Да, сушая мелочь, кусочек земли, от которого уже другие оттяпали немало, стеснительно поясняет Праволов. Эта мелочь всего-то: одно большое село, три убогих деревеньки с нищими мужичками, плотина, сенокос, лес, три пустоши, два озера, пруд, рогатый скот, конский завод... Прибедняющийся истец становится крупным землевладельцем! Вряд ли такой богатей женится на судейской дочке!

Интуиция судьи его не обманывает, в приватном разговоре с сообщником лжеженых аттестует избранницу так:

Н а у м ы ч: Но неужель и впрямь, сударь, на ней жениться?

П р а в о л о в: Я б должен наперед с ума сойти, взбеситься.

Возможно ль дурочку, в столице лет с шести

Преизбалованну почти до двадцати,

Которая приход с расходом счесть не знает,

Шьет, На Давыдовых лишь гусях повирает,

Да по-французски врет, как сущий попугай,

А по природному ни здравствуй, ни прощай, —

Возможно ли в жену такую взять мне дуру?

С ней разве запереть себя навек в конуру?

Нет, тешатся пускай мать ею да отец,

А я слуга ея; лишь делу бы конец.

Конечно, судья оскорблен в своих лучших чувствах — с какой стати его вынуждают преступать закон за подношение в размере продуктового набора и кусок бархата? Он-то за свою службу не получает в награду земельных наделов! А очень хочется купить хотя бы деревеньку! Да денег нет, жалованья не хватает... Смышленный Праволов тут же предлагает несчастному дать займы на приобретение желанного три тысячи рублей, которые у него завалились в кармане и которые он не знает, как потратить...

Жить становится все веселее! Кривосудов чрезвычайно стеснен в обстоятельствах!

На природу выехать невозможно, дачи нет, приходится круглый год жить в городе.

К тому же и саму гражданскую палату, где призваны отправлять судейские обязанности герои, пришлось разместить прямо с доме судьи! Почему? Потому что присутственное место сгорело.

Не знаю, как сказать: иль ангел, или бес,

Вняв челобитчиков умильному моленью,

Присутственны места все предал всесоуженью.

А как домов таких нельзя здесь вдруг найти,

Где выгодно суды могли бы поместить,

То председатель наш в свой дом вместил палату,

С казны за то себе приобретаая плату.

Вот прямо в вестибюле судейского дома и красуется стол под красным сукном, где будет проходить заседание. Пьяные гости погрузились в сон, а Праволов предусмотрительно расставляет под столом бутылки для необходимой опохмелки — чтобы утром дело рассмотрелось без проволочек. Прямо-таки литературный прародитель Чичикова — мужчина, приятный во всех отношениях. Любезный, заботливый... Истец Праволов действует в связке со своим поверенным в делах — адвокатом Наумычем, опытным сутягой и изворотливым организатором всех процессуальных нарушений. Это именно он организывает вклейку подложного документа, находит лже-свидетелей, инструктирует их и организует изготовление самого документа. В беседах выясняется, что он и мастерски подчищает векселя...

Пропуншевавшие всю ночь члены суда готовы сесть за присутственный стол и выполнить долг перед законом. Но сначала, считает служанка, надо «следы вчерашнего присутствия прикрыть / И бахусов кагал в судейску превратить».

Повытчик Добров ей возражает:

Д о б р о в: Напрасные труды! Не токмо что простые,
Но целый хоть ушат разлей воды святые, —
То ябедничьих здесь не смоешь ты проказ.
Послушай: окрещен кто уж в чернилах раз,
Тот черн останется, хоть мой во Иордане.

Крещенные в судейских чернилах служители Фемиды приступают к рассмотрению дела. И здесь буквально сразу же выясняется, что к спорной территории, наследству своего отца, Богдан Прямиков не имеет никакого отношения! Он не наследник!

Как же так? Вроде бы местные заседатели прекрасно знают Богдана как сына своего отца, с которым жили годами рядом, и могут показать под присягой, что наследник — он!

В материалах дела, однако, содержится документ, в котором черным по белому написано, что у бывшего владельца землевладения не было сына Богдана (выписка из метрической книги?). Почивший в бозе хозяин территории сына имел, но звали того Павлом, и умер он, не вступив в наследство. А в завещании наследником тоже указан Павел Прямиков.

Подполковник Богдан Прямиков — самозванец, не имеющий прав на чужую земельную собственность. По сути, выморочная земля может быть по суду передана во владение опытному хозяйственнику Праволову (кто платил за нее подати и налоги?). Под это решение можно подвести хорошую законодательную базу, ведь в судебных уложениях такие дебри, что сам черт ногу сломит!

Может быть, здесь, ближе к финалу комедии, зрителей охватывал неудержимый добродушный смех, почти одобрительно отзывающийся на «проказы» судейских, которые с помощью взяток, крючкотворства, фальсификаций проворачивают сверхудачную сделку, опираясь формально на закон. Недаром некоторые афоризмы, созданные автором комедии «Ябеда», повторялись зрителями нескольких поколений.

Законы святые, но исполнители — лихие супостаты.

Что взято, то и свято.

На что ж привешаны нам руки как не на то, чтоб брать.

Взяточники-мздоимцы, фальсификаторы, юридические мошенники — оказывается, они годами не рассматривали дел, 마리новали их под сукном. Оказывается,

они в массовом порядке принимали неправосудные решения. Оказывается, они создали мощную коррупционную схему, где рука мыла руку и где удавалось выходить сухими из воды тем, кто превратил судебную власть в источник наживы. Чиновничий беспредел достиг умопомрачительной виртуозности.

На примере случая Богдана Прямикова драматург Василий Капнист показал, что отстаивать свои законные права почти невозможно. Теперь подполковнику надо доказывать не свое право на наследство, а право на то, что он вообще был в реальной российской действительности!

Комедия Капниста называлась общественной комедией, и ее блестящий успех свидетельствовал о том, что драматург вывел на осмеяние не один частный случай из жизни частного человека, а такой масштабный порок жизнеустройства, над которым можно было смеяться уже только сквозь слезы!

Видимо, зрители распознали в предьявленном прецеденте стандартную практику судопроизводства, узнали типичные технологии кривосудов, способы безопасных нарушений закона... Написанная в 1796 году, «Ябеда» как бы призывала общество к необходимости назревшего реформирования наследия екатерининской эпохи... Остерегала от того, чтобы гнев народный не довел россиян до греха недавней Французской революции...

Финал комедии неожиданно оптимистичен: явившийся на заседание палаты Богдан Прямиков любезно сообщает судьям, что ему стала известна пренеприятнейшая новость: в результате шквала жалоб в высшие инстанции Сенат решил привлечь к суду самих судей: членов арестовать, а председателя Кривосудова отправить под стражей в Санкт-Петербург.

Конечно, Василий Капнист не был фанатом Французской революции, не призывал зрителей к бунту против действующей власти. Он все еще надеялся, что центральная власть может справиться с разгулом коррупции на местах, что отдельные паршивые овцы-взятокодатели будут устранены из добропорядочного стада местных властных элит...

Но тогда, в конце XVIII века, еще никому не был известен закон Паркинсона. Каждая созданная структура, как мы теперь знаем, неизбежно стремится к самовоспроизводству и расширению... Ныне, спустя 260 лет после рождения драматурга, мы видим, что хотя судебная власть и непрерывно реформируется, хотя законы изобретаются на любой случай жизни, хотя и число судов (не только традиционных гражданских и уголовных) уже не поддается учету, а все чистота правосудия остается недосягаемой мечтой и идеалом...

Василий Капнист не был профессиональным драматургом. «Ябеда» — единственный сценический бриллиант в его литературной короне. Диалоги героев, явившихся на сцене, выстроены живо, интонационно разнообразно, в соответствии с заявленными характерами. Язык персонажей комедии хоть и несколько старомоден, но гибок, колоритен и афористичен.

Сорокалетний автор показал комедию на сцене придворного театра в Павловске (1797), в следующем году она была поставлена на императорской сцене, но выдержала лишь четыре представления. Драматург, воодушевленный успехом, разрешил напечатать комедию лучшему актеру, чтобы ее продажами увеличить ему гонорар. Однако вскоре и пьеса была снята с репертуара, и отпечатанный тираж отобран у актера. Капнист не роптал. Видимо, по зрелом размышлении он пришел к выводу, что комедия может не только обличить судей-мздоимцев, но и послужить настоящей школой коррупционного мастерства для тех служителей Фемиды, которые еще не знакомы с новейшими антиправовыми практиками.

Большую часть своей жизни Василий Капнист писал стихи и находился в поэтическом окружении, где были такие парнасские корифеи, как Гавриил Державин, Михаил Херасков, Иван Хемницер, Иван Дмитриев, Николай Карамзин, Николай Львов. Все они испытывали свои литературные возможности в разных формах: писали лирические стихи и оды, поэмы и переложения псалмов, басни и либретто для опер, комедии и трагедии, публиковали научные статьи и переводы античных авторов и известных европейцев... Капнист принадлежал к той породе литераторов, которые стремились быть универсальными личностями и служили на разных нелитературных поприщах. Не всегда им удавалось достичь успеха, и они умели относиться к себе с юмором, не требовали признавать гениальной каждую свою строку. Сам над своими неудачами Капнист подшучивал.

Коль хочешь ты насмешкой
Разумный круг развеселить,
Не избирай другого пешкой,
Но над собой изволь шутить:
Зоилом век не будешь слыть
И в ухо влезешь всем — сережкой.

1810-е годы¹

Василий Капнист роста был среднего, худощавого телосложения, привлекал окружающих любезностью, большими огненными глазами и мягкой насмешливой улыбкой. Любил говорить по-малороссийски, владел не только русским, но и несколькими европейскими языками... Писал лежа в постели, окруженный книгами и бумагами — это самое естественное положение для писания, считал он.

Биография Василия Капниста таинственна и причудлива. Поэт — внук сподвижника Петра Великого, венецианца Стамателло Капнисси, который въехал в Малороссию в 1711 году в преддверии Полтавской битвы. Нынешние источники указывают разные даты рождения Василия Капниста: то 1758 год, то 1757 год, то 1756-й². До сих пор не установлено, где и когда он получил блестящее многостороннее образование, если родился и жил в селе Обуховке Полтавской губернии без отца (погиб в самом начале Семилетней войны). Теперь принято считать, что будущий автор «Ябеды» родился в 1758 году. Тринадцати лет был записан (1771) в лейб-гвардии Измайловский полк, в том же году произведен в подпрапорщики. В следующем (1772) перешел в Преображенский полк, где в 1775 году, семнадцати лет от роду получил первый офицерский чин. К этому времени он уже создал вполне удачную оду на Кайнарджийский мир с Турцией (1774), в 1779-м сатира «На нравы» опубликована в «Санкт-Петербургском вестнике».

Около 1780 года поэт оставил военную службу с чином гвардии подпоручика и удалился на родину, в село Обуховку.

Далее послужной список Василия Капниста зияет пустотами и странными назначениями. То поэт удаляется в полтавское имение, то оказывается в самых неожиданных местах и на самых диковинных должностях.

В начале 1782 года — он предводитель дворянства Миргородского уезда.

В середине 1782 года — контролер Почтового ведомства.

В мае 1783 года — отбыл в свою Обуховку.

¹ В. В. Капнист. Собрание сочинений в 2 т. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1960.

² О. В. Сухарева. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, М., 2005.

В январе 1785 года — двадцатисемилетний приезжий — уже предводитель дворянства Киевской губернии и действительный член Императорской Российской академии.

Еще через два года, в 1787 году, Капнист получает чин надворного советника и становится... главным надзирателем шелковичного завода в Киеве.

Еще через двенадцать лет наш необычный герой становится коллежским советником и назначается... помощником директора театров А. А. Нарышкина по управлению русской труппой.

После кратковременных экзотических служебных назначений в царствования Екатерины и Павла Василий Капнист увольняется со службы с чином статского советника (1801). Но проходит всего лишь год — и наш полтавский венецианец вновь оказывается на службе: теперь он исполняет обязанности генерального судьи 1-го департамента Полтавского генерального суда... Не ирония ли судьбы?

Интереснейшая биографическая мозаика! То ли перед нами офицер-филолог, то ли кризисный менеджер и чиновник по особым поручениям? То ли малороссийский помещик-сибарит, то ли контролер почт и ревизор заводов?

Несмотря на множество вынужденных служебных перемещений, автор «Ябеды» всю жизнь вел активную литературную деятельность. Он участвовал в составлении «Словаря Академии российской» (Капнисту поручен выбор слов из «Русской правды» и «Слова о полку Игореве»). Был почетным членом «Беседы любителей русского слова» (1811), в ее «Чтениях» публиковал свои стихи, а также статьи о стихосложении. Капнист сотрудничал в «Санкт-Петербургском вестнике» (с 1780-х гг.), «Московском журнале» (1792), «Аонидах» (1796—1797), «Северном вестнике», «Журнале древней и новой словесности», «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и др.

После получения очередной должности вблизи своих полтавских владений Василий Васильевич Капнист занимался, как говорят исследователи, преимущественно литературными трудами. Но кто знает, наведываясь в Москву и в Петербург, не продолжал ли он по дороге инспектировать указанные Сенатом погрязшие в коррупции объекты? Возможно, и герой его бессмертной комедии Богдан Прямыков, прибыв в родные края, не случайно оказался самым осведомленным человеком в делах Сената.

Поэт был деятельным и неравнодушным человеком. И если в юные годы он приветствовал восторженной одой о Кайнарджийском мире освобождение от турок Крыма, но в зрелые годы уже обращался напрямую к министру просвещения с идеей направить в Крым археологическую экспедицию для изучения истории этого края.

Хоть Василий Капнист и обращался к Горациевой оде «Памятник» (К Мельпомене), но, возможно, он и не считал себя, живущего в одно время с такими поэтическими гигантами, как Гавриил Державин и Михаил Херасков, достойным литературного бессмертия. Славолюбие и тщеславие не находились в центре его мироздания. Он не ждал ни от современников, ни от потомков лавровых венцов... Его утешил бы и единственный листок, сорванный со священного дерева Аполлона.

...Быть может, если муз покровом
Пермесский прешагну поток,
Под лучезарным Феба кровом
Сорву из лавра — хоть листок.

19 октября 1822³

³ В. В. Капнист. Избранные произведения. Библиотека поэта. Большая серия. Л.: Советский писатель, 1973.

Личность и рок

Лев БЕРДНИКОВ

НЕОТКРЕСТИВШИЙСЯ

Железнодорожный король России XIX века, банкир, правозащитник, отец пацифистского движения, организатор науки, ученый самого широкого диапазона, он получил всемирную известность и даже был номинирован на Нобелевскую премию мира.

Речь идет об Иване Станиславовиче Блюхе (1836–1902). Фамилия Блюх (Блох, Блок, Волох, Валах) произошла от польского слова «Wloch» (в переводе: «итальянец»). Так поляки называли сефардов — выходцев из Италии. Одним из носителей фамилии был далекий потомок тех итальянских переселенцев, «чрезвычайно умный и энергичный» иудей Селим Блох, уроженец Познани. В этом городе, принадлежавшем тогда прусской короне, евреи селились еще с XIV века и в конце XVIII века составляли уже $\frac{1}{8}$ часть общего населения. Как и во всей прусской Польше, здесь укрепилось влияние последователей Хаскалы, так что многие евреи были сторонниками европейского влияния и европейской культуры. Однако в правах тамошние иудеи были поражены и лишь в 1847 году уравнены с их собратьями в других прусских провинциях.

Жизнь в Познани у Селима не задалась, и он переехал в другой польский город — Радом, находившийся уже под российским скипетром, так что, помимо идиша, немецкого и польского, он вскоре овладел и русским языком. Радом, что на реке Млечна, в 100 километрах от Варшавы, был столицей Сандомирской губернии с населением около 30 тысяч человек. Хотя иудеи составляли 14 % горожан, у них долгое время не бы-

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где в 1987–1990 годах возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Автор книг: «Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII — начала XIX века» (СПб., 1997; 2-е изд. 2013); «Щеголи и вертопрахи. Герои русского Галантного века» (М., 2008); «Евреи в ливреях. Литературные портреты» (М., 2009); «Шуты и остро словы. Герои былых времен» (М., 2009); «Евреи государства Российского XV — начало XX вв.» (М., 2011); «Jews in Service to the Tsar» (Montpelier, 2011); «Русский Галантный век в лицах и сюжетах», Т. 1–2 (Montreal, 2013); «Евреи в царской России: сыны или пасынки?» (СПб., 2016); «Силуэты. Еврейские писатели XIX — начала XX вв.» (Оттава, 2017) и нескольких сотен публикаций в России, США, Канаде, Англии, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине, Беларуси, Молдове. Тексты Л. Бердникова переведены на иврит, украинский, датский и английский языки. Член Русского ПЕН-центра, Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Член редколлегии журналов «Новый берег» (Дания) и «Семь искусств» (Германия), зам. главного редактора журнала «Слово/Word» (США). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси. Историческая публицистика». Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда имени Булата Окуджавы.

ло даже своего погоста (еврейское кладбище открылось в 1831 году). А в 1827 году местная еврейская община выкупила здание костела, возвела новую башню и перестроила его в синагогу.

Селим Блох открыл мастерскую по окраске шерстяных изделий. Благосостояние его оценивалось разное: от вполне успешного фабриканта до чуть ли не пролетария, с трудом содержавшего свою многодетную семью.

Блохи были вполне ассимилированными. Вплоть до того, что старший сын Селима, семнадцатилетний Фердинанд Адольф (1825 — после 1881), в будущем купец и строитель железных дорог (правда, не сумевший достичь успеха), перешел в аусбургско-реформатское исповедание, достаточно распространенное в тех пограничных районах. Показательно, что в эту веру обратился в 1845 году и крупнейший банкир Царства Польского Леопольд Станислав Кроненберг (1812—1878).

Наш герой, Ян Готлиб Блох, седьмой из девяти детей Селима, жил с оглядкой на старшего брата, которому всячески подражал, и в 15 лет тоже стал протестантом. Работать наш отрок начал рано: в 14 лет перебрался в Варшаву, где поначалу трудился в одной небольшой конторе, а затем был мелким банковским клерком в фирме Симона Самуэля Теплица (1795—1865), где и приобрел первый коммерческий опыт. Неизвестно, учился ли он в хедере или в какой-либо другой школе. Но очевидно, что начальное образование получил, иначе не сдал бы вступительные экзамены в Варшавское реальное училище. Помимо иностранных языков, там преподавались прикладные дисциплины: механика, химия, а также технологические и коммерческие предметы. Курс обучения длился семь лет и был им завершен в 1854 году.

А в 1856 году он неожиданно принимает католицизм, что практическими причинами объяснить трудно: все христианские «иностранные исповедания» пользовались в империи равными правами, так что никаких новых привилегий он не получил. Другое дело, что в католической Варшаве стать католиком было оправданней. Впрочем, скорее всего, он вновь последовал за многоопытным братом. Авторитетная «Еврейская энциклопедия Брокгауз и Ефрон» указывает, что Ян Готлиб «крестился по семейным обстоятельствам». Правда, современники сомневались в искренности этого «дважды перекрещенца», поскольку он не посещал ни костела, ни кирхи: по-видимому, был агностиком, если не сказать атеистом. Исследователь Алексей Волюнец отмечает в связи с этим, что религия была для юноши лишь «рабочим инструментом» в жизни и деятельности.

Вскоре Ян Готлиб направился в Санкт-Петербург, где на русский манер стал именоваться Иваном Станиславовичем и переделал свою типично еврейскую фамилию на более нейтральную — Блюх. В это время Россия переживала железнодорожный бум, и наш герой, опять вслед старшему брату, с головой ушел в этот перспективный бизнес. Начинать он мелким подрядчиком Петербургско-Варшавской железной дороги, брал подряды на обустройство какой-нибудь станции или платформы. Позже, являясь уже концессионером, строил часть Либаво-Роменской железной дороги.

Стремясь разобраться во всех тонкостях нового дела, он, как выпускник реального училища, не мог продолжить образование в российском университете, поэтому направился в Берлин, где слушал лекции по математике, физике и инженерному делу, а также по экономическим и общественным наукам. Упорно работая, много читая и наблюдая, он сумел стать глубоко образованным человеком. Современники называли его «самородком-автодидактом».

В Варшаву он вернулся уже «миллионщиком», открыл банковскую контору, купил престижный дом. И все это на радость молодой жене, Эмилии Юлии Кроненберг (1845—1921), племяннице крупного финансиста Леопольда Кроненберга, которого называли Железнодорожным Королем Царства Польского. Их брак, в котором роди-

лось семеро детей, был заключен в 1862 году и слыл вполне счастливым. Кроненберг считал Ивана надежным партнером и назначил своим финансовым советником. Но, к всеобщему удивлению, Иван развил такую бурную деятельность, что на почве разногласий с контрактами вдрызг разругался со своим свойственником. Их затяжной конфликт рассматривали как «противоречие старой и новой буржуазии», причем новое взяло верх: Блюх получил право самому называться Железнодорожным Королем.

Он строил Ландварово-Роменскую, Ивангородо-Домбровскую железные дороги, был учредителем и председателем правления акционерного общества Киево-Брестской, Либаво-Роменской, Лодзинской и Тираспольской железных дорог. Помимо железнодорожных предприятий, он основал несколько частных банков, кредитных и страховых учреждений. Неудивительно, что он стал членом Совета Польского банка, председателем Общества купцов и президентом Биржевого комитета.

В бытность Блюха главой Общества Юго-Западных железных дорог случилось крушение царского поезда в Борках (позже выяснилось, что в результате подрыва). Александр III сказал в сердцах: «На вашей дороге нельзя ездить, потому, что ваша дорога жидовская». Впрочем, это вовсе не означало, что царь ставил под сомнение важность и полезность самого железнодорожного строительства. И в этом с ним были солидарны даже публицисты-славянофилы. Так, Иван Аксаков говорил о том, что такие дороги отвечают настоятельным потребностям русского народа, который, «не заботясь об наших опасениях и поэтических сожалениях, не питает к железной дороге никакой ненависти, находит ее очень выгодную, охотно по ней катается... и не прочь устроить ее в других местах». А вот нынешние евразийцы, в отличие от своих предшественников, стоят на архаично-консервативной позиции: «Десакрализация прокладывает повсюду рельсы... Железная дорога родилась именно тогда, когда „Бог умер“». И это в XXI-то веке!

Блюх был не только практическим деятелем, но и теоретиком железнодорожного дела. В 1864 году он составил записку о правильной постановке этой отрасли государственного хозяйства. А его первая книга «Русские железные дороги» (на русском и французском языках с 12 картограммами, СПб., 1875) явилась первым в России серьезным опытом разработки железнодорожной статистики и политики и на географической выставке в Париже была награждена медалью. Интересна также его монография, с атласом и графиками, «Исследование по вопросам, относящимся к производству, торговле и передвижению скота в России и за границей» (1876), а также «О взимании русскими железными дорогами провозных плат в металлической валюте» (1877). В защиту интенсивного железнодорожного строительства в России (за 11 лет было построено 20 тысяч верст!) Блюх напечатал в «Вестнике Европы» целый ряд статей. Но главным трудом в этой области стала его капитальная монография «Влияние железных дорог на экономическое состояние России» — пять увесистых томов, с графическим атласом и таблицами (СПб., 1878; вышла также на польском и французском языках) — и тогда же на Всемирной выставке в Париже была отмечена Большой золотой медалью.

Понятно, что столь монументальный труд с самыми разноплановыми данными, грудой цифр, графиков, диаграмм, статистических выкладок, не мог быть выполнен в одиночку. Здесь потребовалось участие многих специалистов, работу которых автор организовал и щедро финансировал. По заданию Блюха каждый из них должен был сосредоточиться на своем узкоконкретном участке.

Премьер-министр Сергей Витте привел забавный эпизод с генерал-лейтенантом, инженером-строителем Станиславом Кербедзем (1810—1899), в свое время помощником управляющего работами по сооружению Петербургско-Варшавской желез-

ной дороги, который «знал Блюха еще маленьким жидком и всегда называл на ты». Иван преподнес ему свой многотомный опус. «Тот поблагодарил его за подарок и наивно спросил, прочел ли тот сам этот труд. Блюх очень обиделся». И добавим: имел на это все резоны.

Степень участия Ивана в изданных под его именем книгах раскрыл его многолетний сотрудник, экономист Андрей Субботин (1852–1906): «Мы не раз имели случай удостовериться, что И. С. лично изучал источники, делал отметки, намечал таблицы, планировал графики, составлял не только программу труда, но и основной текст, а также все выводы; своим же сотрудникам поручал лишь черновую работу, выборку статистических данных, подсчет таблиц, выписку и перевод своих пометок, но лично собирал и располагал весь материал, снабжал таблицы и графики комментариями. Не делают ли то же самое многие ученые и все те, которым дорого время, т. е. оставляют себе, так сказать, структуру труда, а механическую работу поручают другим. От этого труд только выигрывает, становится более производительным; является возможность больше сделать за то же время». Говоря современным языком, Блюх был неутомимым генератором идей. Он координировал работу целого института, который привел в движение и занял в нем место главного научного руководителя.

Недоброхоты корили Блюха в жажде славы, забывая о его бескорыстном и страстном самопожертвовании, о том, что научно-просветительская работа стала для него обязательным, личным делом. Вот как ответил на подобные выпады осведомленный биограф: «И в преклонном возрасте, когда люди начинают жить для себя, становятся эгоистичными, он проводил почти все время среди книжной пыли, за разборкой материалов, за чтением литературных новинок, иногда забывая при этом о таких прозаических вещах, как правильная еда, сон, прогулки, предписания докторов. Нельзя не ставить ему в большую заслугу, что вместо удовлетворения тщеславия, подобно большинству других богачей, взамен широкого пользования утехами жизни, он затратил не одну сотню тысяч на обширные и ценные исследования, интересные и для ученых, и для администраторов, и просто для образованных людей».

Заслуги Блюха получили широкое признание: в 1877 году он стал членом Ученого комитета Министерства финансов, статским советником, был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и возведен в дворянское достоинство. А уже в 1882 году он вместе с сыном Генрихом Яном и дочерьми Марией, Екатериной, Александрой, Эмой, Эмилией и Иоанной Марией был утвержден и в потомственном дворянстве, с правом на внесение в третью часть «Дворянской родословной книги». Был сочинен и герб Ивана Блюха: в лазоревом щите половина серебряного кольца, концами вниз. На кольце серебряное острие от копья. Внизу серебряное колесо с восемью спицами. На щите коронованный шлем; в качестве нашлемника — три страусовых пера, среднее серебряное, крайние лазоревые. На щите лазоревый намет, подложенный серебром. Красноречив и девиз, набранный серебряными буквами на лазоревой ленте: «OMNIA LABORE» («Все трудом»), что вполне соответствовало неукротимой работе нашего героя.

Иван Станиславович считается автором значительных трудов по экономической истории России, включая Царство Польское. Это крупные обобщающие исследования глобальных сторон государственного управления. Достаточно сказать, что на польском языке были изданы его книги «Фабричная промышленность в Царстве Польском» и «Земля и ее задолженность в Царстве Польском». Он также поместил ряд статей по железнодорожным и финансовым вопросам в журналах «Biblioteka Warszawska» и «Ateneum».

В 1882 году выходит в свет четырехтомный труд Блюха «Финансы России XIX столетия». Это исторический очерк государственного финансового управления импе-

рии, начиная с подъемных и подушных податей допетровской Руси и завершая «Новым таможенным тарифом» Николая I. Даются развернутые данные о государственных доходах и расходах, а также характеристики деятелей (прежде всего государей и министров), так или иначе влиявших на финансовый климат в России. Материал выстроен в хронологической последовательности. Интересно, что Блюх вносит в текст свое авторское отношение. Так, эпоху Николая I он называет «безусловная реакция». Труд дополнен томом, включающим историю финансов Царства Польского до слияния их с общим российским бюджетом.

Согласно Блюху, для поправления российских финансов необходимо было изменение государственного устройства, ибо «будущность принадлежит развитию самоуправления: средство, давшее хороший результат во всем мире, произведет его и у нас, лишь бы оно явилось путем правильным, мирным и не слишком поздно». В случае же нежелания правительства дать волю частной инициативе, возможны и «насильственные народные движения». (Звучит остро современно, если обратиться к нынешним реалиям, не правда ли?) Но не случайно такая позиция вызвала резкую критику известного «охранителя» Михаила Каткова. Он корил Блюха за то, что тот старается «поселить в обществе недоверие к производительным силам страны и к трудовым способностям народа». Понятно, что в своих выводах прогрессист и космополит Блюх ориентировался на стремительное развитие капитализма в России как органической части процесса общемирового. И показательно, что «Финансы России...» были переведены на французский, немецкий и польский языки.

В том же ключе выполнены и финансово-экономические исследования «Мелиорационный кредит и состояние сельского хозяйства в России и иностранных государствах» (2 изд.: 1890 и 1896) и «Задолженность землевладения в Царстве Польском» (1894). Широта научных интересов Блюха поражает. Как отмечает израильский историк Эла Бауэр, по своей универсальности и многогранности он явил собой пример деятеля «возрожденческого типа». Даже Сергей Витте, относившийся к Ивану Станиславовичу с явной неприязнью, назвал его «человеком по природе не глупым, в высшей степени образованным и талантливым».

Немудрено, что Блюх, став одним из самых крупнейших предпринимателей России, не только дослужился в 1887 году до генеральского чина, но и негласно назначал министров в царском правительстве. Так было с профессором Иваном Вышнеградским (1832—1895), одним из известных российских ученых XIX века, основоположником теории автоматического регулирования и руководителем Санкт-Петербургского технологического института, который благодаря Блюху стал министром финансов. Несмотря на то, что они были такими разными (Блюх — убежденный космополит и агностик; Вышнеградский — консерватор, истово православный и империалист), но им сообща удалось быстро сократить бюджетный дефицит страны и увеличить золотой запас, что позволило вскоре ввести в обращение золотой рубль. Впрочем, и Вышнеградскому, и Блюху эти достижения были нужны не только для укрепления мощи империи, но и для грандиозной операции по выкупу частных железных дорог России в госсобственность. Эта схема принесла министру Вышнеградскому и его бизнес-партнеру Блюху фантастические прибыли.

Один из первых среди ученых, Иван Станиславович занялся проблемами взаимоотношения войны и политики, войны и экономики. Он предпринял попытку раскрыть причины, характер и масштабы вооруженной борьбы в будущей войне европейских стран. Ему удалось привлечь к работе целый штат экономистов, статистиков, инженеров, а также военных из генеральных штабов европейских стран, прежде всего России и Германии. Был собран огромный фактический материал. Это позволило ему рассмотреть проблемы мобилизации, сосредоточения и стратегического раз-

вертывания армий Австро-Венгрии, Германии, России и Франции, а также определить вероятные способы ведения войны.

Первые результаты этого исследования Блюх начал публиковать в 1892 году в русской и польской, французской и немецкой периодике. Реакция общественности была в целом доброжелательной и подвигла его продолжать начатую работу, которую он завершил в 1898 году изданием капитального шеститомного труда «Война. Будущая война в техническом, политическом и экономическом отношениях» (4 тысячи страниц текста и 1 том картограмм!). Блюх считал себя обязанным привлечь внимание к факторам, игравшим существенную роль в будущей войне. Концепция войны Карла фон Клаузевица как инструмента национальной политики осталась в прошлом. Трезвый и добросовестный анализ фактов привел ученого к выводу, что в грядущих боестолкновениях победителей не будет, ибо за ними последуют миллионы жертв, разруха, голод, революция. Он горячо призывал к разоружению и всеобщему миру. Надо сказать, что такие мысли он высказывал еще Александру III, но тот, несмотря на свою репутацию Миротворца, слушал его вяло, и встреча оказалась бесплодной. Не то Николай II, который, узнав, что книга задержана цензурой, не только санкционировал публикацию, но и способствовал ее популяризации. Этому предшествовали его неоднократные многочасовые беседы с Блюхом, после чего император настолько проникся идеей всеобщего мира, что встал за нее горой. И императрица Александра Федоровна, с которой также говорил Блюх, горячо поддержала его пацифистские взгляды. Одобрившие особы и инициативу созыва международной мирной конференции по разоружению, на чем настаивал ученый. С их поддержкой труд был издан на польском, немецком, французском и английском языках. Интересно, что почти столетие спустя книга будет переиздана на английском и французском. Имеется также и ее издание на иврите.

Согласно Блюху, война и мир — это результат целого ряда причин, начало которых исчезает в «тумане доисторического быта обществ». При этом война так тесно соединилась с историей человечества, играла столь выдающуюся роль во всех фазах развития, с ней связаны столь многие, дорогие для каждого народа воспоминания, что до последнего времени люди не только не чувствовали к ней отвращения, но, наоборот, окружили ее блеском почета. Но к концу XIX века многие в Европе стали настаивать на несовместимости милитаризма и мирового прогресса: война неприемлема не из-за высокой морали и религиозных воззрений, а просто потому, что в индустриальном обществе она несет разрушительный эффект. Если говорить о традиции, то взгляды Блюха впитали в себя идеи польского позитивизма, западного идеализма, философов Анри Сен-Симона, Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера и др.

Блюха называют пророком, предвидевшим ход Первой мировой войны. Он и в самом деле предрек использование новой военной техники ((бездымного пороха, скорострельных винтовок, пулеметов), снижение важности кавалерийских и штыковых атак, новые условия войсковой разведки, использование не слышанной тогда авиации («кораблей, носящихся по воздуху»). Война будет позиционной, с большим преимуществом обороняющихся перед наступающими. Возникнут протяженные фронты. Бои затянутся на годы и станут войной на истощение. Он предсказал «снарядный голод» и «хлебный кризис», которые в 1915–1916 годах охватят воюющие страны; дефицит младших офицеров и «ослабление в войсках руководства»; решающую роль окопов, полевых укреплений; применение подводных лодок и, конечно же, чудовищные потери всех воюющих сторон. Блюх горячо пропагандировал мысль о всеобщем разоружении, доказывая, что в этом заключается спасение не только Европы, но и всего человечества.

Его идеи были поддержаны Николаем II, который выступил с инициативой созвать Гаагскую мирную конференцию. Этот прозвучавший из Санкт-Петербурга призыв поразил глав европейских государств. Некоторые его приветствовали, заявляя, что русский царь станет известен в мировой истории как Николай Миротворец. На конференции, проходившей 18 мая — 29 июля 1899 года, приняли участие представители 20 европейских стран, а также Мексики, Японии, Китая, Сиама и Персии. И хотя сам Блиох не был включен в состав российской делегации, он выступил здесь с серией публичных лекций: о будущей войне с экономической точки зрения, о развитии огнестрельного оружия, о трудности мобилизации современной армии, о грядущих морских баталиях. Кроме того, участникам конференции раздавали экземпляры его труда. Так что вовсе не случайно его назвали «Человеком, созвавшим мирную конференцию». При этом председатель конференции Егор де Стааль назвал Блиоха «замечательным человеком» и добавил: «Он хочет доказать, что всеобщий мир вовсе не утопия, но при современном состоянии армии и вооружения утопией для цивилизованных стран становится война. И он прав».

Впрочем, некоторые генералы восприняли труд Блиоха со скепсисом. Они придирчиво выискивали ошибки в его прогнозах — благо в шести объемных томах их было немало. Автора осуждали и как еврея, и как пацифиста, сумевшего привлечь на свою сторону всемогущего российского императора. Особенно много оппонентов было у него в Германии. Граф Георг Герберт Мюнстер видел в разглагольствовании о всеобщем мире сговор России и Франции против Германии. А кайзер Вильгельм II прямо телеграфировал Николаю II: «Вообрази монарха, распускающего свои полки, овеванные вековой историей, и предающего свой народ анархии и демократии». Даже принц Уэльский Эдуард VII заявил о бессмысленности предложений Блиоха. Зато Лев Толстой назвал его книгу «прекрасно составленным и очень полезным сочинением».

Конференция не сократила роста вооружений, не предотвратила Англо-бурскую и Русско-японскую войны, а только урегулировала способы мирного решения вопросов. Иван Станиславович не обольщался относительно ее результатов: «Большая война в ближайшем времени маловероятна... Но о вечном мире можно только мечтать; летопись войн нельзя считать окончательно закрытой, и опасность далеко еще не исчезла». Примечательно, что Блиох вместе с Николаем II был в 1901 году номинирован на первую Нобелевскую премию мира. Получил ее, однако, швейцарец Анри Дюнан, создатель Международного Красного Креста. Но сам факт его номинации говорит сам за себя.

Последним памятником пацифистских идей Блиоха стал созданный им рукотворный Музей мира и войны (Люцерн, Швейцария), где собраны ценные коллекции оружия, обмундирования, картины батальной живописи. Но открылся он уже после его смерти, в июне 1902 года...

Интересен словесный портрет Блиоха, нарисованный на закате его дней русско-еврейской писательницей Рашель Хин (1863—1928): «Совсем еще бодрый старик с белой, по-французски подстриженной бородой и гладкой, как слоновая кость, лысиной, обрамленной гладкими седыми волосами. Лицо семитического рисунка, но смягченное годами покоя и власти; ласковые, умные, выцветшие, „испытующие“ глаза... Манеры простые, спокойные... Такого приятного *self made man* я до сих пор не встречала. Собеседник он очень интересный». К тому же Хин была свидетельницей романтических отношений Блиоха и ее подруги, бывшей жены известного скрипача Надежды Ауэр (1855—1932), что характеризует его как человека пылкого, способного на идеальное чувство, ну точно как лирический герой Федора Тютчева:

О, как на склоне наших дней
 Нежней мы любим и суеверней...
 Сияй, сияй, прощальный свет
 Любви последней, зари вечерней!

«Иван Станиславович, хоть и был уже в возрасте, тут же влюбился, — сообщает Хин. — Похоже, впрочем, что все было вполне платонически... Так вот Блюх стал регулярно давать ей большие суммы денег „на жизнь“. Чтобы сгладить неловкость ситуации, была придумана успокоительная теория, что это „в долг“. Когда-нибудь Надежда Евгеньевна продаст свое имение под Самарой и все вернет. Это „когда-нибудь“ тянулось неопределенно долго, и получилось так, что имение она продала только после его смерти».

Хотя своим крещением Блюх вроде бы снял с себя «кандалы еврейства», он не отрестился от своего народа и верил в достойное место евреев в новом космополитическом обществе. Он горячо поддерживал еврейскую филантропию в Варшаве, Радоме и Петербурге. Инициировал он и меморандум от Варшавской биржи ценных бумаг в защиту евреев от дискриминации по майским законам 1882 года и нераспространении их на Царство Польское — и своего добился! В 1885 году по поручению председателя Высшей комиссии по пересмотру законов о евреях Константина Палена (1833—1912) он представил записку «О приобретении и арендовании евреями земли» и неоднократно составлял для официальных сфер докладные записки по еврейскому вопросу. Он щедро субсидировал Еврейское колонизационное общество, а также публикацию книг на идиш в помощь эмигрантам в США и Аргентине. Проявлял живой интерес к сионизму и стал товарищем Теодора Герцля (1860—1904), по просьбе которого в 1899 году Блюх смог получить разрешение властей на свободную продажу в России акций Еврейского колониального банка. Близко сошелся он и с другими сионистами: пионером журналистики на иврите Нахумом Соколовым (1859—1936) и экономистом Йозефом Кишротом (1842—1906), которые по его заданию собирали статистические данные о евреях Польши. Финансировал он и еврейские культурные проекты, стал спонсором журнала классика еврейской литературы на идиш Ицхока Лейбуша Переца (1852—1915) «*Yidishe bibliotek*».

Блюх старался использовать свои обширные личные связи, чтобы побудить правительственные круги облегчить положение евреев. Он организовал специальное «бюро печати», в котором обрабатывались оперативные материалы по еврейскому вопросу и трактовались факты, имевшие значение для разработки официальных законопроектов. К делу были привлечены талантливые публицисты, подготовлены злободневные статьи. Однако публиковать подобные тексты оказалось делом многотрудным, потому от этой идеи им пришлось отказаться.

Судьбоносной для Блюха стала его встреча с писателем и правозащитником Николаем Бакстом (1842—1904). Боевитый публицист, он печатал статьи по еврейскому вопросу в газетах «Голос», «Московских -» и «Петербургских ведомостях», написал апологетическую книгу «Русские люди о евреях», конечно, сразу же запрещенную цензурой. Несколько лет работал в комитете «Общества распространения просвещения между евреями в России», но особенно много потрудился в созданном по его инициативе «Временном комитете ремесленного и земледельческого фонда». Это Бакст навел Блюха на мысль об исследовании экономического и морального состояния евреев в России.

В этой связи необходимо вспомнить высказывание Михаила Салтыкова-Щедрина: «Относительно еврейского вопроса ходят в совершенных потемках, не имея о нем никаких фактов, кроме предания, правда, давно уже утратившего смысл, но

доселе сохранившего еще свою живость». И в самом деле, источников статистических данных по этому вопросу почти не существовало. А те, что имелись, не содержали необходимых подробностей. Все это давало антисемитам, в том числе из властей предрержащих, руководствоваться смутными догадками и случайными обобщениями и говорить о вредоносности иудеев во всех сферах экономической и хозяйственной деятельности.

С завидной энергией приступил Иван Станиславович к собиранию точных данных об экономическом положении и роли евреев в черте оседлости. Его помощники работали в различных учреждениях, казенных палатах, пользовались также официальными отчетами, протоколами, статистическими обзорами, докладами комиссий и неопубликованными трудами Высшей комиссии. Систематизировал же и обобщал материал сам Блюх. Адвокат Генрих Слюзберг (1863—1937) вспоминал: «Блюх так увлечен был своей работой, что часто, отправляясь в Петербург, брал с собой в дорогу статистический материал, касающийся еврейского вопроса, и в вагоне работал над ним; во время своего пребывания в Петербурге, в свободные от различных посещений минуты, он также отдавался обработке этого материала. Как близко этот железнодорожный и банкирский деятель принимал к сердцу то дело, которому он посвятил столько внимания!»

Работа Блюха «Сравнение материального и нравственного благосостояния губерний западных, великороссийских и польских» (1891) вылилась в форму обширного пятитомного сочинения, включавшего в себя до 140 таблиц и до 350 графиков и картограмм, наглядно пояснявших текст. Следуя строго индуктивному методу, автор взял себе за правило судить только о вопросах, доступных проверке цифрами. Иными словами, он руководствовался статистическим законом больших чисел, согласно которому для правильного вывода должно быть взято наибольшее число зарегистрированных фактов.

Исследование предварял очерк о современном антисемитизме в его «экономически-передовой», «христианско-социалистической», народнической и консервативной версиях. Он констатировал, что правительство априори исходило из идеи вредоносности евреев и намеревалось изучить лишь степень этого вреда в тех или иных отраслях экономической и общественной жизни.

Блюх приступил к работе без всяких предвзятых мыслей, отрешившись от племенных, религиозных и других предубеждений против евреев, не зная и сам, какие выводы получатся в результате. Однако, как отметила Рашель Хин, представленная им картина «получилась потрясающая».

Оказалось, что по сравнению с великоросскими губерниями в черте еврейской оседлости народное благосостояние — выше, прирост крестьянского населения — больший, скотоводство и продовольственная часть в более благоприятном положении. Что до нравственного состояния, то умышленных убийств, других серьезных преступлений, а также торговых плутней среди евреев меньше, чем у неевреев, что показывает статистика судимостей. Домов терпимости и тайных притонов по отношению к населению городов в черте оседлости в 12 раз меньше. Блюх писал: «Что касается до внутреннего и семейного быта самих еврейских обществ, то чистота их нравов, высокое уважение к науке, безусловная трезвость, бережливость и постоянная деятельность достаточно всем известны и не могут не служить им в похвалу».

Опровергает он и господствующее предубеждение, будто евреи столь плодовиты, что могут получить перевес над остальным населением. По его данным, евреи в черте составляют лишь 8,4 %, и прирост их меньше, чем у других национальностей.

И пресловутое обвинение евреев в спаивании русского народа на поверку оказывается ложным: «Жалобы на пьянство преимущественно относятся к губер-

ниям великорусским, гораздо меньше к губерниям малороссийским и новороссийским, и почти вовсе не заявлялись по губерниям западным и прибалтийским», — отмечает автор. В черте оседлости и пьянства меньше, и вино продается дешевле, а существование мелких сельскохозяйственных заводов возможно только благодаря дешевому еврейскому труду. Да и прибыль у еврейских кабатчиков гораздо меньше, чем у русских: «От этой бедности шинкарей пьющий народ черты оседлости ежегодно выигрывает 8 миллионов рублей, и многие лишние миллионы взимает также и государственное казначейство».

Очевидна для него и экономическая польза еврейской торговли. Ведь жесткая конкуренция привела к тому, что цены на товары доведены в черте оседлости до практического минимума. В то время как русские торговцы, получая 10–15 % прибыли, считают, что торгуют себе в убыток, евреи довольствовались 2–5 %. Зато еврейская среда дает относительно в пять раз больше мелочных торговцев, чем лица других исповеданий, причем такая торговля приводит с вопиющей нищете. Да и вообще 90 % еврейского населения составляет ничем не обеспеченная масса. Даже процент домовладения у евреев меньше. «Можно ли говорить о разорении сельского населения евреями, — полемизирует Блюх, — ввиду того непреложного факта, что эксплуатируемые, то есть крестьяне, живут в черте оседлости гораздо лучше, а эксплуататоры-кровопийцы представляют собой самую неприкрытую гольтьбу, проклинающую день своего рождения».

Вопреки мифу о том, что евреи чужаются физического труда, выяснилось, что десятки тысяч из них трудятся рабочими, носильщиками, возчиками, сплавщиками, водовозами, садоводами, поденщиками, кустарями, кузнецами, слесарями. Особенно много евреев-ремесленников — всего 450 тысяч человек, и еще 139 тысяч землевладельцев, огородников, садоводов, табаководов, виноделов. (Не отсюда ли проистекают поразительные результаты сельского хозяйства современного Израиля, одного из самых успешных в мире? — Л. Б.). При этом многие евреи-земледельцы, плотовщики, огородники принимают даже своеобразный облик сельчан, усваивая простонародную речь, приближающую их к крестьянскому типу.

Тем самым Блюх развенчивал расхожее мнение о том, что евреи не занимались земледелием и пользовались землей только для сдачи ее в чужие руки, не желая работать сами. Он обследовал хозяйства евреев в западных губерниях и сообщил, что, невзирая на чинимые им препоны, 75 % находятся в хорошем и среднем положении. А изучение 17 земледельческих колоний в Новороссии показало, что евреи возделывали землю и вели дело весьма серьезно. В 10 колониях Екатеринославской губернии евреи обрабатывали 84 % всей земли сами, без найма рабочих. И это при том, что возможность приобрести в собственность даже кусочек земли была для них закрыта.

Касается Иван Станиславович и вопроса о дискриминационной процентной норме для иудеев при поступлении в гимназии и университеты, вызванной, по его разумению, исключительно боязнью конкуренции с их стороны. Однако, несмотря на все преграды, в России уже возникла еврейская интеллигенция: врачи, адвокаты, художники, журналисты, ученые, служащие в акционерных компаниях.

В результате Блюх приходит к выводу, что господствующее в правительственных сферах неблагоприятное мнение о евреях ничем не обосновано, что нападки на них ложны и несправедливы и что необходимо отменить все ограничительные меры для иудеев. По мнению историков, более детального, добросовестного и основательного статистического обследования положения евреев и их экономической роли в России еще не было.

Труд был опубликован, но сразу же подвергся цензурным гонениям. Продолжение его было признано «излишним», и он так и остался неоконченным. Дело дошло

до того, что вопрос о распространении книги рассматривался в комитете министров, и она была признана настолько вредной, что был вынесен вердикт: арестовать и уничтожить издание. Лишь несколько экземпляров случайно уцелели в типографии Ефрона, где она печаталась. Впрочем, работа Блюха все-таки дошла до читателей: в 1901 году было опубликовано ее сокращенное издание, а основное содержание всего труда было изложено в обстоятельной статье Андрея Субботина «Еврейский вопрос в его правильном освещении» («Еврейская библиотека», 1903, Т. 10). Предвзятое отношение к жизни и деятельности еврейства в черте оседлости проявилось и у наших современников. Показательна в этом отношении нашумевшая книга Александра Солженицына «Двести лет вместе» (2001), в которой он ни полсловом не обмолвился о фундаментальных работах Блюха. И неудивительно, поскольку их выводы противоречили заданной концепции автора.

Ивану Станиславовичу Блюху была отпущена не слишком долгая, но яркая, насыщенная трудом и творчеством жизнь. И подводя итоги пройденного, он сказал на смертном одре: «Я был всю жизнь евреем и умираю как еврей». Так «дважды перекрещенец и космополит» обозначил главное и сокровенное содержание своей неутомимой деятельности.

РЕЦЕНЗИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЗНИ

Елена Крюкова. Евразия. Дюссельдорф: Za-Za Verlag, 2017.

Книга Елены Крюковой «Евразия».

Четыре основных персонажа, три мужчины, одна женщина, через которые «Соглядатай», журналист, что описывает этих четырех, разворачивает всю панораму и вовлекает в плоть романа. Такова конструкция.

Глава «Соглядатай», предвещающая основные действия. Любопытно заявлено, с самого начала идет философия: *«Я так считаю: настоящий подлец редкая птица, его надо изучать и охранять, беречь насколько возможно. Подлецы харизматичны, они двигают цивилизацию вперед. Подлец носит внутри себя целый мир, двойник мира внешнего; он, меняя свой мир, попутно меняет и тот, в котором живет, и это не всегда безболезненно, наоборот, это часто больно, и невыносимо. Но через боль мы приходим в мир, и через боль покидаем его, и через лютую боль рождается в мире все новое и свежее, то, что потом назовут прекрасным и великим. А может, ужасным и великим, без разницы. Но все равно великим».*

Обратим внимание, и себя журналист оценивает без прикрас. *«Тот, кто собирает байки и побасенки других людей о своей жизни, в глазах людей почему-то уравнивается с проституткой... Моя профессия, она всегда вызывала у людей отвращение, но ведь именно она запечатлевает эпоху, драгоценное, неповторимое время».* Ну да, не однажды сказано, проститутка и журналист — персонажи публичные, продажные. Нечистоплотные-де, низкие (*«для журналиста грязь — лакомый кусок»*). Однако иной изобличит: обнажаясь — а перед журналистом тоже невольно раздеваешься — мы себя неизбежно приукрашиваем, отсюда и «четвертая власть», и негативное отношение в том числе: голые мы и подсвеченные изнутри — картина «неприглядная». Не задается ли тем самым множественность ракурсов?

Дальше сразу о войне. Здесь жестко. *«Тогда, в тот день, я понял, что жизнь делится на явную и тайную. И они никогда не совпадают. Они совпадают только на*

войне. Потому что правда убийства и смерти — главная из всех правд. С ней спорить не может никто. И обозвать ее ложью не может никто. Потому что, глядя своей смерти в лицо, ты смотришь в свое самое безжалостное в мире зеркало».

По ходу действия обнаруживаешь чехарду смыслов, отсюда и — «Я допускаю все». И — «Человечек еще хочет верить, и он изобрел Бога для того, чтобы удовлетворить одну из своих базовых потребностей — жить спокойно, зная, что Кто-то о тебе позаботится. А себя убить? Ведь это грех! Страшный грех, по религии Христа! А вот в мире Аллаха самоубийство во имя Аллаха — это счастье и чудо, это великое деяние... Вот в какие сказки верят люди, и, между прочим, будут верить во все века... Не отрицайте Бога у людей. Это чревато последствиями».

Представляется, в предисловии дан тон всему роману, даже выстроена идеологическая схема.

Первая глава показывает конкретно одного из героев и знакомит с остальными. Таким образом и мы попробуем для наглядности конспективно воспроизвести жизнь Ефима. У пацана папа — бесхарактерный работяга, человек ни о чем. Мама отсутствует — причины несущественны. Мачеха — безобразный бочонок, отчетливая стервозина, ненавидящая, само собой, пасынка, ибо папа любит сына и готов для него на многое (кстати, последнее его свойство — суть очередная характеристика ничтожества в освещении, получается, журналиста). Рано приобщился к сексу и дракам, ташил где доступно, испробовал многое. Повредил себя, чтоб откосить от армии. Друзей нет, пока не угадал в партию — безусловно нацистского толка (лимоновскую, надо полагать). Друг на стороне, Баттал, шахид, которого, например, закапывают живьем в землю, а Фима откапывает. Появляется спутница, но очевидно, что здесь «игра в любовь», собственно, парень и имя ее не особенно помнит. Ну да, секс, верно, женитьба — так положено, равно существуют все. «Мужчина и женщина, это тоже война. Свадьба, это же поле боя». Убивает отца, случайно, разумеется. Это завязка — далее начинаются совсем шикарные похождения по жизни, простите, кругам ада.

«Это же нуар, трэш, чернуха и прочее вельзевульство», — невольно идет в голову. Вспоминаются Сигарев, Сорокин, «Елтышевы» Сенчина и иные известные проекты... Так, да не так.

Сразу скажем, о героине женщине (Рая — рай) конспективно никак не получится (третья глава), ибо весь путь ее — преисподняя. Впрочем, это обстоятельственно, внутренне девушка держит свет, уж безоговорочно мрачный контекст подчеркивает... О Баттале (вторая глава) особенно не станем, ибо тут слишком шибко, скажем только, отдельные главы — это повествования о каждом герое, при этом ребята непременно пересекаются, и весьма тесно, такова общая модель. Дополним, имея в виду сюжетные ходы, география обширная, Россия вдоль и поперек, Сирия, Украина — ну так обозначено, война.

Пойдем в технику, так безопасней. Поток сознания и речитатив. В этой смеси найдено, представляется, гносеологическое вещество романа, что-то от молитвы, внушения, медитации. Речитатив умиряет сознание, поток уж направленностью, узором интенций заставляет думать.

Крюкова текст мусолит, обволакивает и вминает его, как массажное масло, под аромат кальяна. Монотонно, словно проповедник. Но и с продуманными ходами, изменением интонации, вспылками, озорством время от времени.

В медитативное, скажем так, течение с повторами, суггестивной абстрактной вязью встроены фрагменты конкретной живописи, изготовленные просто мастерски, и это несет магический эффект. «Обрушилась тишина. Треск и вонь нефти. Нежный, еле слышимый запах пустынной полыни. Горечь опаленных камней. Пыль на сапогах, на резине шин. Одиночные, далекие сухие выстрелы. Змея ползет по высохшей зем-

ле, ее растревожили бомбы. Звезды тускло светят сквозь горячие, дрожащие слои дыма. Где-то далеко горят фонари. Это город, который мы не взяли. Это Пальмира. Мы возьмем ее. Мы возьмем ее, как женщину. Она ляжет перед нами и раздвинет каменные ноги. Истребители улетели. Абу Умар аш-Шишани убит. Серкан Кайдар вместо него. Звездное небо, оно примет нас всех. Трупы людей лежат в земле; кого захоронили, тому сильно повезло. Многие гниют на песке, под солнцем и луной, под ветром и клекотом хищных птиц. И даже собаки их не едят, ибо негодна в пищу зверю гнилая человечья плоть».

Практически нет диалогов. Герои ни с кем не беседуют, не спорят, не учатся — они доказывают себя действием, прямые как вектор. Теоретические «извилины» им чужды (притом энергичность поступи предполагает изгибы пути). Аллах не любит сомневающихся. Суры Корана напоминают падающие кометы. Куда они летят? А не надо знать — надо верить.

Написано, если хотите, самозабвенно. Пламенно, экстатически — до той степени, что, кажется, автор сам иногда путается, где реализм, где вымысел. И это заразительно. Мы живем в мире Поттеров и так далее. Но когда вымысел сделан в знаках реальности, когда все крутится в вареве высоких и крайних смыслов — война, бог, вера, правда, корысть — образы начинают не просто трогать, но жить. Разве это не ценно в постном, одряхлевшем и равнодушном мире? Тут и возникает аура текста, его пыл.

Найдется предположение, что читатель, имеющий широкий интерес к вещам, обнаружит в тексте музыкальное начало, и именно больших форм. Кстати, музыкальные термины в обозначениях глав не случайны.

Примечательно, наш сочинитель умудряется, в отличие от большинства авторов-бытописателей, что на слуху, сочно дать характеры героев не столько через внешность и поведение, сколько лаконичными метафорическими образами. Фима: *«Я хотел мощи и потрясения»*. Баттал: *«Я воин Аллаха»*. Мицкевич: *«Я такой, знаете, немного не в себе. Простой такой русский блаженный... Я Андрей-воробей-не-гоняй-голубей»*.

Рая: *«И я не умру, вы никогда не убьете меня. Потому что я сама огонь. Я сделана из огня. И я пылаю, я сгораю, я пламенем вас ослеплю. Я вас ненавижу. Я все равно вас люблю»*. Взгляните, Райса почти невесома в смысле наружности — собственно, и инициатив, пособница чужих намерений (речь может идти и о самых низменных). Ну да, хрупкая, тонкая, да, высокая грудь, однако вынужденная мешанина переделок смотрится лишь как смена гардероба. И вот надевает хиджаб (при этом совершенно нет упора на религиозность), облик совсем уходит из поля зрения — тут уже символ. Тайна, скрытые возможности. Не напрасно герои прямо говорят и действуют в поле ее магнетической сущности. Собственно, и сюжетно женщина является осевой фигурой событий, все так или иначе, и вполне чувственно, соприкасаются с ней... Она и ушла в огонь. Но огонь — ад, а Рая — тепло (рай). Замечательная инверсия, отменная находка писательницы. Тут не перелопачивание и тасовка классических текстов с подстановкой современных обличей, антуражей и прочих внешних знаков в качестве создания впечатления самодетальности.

Да, все ищут, экспериментируют, оснащенные массивом написанного мнят себя Прокрустами, на вирус при этом падки, ибо с греховным у нас — будь здоров. Но искусственная наторенность часто делает, в качестве защиты, высокомерными. Здесь подобное — мимо.

Признаться, мелькает подчас впечатление растянутости. Живем в лаконичном мире, все всё знают, намеки стали продуктивны. Но, возможно, именно клиповое сознание — основа беззаботной жизни. И, быть может, осознанно автор своим способом — оружием, если хотите, супостата пользуясь — пытается настоять, внедрить. Тем самым стиль обусловлен.

Характерно, что герои Крюковой действуют часто непростыми чувствами. Другое дело, в основе поступков лежат разрыхленные и витиеватые, пусть и внешние, идеи. Поразительно, именно подобное построение книги надежней провоцирует усвоение истин. Все привычное, бытовое присутствует, но в подобном ракурсе становится фоновым, нестоящим. Здесь проявляется сложная конструкция современного мира — сломанное воспитание (неудачные родители и сложные обстоятельства взросления), несовпадение со средой и прочее, что мягко обозначают термином «потерянное поколение». Однако и глобальные факторы: клиповый мир (скользящие, неухватные смыслы), мешанина и формальность ценностей. Общий неустойчивый идеологический фон. Недаром персонажи непременно втиснуты в общемировые процессы. Да, наше сознание по известным причинам становится глобальным.

В России в девяностые годы радикальная замена идей растерзала векторы, беззаботность возвышения западной ценности, «деньги, богатство», которая отождествляется исключительно с роскошью и накоплением собственности, упрятала один из ее главных смыслов — средство созидательной реализации. Потеряла емкость формула «Свобода — это осознанная необходимость». Искушение надругалось над потребностью, мнимая доступность достижений спровоцировала вакханалию способностей, ложь ради корысти попала пропаганду ради идеи, действенность таких традиционных качеств, как не то что совесть, а и порядочность, стала квёлой. Выделился человек цинических и насильственных амбиций, для которого игра в элиту и власть является квинтэссенцией. Да и сами социумы приобрели каверзные — чаще растерянные — мины, ибо чем больше масса, тем крепче инерция. Книга осознанием этого пропитана.

Иногда создается впечатление, что автор насилует насилем. Действительно, все мы так или иначе приглядные люди, смаковать пусть и придуманное зло минимум надоедает. И вообще, знакомы с мнением, что экран жестокость компенсирует, погашает врожденную, видовую агрессию. Впрочем, спорно (как всё) — многие считают, что для молодежи, не обремененной опытом, легкой на чувства, зависимой от визуала, моды, здесь часто аналоговая ситуация, провокатор действия, недаром говорят об «экранной парадигме». Ну так автор, разумеется, знает, что чтение — особое восприятие (тот же Интернет лапидарен до той степени, что не веществен, ибо там как раз нет когнитивной навязчивости). Здесь, возможно, и проявляется один из подспудных эффектов опуса; азарт, с каким автор разбирает ад, непосредственно создает вопрос, что есть человек (текст и впрямую подобными вопросами изобилует). Читатель *вынужден* отвечать. Сама техника изложения внедрена на этот случай: Елена погружает реципиента в повествование, как лягушку в молоко, которая в итоге взбивает масло. И дефиниции подобия «*Каждый зеркало друг друга. Мы все отражаем друг друга*», разбросанные по тексту иногда неряшливо, тем самым ловко несут исследовательскую функцию. Помните цитату о войне, где, «*глядя своей смерти в лицо, ты смотришь в свое самое безжалостное в мире зеркало*»? Пожалуй, в данном разрезе сам роман — зеркало, собственно, что, как не оно, вообще литература. Недаром столь определенно применены жесточайшие обстоятельства — они отражают.

Н-да, зеркало. Скромненький трельяж, где вы увидите и свой затылок, и непременно покажетесь себе странным. А поставьте два зеркала напротив — и обнаружите то, что Гегель назвал дурной бесконечностью — какие многогранные, пугающие порой в этом определении смыслы. «Евразия» именно тащит взгляд на себя... И всемирный, в разных обличьях Бог. И огонь, смерть, ненависть и выхолощенная любовь, чудовищные подчас события... *Кто мы?* Уже сам по себе метод озадачивает: себя поймать не можем, слишком близко — «лицом к лицу — лица не увидеть».

Сперва герои кажутся однотипными — так или иначе ущербны, — однако дальше становится понятно, что литератор ищет не в характерах, в проблемах. И это — сильно. Характер не проблема — данность, она неинтересна, а вот человек в обстоятельствах — вещь (о, мудрый Станиславский). Мы живем в кружевах новых обстоятельств, вызовов. Общество спектакля, ролевой мир и... человек войны — замечательно. Недаром говорят, преступник — создатель события. И вообще, по Толстому, зло — действенно. Когда многое обесценивается, бес становится ценностью. Целью возникает — удача.

В том и штука, роман нынче — многообразная вещь в аспектах и ракурсах, сублимационная, в ней смыслы выплывают неожиданно порой и для самого автора. Когда Александр Гаврилов говорит, что роман умер, нейдет возразить: он стал другим, ибо да, сага отстала от жизни, поскольку время ускорилося... Впрочем, какая разница, сама жизнь стала жанровым занятием, если не эскизом — симулякры, копии несуществующего. И с этой точки зрения опять книга Крюковой меткая, ибо здесь жанр — жар... В подобной ауре, не грех заметить, непросто различить позицию самого автора, политическую, идеологическую. Превосходно, ваш выбор, господа-товарищи-братья-волки.

Герои романа, вообще говоря, люди ненормальные, нездоровые, во всяком случае — неблагополучные, эта навязчивая аномия и составляет солидный посыл вещи. Живем, прямо скажем, во время приличное, сытое — нищета потенциально искоренена. Недаром автор столь нарочито и смачно насыщает текст, если можно так выразиться, жиром жратвы. Собственно, и проглядывает, пусть не через главных героев — тяга к экстриму суть результат именно сытой самореализации. Доступность пространственная, отсутствие границ фактических и символических, несложная возможность удовлетворения основных потребностей и так далее давно стали своеобразной проблемой, об этом говорят пусть и осторожно, но с тревогой, которая вызвана уже тем, что никто не знает, как здесь быть. Так или иначе эти эманации в книге вибрируют. Мысль о материальной переизбыточности планеты и войнах, которые, в отличие от прошлой борьбы за существование, стали результатом как раз этого положения, прикрываясь призрачными понятиями справедливости, ненавязчиво рассеяна. Подтверждает сие уже то, что герои, по существу, зациклены не на создании собственного уютного закутка, а непременно на делах мирового масштаба. И Бог здесь же — мы по подобию. Собственно, речь и о войне богов. Вспоминается: *«Есть две вещи, которые человек всегда хочет найти, и строго не получается. Бог и справедливость... Может, оттого, что они несовместимы?»*

Писательница вращает нас в системе основательных ценностей: вера, бог, любовь, ненависть и так далее. Читатель, оприходованный в новейшие времена модернистской литературой, где ирония — атрибут первый, стало быть, фундаменты хорошенько раздербанены, невольно должен иметь, казалось бы, скептический взгляд на такие банальности, как скрижали. Автор умудряется, однако, за счет орнаментальных и эмоциональных плетений держать каркасы на свету.

Интересный план, религиозные моменты присутствуют вовсю, мужчины романа так или иначе этим овеществлены (кто верит в идеалы большевизма, кто в Аллаха, кто в Будду) — лишь женщина, сугубый экзистенциалист, без религиозных пропиток, просто шагает. И читаем у современных мыслителей: основная задача манипуляторов любых мастей — подменить мысль верой, ибо вера съедает факт (в ходу неверие факту). Факт же заставляет думать. И вообще, вера — последнее дело, удел разочарованных, если хотите, примитивных людей. Однако есть же возражения того рода, что не верить, вообще говоря, невозможно (неверие в Бога суть вера, что его нет), важен объект веры. Просится на взор Россия советского периода, веру в Гос-

пода заменили верой в «светлое будущее», и, настаивают ретивые, в восьмую пятилетку мы наиболее экономически успешными были, ежели сверить со всей историей. Наконец, теологи твердят: религия никоим образом не отменяет мысль, ибо происходит из нее, как хлеб из растения, Иисус — продуманный и отобранный Идеал, собственно, Бог — модель процесса... Однако сворачиваем вот куда (применяем сейчас один из приемов Елены Николаевны), исследователи приводят феноменальную деталь: после войны Россия достигла предвоенного уровня за семь лет, причем довольно приличного. Дело в том, что кратно преобладало женское население. Оказывается, слабый (?) пол менее подвержен внушению, имеет несгибаемую целеустремленность. Впрочем, вестимо, у мужчины инстинкт воина, завоевателя, у женщины — защитника, хранителя. Воин — разрушитель, хранитель — строитель. (В тексте так или иначе об этом сказано.) Тоже аспект.

Есть уроненное едва ли не случайно, наспех — «вера, химера». И возьмите, это эфемерное, казалось бы, словосочетание обретает в пространстве текста плотность максимы. Набрать таких примеров из полотна можно немало.

Существуют цитаты. Присутствуют, например, ссылки на работу Валерия Бочкова «Коронация зверя». И это тоже прием, который, как минимум, подтверждает огромную связанность нашу.

Атомная сцена издевательства и убиения мальчика Батталом (Баттал означает «герой»), если вынести ее из текста, может вызвать впечатление холодного расчета на содрогание, столь выгодного в контексте общей адаптированности и индифферентности, но в этом материале она не просто уместна, а нужна как магнитный центр плазмы если не всей истории, то отдельного персонажа.

Или вот. *«А мы, мы — дети ночи! И перед нами голодная дорога. Пустыня, и сухие колючки. И мы все солдаты, а завтра все мы пациенты. Мы мертвецы. Мы все сдохнем или здесь среди песков, или в арабских больницах, где сестры в стерильных масках, как в белых марлевых никабах, а хирурги со скальпелями, как с кинжалами. Нашего вождя все равно убьют, и черные собаки будут бежать за его погребальным мешком, шитым из рваной больничной простыни, и он пойдет в мир иной дорогой призраков, по ней же шли люди во все века, идут и будут идти. Смерть лучше контузии, лучше раны. Жить калекой? Увольте! Мы умеем убивать детей, и мы воспитали детей-убийц. Мы все сбились под куполом мертвого неба, как в волчьем, с горами костей на каменных плитах, плающем страшными огнями зале, и война наша мечеть, и мы молимся, а на деле в тоске воем, как волки. Шум времени в наших ушах. Мы идем дорогой грязи, и в грязи вязнут ноги, и засохшая грязь на наших сапогах. Внесите тела! Мы почтим память вождей молчанием. Наша пирушка война. Наша спальня блиндаж. Мы ночным дозором идем вокруг земли, и мы не можем притворяться, как вы. Мы видим: у нас маленькая жизнь. И мы ее выпьем, кинем через плечо и разобьем, как рюмку. Как пиалу после горячего чая».*

Как вам манифестик?! И как насчет эмпатии — полагаю, автор сама изобретает декларации.

Как хотите, но вспомнилась Елена Колядина с ее «Цветочным крестом», едва ли самым ярким — ибо спорным сугубо — произведением последнего десятилетия. Сколько копий сломано относительно исторической основательности вещи. Однако как самозабвенно изложено — в этом и состоит игра контекстов. В нашем случае имеем сходство по азарту (страсти, остраненности), с которым сооружены эти книги. Именно он в наше холодное, гладкое время наделяет тексты своеобразной достоверностью.

А знаете, потягивает язычеством. И не только оттого, что в «Евразии» действует множество богов, которым закладывают герои душу, но и от способа повествования — это симпатично смотрится, допустимо предположить, вновь играет на руку неволь-

ное или продуманное противопоставление модернистскому нарративу, приевшемуся и наигранному зачастую (возможно, и отсюда возникает сопоставление с «Цветочным крестом» — вообще говоря, в творчестве Елены Крюковой исторические опусы занимают достойное место).

Книга многофункциональна. В том числе это роман-предостережение. Автор поселяет нас в странный, дикий мир. Мир, который, при всем том, что он странен и дик, приходится иметь в виду. Это не Поттер и прочие веселые существа, это шайтаны. Люди, наделенные властью безумной веры и смерти. И неважно, что ими руководит — согласимся, если угодно, их провоцируем мы своей развратной цивилизацией, — но их движения зловещи. Читать нужно хоть для того, чтоб порадоваться — ты нормален. И чтобы уметь различать. Мракобесие коварно, ибо обладает послушной силой, к сожалению, потому власти порой оно выгодно...

А вот и Андрей Мицкевич (четвертая глава). Почти все сказанное прежде относилось к двум персонажам inferнального толка... Сразу оговоримся, Раису не берем, это отдельная *песня*, ее надо заплучать лично, из рук в руки, простите, из души в душу. Кстати, недаром Андрей рассуждает о новых богах и вкрапляет: а может, им (новым Богом) станет женщина? (Впрочем, есть шутка: бог — женщина, отсюда вся нелепость мира.)

Жена, безусловно, алкашка и подстилка широкого охвата, он без профессии, разнорабочий. Серафим Саровский тем самым, Богородица, Будда и Кришна. Иными словами, сам философ, и мимолетная встреча с Раисой неизбежна. Собственно, и в иной мир сходил. Блаженный, «хороший добрый человек, и учит, как надо работать с душой и чистить душу», и деньги, что благодарные люди несут, раздает. Живопись, чакра анахата и Школа жизни. Чудеса безоговорочной реальности и мистические символы — Земля, Свет... «Счастье — это когда ты страдаешь, празднуешь и умираешь вместе со своей землей. Только вместе. Разделить жизнь и смерть — это и есть любовь».

Кто-то найдет здесь еру, однако совершенно серьезно, во плоти всего романа фигура Мицкевича чрезвычайно весома. В этом и содержится еще одно любопытное свойство продукта — насквозь экстравагантные фигуры вдруг сочиняют вполне достоверную версию бытия. Психологи не зря твердят, крайности ближе к основаниям.

Впрочем, разбирать роман заведомо бесплодно, надо попросту пройти по этому зданию.

Отсюда. Если есть представление о прозе (притчевой зачастую), поэзии (живописной), искусствоведении (взвешенном и умном) Крюковой, обесценивается обращение к композиционным и прочим конструктивным особенностям сооружения, все исключительно профессионально. Однако возникают соображения о мотивации. И испытываешь почтение перед внутренним объемом человека и гражданина. Вспомнилось высказывание Кьеркегора: «Если бы человек был зверем или ангелом, он бы не мог испытывать тревогу. Но он является синтезом... и чем полнее его тревога, тем более велик этот человек». Весьма идет Елене. А вот мой пристрастный, оснащенный бременем опыта взгляд на писательницу. Когда в ходу формализм, добравшийся до сентенций, скажем, «смерть — форма жизни» (кажется, это Уэльбека — кстати, в романе подобные штучки есть), начинаешь понимать, имеем дело со страстью к жизни как формой и содержанием.

Совсем показательное в случае романа — заключает письмо автор признанием Соглядатая: «А теперь я нуждаюсь в правде. В истине. Но вот я стою на берегу моря, я вижу ее вдали, мою истину, и она уходит от меня... Она идет босая, и я уже не могу ее окликнуть. Поздно. Слишком далеко бьются на ветру ее ветхие одежды. Она уходит от меня навсегда».

При всем том Елена сама признается: «Если хотите, финал „Евразии“ — это моя личная „Ода к Радости“».

И последнее, подзаголовок окончательной главы — Allegretto beffardo. «Умеренно насмешливо».

Читайте, друзья. Дельно... — не проведете, нет (в смысле обмануть) — используете время.

Виктор БРУСНИЦИН

«ТЫ ГЕРОЙ ЗЕМНОГО ШАРА...»

Евгений Степанов. Империи. М.: Издательство Евгения Степанова, 2017.

Где как ни в России, обреченной на вечное восстание из пепла после то и дело накатывающих волн мировых пожаров, должен быть сохранен имперский тип мышления? Готовый предстать в каком угодно свете, он, ведомый одним только сбережением генетической памяти, способен примерять маски идеологий и героев, но сам себя вряд ли обмануть горазд: кровь не вода. Самосознание «имперца», приспособившегося идти в толпе, ценно наличием «Я», непроданного, не отнятого власть имущими. В таком понимании название книги известного московского поэта Евгения Степанова предвещает под обложкой стяжение смыслов, не исключая борьбу их. Разве не империя — сам человек с его истиной, отличной от другого? Страна вчера и страна сегодня — не две ли разных империи? Полисемию можно продолжить, но есть риск как приписки несуществующего, так и необнаружения главного.

Еще Татьяна Бек говорила о гармоничном сосуществовании в лирике Степанова многих влияний и течений: «У него в одном стихотворении могут естественно соседствовать реминисценции из Блока и Сосноры или из Венички и Солженицына, а также „славянская душа“ и „прищур азиатский“, ирония и пафос, жаргон и архаика, стеб и пафос...» Это поэт искушенный, успевший прожить несколько жизней вместе с исторической родиной и отдельно от нее, за границей. Много видевший и переживший.

а что на кону? постгулаговский харч
надежды смешные демарши
играет играет фальшивый трубач
в эпоху раскрученной фальши

Потому лирический герой его требует отдельного разбора. Обладание голосом, отличным от других, делает поэта поэтом — данный тезис неоспорим. Этот *голос*, нечто наделяющее говорящего зримыми чертами и характером, неповторимым тембром, будет угадан в любом подражании, в обилии чужих интонаций, если только он есть. Говоря о Евгении Степанове, хочется вспомнить раннего Н. С. Гумилева: примеряя личину то эллина, то конквистадора, то проповедника Заратустры, то пилигрима лирический герой, дробясь во множестве зеркальных осколков, оставался целен и являл природную мечтательность, непостоянство, желание высокого подвига и драмы как определяющие черты самого автора. Нечто подобное угадывается и в лирике Степанова, человека, сформировавшего своего героя уже на советской почве. Поколению родившихся в 60-е годы XX века было суждено впитать новые информационные потоки: гласность после стольких лет загнанного молчания практически атрофи-

ровала веру в возможность открытого высказывания. Это ожидание новой несвободы дало определенный психотип, если угодно.

Это явь. Это город-убийца
И квартира-убийца, и взгляд
Людоеда. И некуда скрыться.
И поест людоеды хотят.

Широко культурное поле, жирен чернозем, питающий поэтику внявших университетскому курсу филфака, тех, у кого была возможность спокойно впитывать знания. Прикладное, по учебнику, постижение жизни всегда ждет «практики», ждет реальной трагедии. Но если образованных мальчиков Гумилева и Мандельштама настигла трагедия передела мира, то сейчас мы сталкиваемся с бедой иного толка: история не состоит из высших точек напряжения. Пробуксовка, жизнь бытовая, копошение в казенных бумагах — едва ли не большая трагедия для тех, кто желал подвига.

то болезнь то в доме свара
то налоги то грабеж
ты герой земного шара
потому что ты живешь

Обилие посвящений О. Э. видится неслучайным еще и потому, что Мандельштаму сегодняшняя критика приписывает создание поэтического метода, основанного на заполнении тела стиха не просто смыслами, но смысловыми пучками, выстраивающими семантически сложную мозаику. Речь о суггестивной лирике, к области которой отчасти можно отнести поэзию Степанова. Ошибкой видится мне авторство метода вообще: метод, пока он не объяснен, разжижен в культурном бессознательном. И обилие перифразов у Степанова не что иное, как составление суммы влияний.

В Петербурге жить — словно спать в гробу.
А в Москве — кутить и пытаться судьбу.
А в Москве — бежать — от себя — стремглав...

«На лунном пыльном чердаке» отыскиваются и Мандельштамово руно, и «горбоносый лепет» Цветаевой, и «велимировское слово». Только есть риск заглушения голоса: переигрывание с формой слова, во-первых, обесценивает слово как самоценную единицу, во-вторых, сводит сам процесс стихосложения к игре, приятному на слух словоблудию, похожему на ужимки паяца. Тонка грань, и автор «империй» это понимает.

потому что не волк работенка а бог из-под палки
потому что на печке доедет до счастья иван
потому что судьба
в окровавленных пальцах гадалки
потому что стакан

«Огненными чертами» хочется писать тогда, когда стираются огненные черты и жернова пустоватой обыденности бюрократизма перемалывают человеческую душу. Но одни огненные черты рискуют стать штампами, если не разбавлены деталью, способностью вычленив ее из повседневности. Тем и опасна суггестия, что она —

соль поэзии: напшиговать стихотворную строку опозитизированными «тюрьмой и сумой», кровавыми рубахами и шумными балаганами — мало. Иначе автор действительно рискует выглядеть, как минимум, шутом и, как максимум, Дон Кихотом.

Выход один: не в природной ироничности автора, не в тяготении его к афористичности (хотя и это временами «спасает» не очень удачную конструкцию), но там, где из глубин подсознания, подобно шаманскому камланию, выходит на поверхность очищенный от чужеродного сора, «дионисийский» (не рассудочный, в отличии от аполлонического) стих:

это родина род и отродье
и родной до беспамятства сброд
черных речек разлив половодье
черных речек не пройденных вброд

Еще более смятен верлибр, сама интонация его не статична, как у большинства печатаемых сейчас верлибристов. Вряд ли кто-то из тех же нынешних способен явить тщательно скрываемый крик ужаса перед городом цепких и вертких приспособленцев:

бежать — отсюда — от войны
с собой — людьми — и государств-
венной машиной
от ненависти — выстрелов в упор
ударов — мастерских — поддых
стеклянных оловянных глаз
бежать

В безличных строках более всего сказывается авторское «я». Там же, где речь идет о себе, неминуема поэтизация и карнавал с переодеванием. Пронесются мимо чужие голоса, лезут в голову, точно неугомонное радио. Отсюда — желание уединения, побега от всех и вся, приводящее к любованию соснами, дачным пейзажем практически почвеннического толка:

если путь мне уготован
в космос будущих годин
в тихом домике из бревен
я хотел бы жить один

Соединение разнородных лексик и стилистик — будь то авангард и традиция, книжность и просторечие — прежде всего есть плод рефлексии, прохождение ступеней духа, своего рода «империй»:

нет, не кончается ночь покаянья
длинная точно река

И пока в пространстве и времени находятся предметы, вызывающие участие и духовную работу, будет и грех, и покаяние. Это и есть почва, сохраняющая в себе кости рухнувших империй и питающая ростки следующих. Хочется верить, что не заполнение пустоты эта вежа, но борьба за возможность продолжения самоценного человека.

Марина МАРЬЯШИНА

ПРИЗРАК В ЛИТЕРНОЙ БРОНЕ

Алексей Пурин. Седьмая книга. СПб., 2017.

Современное искусство резко разошлось по двум направлениям: те, кто идет первым путем, не гнушаются никакими выразительными средствами, провозглашая тотальную победу свободы над культурой: писатель мостит его фекалиями, художник украшает собственной голой задницей, а поэт вывешивает лозунг с лексикой, одолженной у таксистов. Второй путь скромн, не путь даже, а тропинка, ее и найти трудно: ни тебе указательных знаков, ни рекламных плакатов. Идут по ней немногие, идут пешком, спотыкаясь, уставая, сбиваясь с пути, но на помощь не зовут, ибо знают: важнее всего для художника — сохранить собственное достоинство.

Вьется эта тропинка, вьется и приводит на пристань, а дальше — в трюм плывущего навстречу своей гибели корабля, где кто-то, расположившись на полу, тихо читает:

Потому, что жемчуг умирает,
и мутнеет дряхлое стекло,
и влюбленность ветренная тает,
лишь любовь стенает тяжело
пассажиркой, запертой в каюте
сердца, уходящего на дно,
зная: мир в его утробной сути —
только там, где тесно и темно.

(Из сборника «Долина царей», 2010)

Ты тоже садишься, смотришь в его сторону и видишь грузного человека с умными совиными глазами. Это Алексей Пурин.

Для Пурин, автора «Седьмой книги»¹, как будто не существует той реальности, в которой ищут свое место за праздничным столом наши современники. Главная его тема — история, упадок цивилизаций. Преемник Кавафиса (и немного Тютчева), Пурин живет в ином мире, в том, что начали строить еще несколько тысяч лет назад, а потом бросили. В том мире вы не отыщете ни Пунина, ни Путина², зато найдете Сикста, Пия, Цезаря, Нерона:

И Сикст, и Пий, и Цезарь, и Нерон...
Процессия всеобщих похорон.

Агриппу и Адриана:

Отверстие, нацеленное ввысь:
не всем богам, небесным лишь молись.
Построил, пишат, щедрый Марк Агриппа,
друг Августа; а позже Адриан
украсил...

¹ Алексей Пурин. Седьмая книга. СПб., 2017.

² Только римскую голову последнего.

Севера:

А я, чужак, как некогда Север
какой-нибудь, не знающий манер...

И даже Макрина (надо посмотреть, кто это такой):

Макрин, минутный повелитель Рима...
Из Рима Пурин переносится в Тюбинген:

В пивной, где Гегель с кружкой пива
горланил...

Из Тюбингена — в Белград:

Тяжелые шмели гудят в бутонах роз
на языке одном, раздвоенном некстати:
ведь в Загребе вдохнут, а выдохнут в Белграде.
Где мог бы править Крез — руины и некроз.

Из Белграда — через Вену — во Францию:

В Амьене, в Шартре, в Реймсе сталагмиты
вросли в лазурь, но больше не растут.
Кто оязычил каменщиков, тут
стучавших в лад? Куда ушли термиты...

Из Франции — в Испанию: в Гранаду («гранатовая Гранада»), в Севилью («сервильнейшая Севилья»), в Толедо («Толедо — / в кольце торопливых рек»; а ведь именно так!), «в кишачий людьми Мадрид» (и снова — точь-в-точь!), из Испании обратно в Италию, еще — в Гаэту («хорошо, хоть Европа / держит ноги в тепле»), в Сперлонгу («Дафнисова сиеста / кончится (ровно в шесть!), / Хлоя замесит тесто, / и позовут поест»), в Неаполь («Испанское безумие на фоне / Везувия» — метко), а оттуда рукой подать обратно в центр нашей Вселенной, в Рим. И мимоходом — в Павловск:

Здесь был когда-то Павловский вокзал,
единственный, где музыка звучала...

И:

С государем
всяк вел Отчизну к гибели, как мог.
А он — стишками: «Братушки, ударим!
Шекспира посильнее наш сапог!»

Он — это К. Р., «августейший поэт».
Заканчивает Пурин — вовсе в Антиохии:

Крови
не страшился родственной он пролить
(*Деметрий Сотер*)

Что в итоге? Одна голова — с дырой,
а другая отсечена...
(*Александр I Балас*)

(Он потом убил его, да и сам
Антиохом Седьмым убит...)
(*Диодот Трифон*)

Антиоха парфяне добьют. Уйдет
От парфян Деметрий — и вновь
С Клеопатрой в Сирии заживет;
но и эта прольется кровь.
(*Деметрий II Никатор,
Антиох VII Эвергет*)

Счастливый бог!
Только в будущем — ничего,
кроме плена и гибели...
(*Александр II Забина*)

Это цикл о Селевкидах. Кто о них ныне помнит? У Россини есть опера «Деметрио и Полибио», Гоар³ о ней написала, я прочел, вот все, что знаю об этих храбрых ребятах. А у Пурина — стихи.

* * *

Меня всегда поражала наивность Достоевского, утверждавшего, что Россия больше Европа, чем собственно Европа. Вот, пришли-приехали. Пурин — больше Европа, чем сама она. И болезнь, которая их мучит, тоже одна, и не хандра она, и не сплин, а нечто другое, атаксия, что ли. Обреченность, смирение. Все идет своим чередом, и человек ничего с этим сделать не может. Цивилизации — как растения, они зарождаются, наслаждаются солнцем, расцветают, увядают и умирают. Они не могут за себя бороться, они не люди. Именно растения.

И честные патриции, увы,
не понаедут к маю
из Рима, не сносивши головы,
в целительную Байю...

Дремотное баюканье олив,
благоуханье рая...
Но время, и богов испепелив,
течет, играя.

³ Писательница Гоар Маркосян-Каспер.

И в этом ничего удивительного, говорит Пурин, потому что так было всегда и так будет всегда. Еще немного — и разобьют вдребезги Давида, разорвут на куски «Мадонну с гарпиями», а по каналу Гранде под торжествующий крик муэдзина будут плыть гондолы с мужчинами и женщинами, покрывшими головы лоскутом от гобелена Рафаэля, и единственное, чего не хватает, — так это звучного «O, sole mio!» гондольера, потому что его голос слишком высок, чтобы взять не такие уж низкие ноты этой песни. (Это уже от меня.)

* * *

Два слова о форме. Нетривиальные рифмы...

Но слава — что — пустая пря:
звенит, карман не серебра.

(Вообще говоря, тут Пурин не прав: бывают виды деятельности, где только слава и поможет серебрить карман.)

...немало любопытных образов...

И что стихи? — плоды греха,
питомцы смерти, дети страха...

...созвучий...

Столько замороженных ничьих ночей
Ты глядел в горячий живой ручей...

...богатейшая лексика...

Плеч и лядвий слаще в целом мире
не было...

...легкая насмешливость, изредка переходящая в сарказм...

Ну что ж, заслуженные лавры!
Да и по росту эта роль —
Стокгольм, нордический король,
тупых писак абракадабры.

...самоирония, наконец:

Я — призрак в литерной броне...

* * *

Пурин — пессимист. Разложение, смерть у него — на каждом па:

Все кончается в зале без окон,
при больнице, на заднем дворе...

Или

Решай же, смертный, как тебе —
в халате ль, скажем, и небритым...

Пурин не призывает бороться с неизбежностью, не призывает даже с поднятой головой встретить свою судьбу. Он смирен, как православный. Наверно, он православный и есть. Но не по Церкви, а по Достоевскому:

Ты любила Бога и молилась.
Я люблю Христа и не молюсь.

Господь — а что с ним? Он непостижим:

Непостижим Господь! И нет
мостка над бездной...

Тут я немного разойдусь с Пуриным. Ованес Григорян, поэт хороший, армянский (армяне — хорошие поэты), ныне, увы, покойный, как-то сказал мне: «Поэт обязательно должен верить в Бога». Я ему поверил — и поверил, но не в Бога, а в Богиню. В Киприду, как Пушкин (а заодно и в Аполлона). Поэтому мне более близки вот какие строки Пурина:

И там, на острове Киферы,
блаженно выплывшем из книг
подобьем первозданной сферы,
тысячелетья — только миг.

* * *

Иногда у Пурина все же появляется какая-то бравада, желание показать тем, кто правит балом свысока, что он может пошутить за их счет — а заодно и за наш с вами:

Во сне привиделось: в аду
я то мучение найду,
что вечно буду мерзкой твари
«на случай» вирши сочинять;
а рядом дудочки ваять
нечистым будет Страдивари.

Всё будет — как на Соловках:
и кисти, и резцы — в руках,
и драмкружок, и взвод расстрельный.
То Моцарт «Мурку» напоеет,
то Данта выведут в расход,
то Блока вздернут за котельной...

А ты, читатель мой, в раю
окажешься (на том стою —
да и не может быть иначе!), —
советчик верный мой и врач, —
и там среди рублевских дач
не загрустишь о нашем плаче.

Но в целом — смирение. Единственное, что Пурин оставляет за человеком, — тихую гордость. Хорошо делать свое дело. Ухаживать за своим садом, вязать свой свитер, написать свое стихотворение. Вот его «Памятник»:

Я памятник воздвиг — едва ли ощутимый
для вкуса большинства и спеси единиц.
Живые сыновья, увидев этот мнимый
кумир, не прослезят взыскующих зениц.

И внуки никогда, а правнуки — подавно,
в урочищах страстей не вспомнят обо мне —
не ведая о том, сколь сладостно и славно
переплавлялась боль на стиховом огне.

Слух обо мне пройдет, как дождь проходит летний,
как с тополей летит их безнадежный пух, —
отсылкой в словаре, недостоверной сплетней.
И незачем ему неволить чей-то слух.

Умру. И всё умрет. И гребень черепаший
Меркурию вернет плешивый Аполлон.
И некому, поверь, с душой возиться нашей
и памятью о нас: нам имя — легион.

Капитолийский жрец, и род славян постылый,
и утлый рифмоплет — всё игрища тщеты.
Но, муза, оцени — с какой паучьей силой
противилось перо величью пустоты.

(Из книги «Неразгаданный рай», 2004)

Умру. И все умрет... Это можно принимать. Да, человек обречен. А вот *нам имя легион* — никак нет. Это излишняя скромность — или кокетство. Пурин не то что хороший поэт — он поэт значительный.

Калле КАСПЕР

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ПАЛЕСТИНСКИЕ ОБИТЕЛИ И РОССИЯ

Часть 4

МОНАСТЫРЬ ПРЕПОДОБНОГО ГЕРАСИМА ИОРДАНСКОГО

Монастырь Преп. Герасима Иорданского расположен в самой низкой части долины Иордана, в семи километрах к юго-востоку от Иерихона и в трех километрах к северу от шоссе Иерусалим—Амман. Обитель находится в Иудейской пустыне в километре юго-западнее поселка Дейр-Хаджла, в пяти километрах от Мертвого моря. Монастырь был основан преп. Герасимом в середине V столетия.

Преподобный Герасим был родом из Ликии (Малая Азия). Получив монашеский постриг, он удалился в пустыню Фиваиды в Египте. После этого, примерно в 450 году, монах добрался до Палестины и поселился у реки Иордан, где основал монастырь. В палестинских лаврах кельи обычно являлись пещерами. Он стал главой обители, в которой жили 70 монахов. Герасим Иорданский утвердил строгие правила аскетизма в монастыре. Он считается одним из наставников отшельников второго поколения в Иудейской пустыне, которые следовали основателям отшельничества Евфимию Великому и Харитону Исповеднику¹. Насельником монастыря был ученик Герасима преподобный Кириаки Отшельник.

Монастырь во времена преп. Герасима Иорданского

Основание монастыря восходит ко времени равноапостольной царицы Елены. Но еще с апостольских времен существовала маленькая церковь в пещере, где, согласно преданию, останавливались на ночь Святое Семейство. Согласно источникам (в частности, «Луг духовный» Иоанна Мосха), основанная около 455 года обитель изначально называлась лаврой Каламонской Богоматери или лаврой Каламон (греч. *калами* — «тростник», то есть тростниковая лавра, лавра «Доброе пристанище», лавра-киновия).

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

В 1858—1859 годах начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Леонид (Кавелин) в своей работе писал: «Лавра Каломон или Каломонская, по толкованию одних, значит тростниковая, а по другим — доброе пристанище, потому что была построена на месте, где останавливалось Святое Семейство, во время бегства в Египет (через Иерихонское поле пролегает дорога из Галилеи в Газу). Блаженный Иоанн Мосх ясно различает эту обитель от обители преп. Герасима даже самим определением ее места, говоря о лавре Герасима: „около Иордана“, а о лавре Каломон: „близ Иордана“, то есть на самом берегу священной реки. Но позднейшие писатели, начиная с Фоки, постоянно смешивают эти две обители, на том основании, что преподобный Герасим назывался также Каломонитою. Более чем вероятно, что название это усвоено преподобному Герасиму потому, что он положил основание лавре Каломон, или просто жил в ней временно до основания своей собственной обители, подобно тому как преподобный Евфимий до основания своей лавры жил в лавре Фаранской, или, наконец, потому, что лавра Каломонская присоединилась к лавре преп. Герасима после одного из опустошений пустыни Святого Града, и с тех пор обитель эта стала именоваться безразлично то одним, то другим именем. Это последнее предположение нам кажется маловероятным. Наш паломник игумен Даниил говорит, что лавра Каломонская находилась при самом устье Иордана, то есть при впадении его в Мертвое море. По моему мнению, место ее указывает довольно определенно высокий холм, находящийся недалеко от устья Иордана, на самом берегу его, и, видимо, покрывающий какие-то развалины. Во всяком случае свидетельство блаж. Иоанна Мосха, ясно различающего эти две обители (лавру Каломонскую и лавру преп. Герасима), не может быть оставлено без внимания»².

Монастырь представлял собой лавру с группой пещер, в которых проживали монахи-отшельники. Отшельники проводили свою жизнь в одиночестве, в постоянной молитве, плетя веревки и корзины. В центр лавры они приходили по субботам и воскресеньям, принимая участие в Божественной литургии и в совместных трудах. Монашеские правила были строгими, в течение недели монахи-отшельники употребляли в пищу только хлеб, финики и воду. В выходные они употребляли сваренную пищу и вино. Их личные вещи составляли коврик и посуда для воды. Пещеры отшельников сохранились в настоящее время, и их все еще можно увидеть на крутых скалах в километре к востоку от монастыря в прилегающих горах.

Что касается воспитания монахов, то монастырь преп. Герасима был очень похож на монастыри византийской эпохи. Новички жили в *киновиях*, занимаясь резьбой по дереву, проведением воды, приготовлением пищи, а также многими другими обязанностями, пока они не являли полную духовную готовность принять жизнь отшельничества. Монахам, ставшим «совершенными в Божьих глазах», разрешали жить в пещерах отдельно от киновий. Позже преп. Герасим Иорданский установил еще одно важное правило монастыря — причащение два раза в неделю по субботам и воскресеньям. Это правило он заимствовал от египетского монашества³.

Прежде в Палестине были известны два типа монастыря: киновия и лавра. Особенность устава Герасима, унаследованная вскоре и монастырем Георгия Хозевита, заключалась в соединении того и другого типов. Его обитель состояла из собственно монастыря (включавшего храм, общежитие для новоначальных иноков, кухню, трапезную, кладовые для съестных припасов), где пребывало руководство обители — настоятель, священник и эконо́м — и 70 келий-исихастериев, где подвизались духовно опытные монахи⁴.

² Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника. 1858—1859 гг. М., 2008. С. 303—304.

³ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

⁴ Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 292—293.

У каждого старца и послушника одеяние было одно, без запасной другой одежды; спали они на рогожке из тростника и на жестковатом изголовье, а воду пили из сосуда, который служил и для поливки финиковых пальм; выручку за проданные рукоделия свои вносили в монастырь и за это в воскресный вечер получали от него хлеб и финики на всю неделю и расходились в свои кельи. Когда жители Иерихона узнавали, что у монахов недостает жизненных припасов, тогда снабжали их ими в субботные или воскресные дни⁵.

Лев «Иордан»

На фресках и иконах монастыря изображаются лев и осел. Эти животные связаны с историей жизни преп. Герасима Иорданского. Св. Кирилл Скифопольский, описывая житие преподобного Герасима Иорданского, приводит следующий рассказ.

Однажды святой Герасим шел по Иорданской пустыне и встретил льва⁶, который протянул ему лапу. Лапа была настолько сильно воспалена, что лев умоляюще смотрел на монаха. Герасим понял, что в лапу льва попала колючка, ставшая причиной его страданий. Святой удалил занозу, очистил рану от гноя и обернул ее тканью. С тех пор лев всюду следовал за Герасимом, как «ученик». Святой Герасим был удивлен львиному уму, кротости и готовностью есть хлеб. Льву предоставили жилье в монастыре. И с тех пор лев стал символом монастыря.

В течение пяти лет лев не покидал старца, исполняя домашние работы, в числе которых братия возлагала на него надзор за монастырским ослом, когда тот пасся. Однажды, когда осел пасся, лев уснул на солнце. А в это время в Аравию мимо шел караван, и погонщик захватил оставленного без присмотра осла. Когда лев проснулся, он стал искать осла, но нигде не нашел. Лев понуро вернулся в монастырь, и сразу же направился к святому Герасиму, который, заметя его удрученное выражение лица, решил, что лев съел осла, и спросил: «Где осел?» Лев стоял молча, опустив голову от стыда. Старец похвалил льва, что тот не убежал после своего злодеяния. Но поскольку осел — животное тягловое, для монастыря это было ощутимой потерей. Преподобный Герасим в наказание заставил льва выполнять обязанности осла, возить воду на себе. Хотя по природе эти бессловесные существа разные сложением, лев оказал полное послушание и стал на горбу возить мехи с водой, преодолевая все неудобства своей «комплексии». Монахи загружали большую бочку на спину льва, как это они делали раньше с ослом, и посылали его к реке за водой. Однажды в монастырь пришел воин, чтобы помолиться, и, увидев льва, несущего воду, пожалел его и дал монахам три золотых монеты, чтобы те купили другого осла. Ко льву вернулась его старая обязанность охранять осла.

Через полгода караван из Аравии возвращался опять мимо монастыря; арабский купец вновь шел по Иорданской пустыне, чтобы продать пшеницу в Иерусалиме. И с ним был тот же осел. В тот день лев случайно оказался рядом с рекой, и когда караван приблизился, он узнал осла. С громким ревом лев бросился к купцу. В ужасе купец бросил караван и убежал. Лев схватил бразды осла в зубы, как он это делал ранее, и привел его вместе с караваном верблюдов к святому Герасиму Иорданскому. Старец был потрясен, он просил у зверя прощения в своем против него грешном помысле. И лев «простил». Старец сказал монахам, что льва напрасно

⁵ Bollandi Acta Sanctorum. 5 Mart. Cyrillus in vita S. Euthymii. Nicephori Callisti Histor. eccles. XXIV, 52.

См. Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 37.

⁶ Последнее сообщение о существовании подвиды азиатского льва на территории современного Израиля упоминается в XV веке.

и несправедливо обвинили. Льву дали прозвище Иордан. Когда преп. Герасим скончался и был похоронен, льва в монастыре не было. По возвращении он скорбно рычал, ища хозяина. Тогда друг Герасима — авва Савватий Киликиянин повел льва на его могилу. Увидав, как авва Савватий сотворил поклон на могиле святого старца, лев жалобно зарычал, лег у могилы и тут же сделал свой последний вздох. Так они остались неразлучными и после смерти⁷. На иконах преподобного Герасима изображают со львом.

Преподобный Герасим скончался в 485 году. «После блаженной кончины его монастырь, основанный им, существовал в века шестой, седьмой и далее, — пишет о. Порфирий. — Но кто и кто были игуменами и что и что за происходило в нем, об этом сведения весьма скудны. Они заимствуются из Четьи-Минеи и из книги Иоанна Мосха под названием „Луг Духовный“, бывшего в Палестине в самом начале седьмого века (602—620 г.) и записавшего рассказы современников о древних подвижниках в Иорданской пустыне»⁸.

В VI веке настоятелем монастыря Св. Герасима был преподобный Никон. Господь в видениях не раз открывал ему свою волю. Так однажды в сонном видении Он повелел ему отворить монастырские ворота для двух юных сириан, которые задумали вступить в ту обитель, которой ворота будут отворены, и потом благословить и пустить их на пустынные подвиги. Юноши эти были Симеон, впоследствии юродивый Христа ради, и Иоанн, сопостник с ним. Никон исполнил волю Божию⁹. Преподобный отличался ревностью о спасении души братий и славился даром учить и назидать их.

Когда в монастыре Преп. Герасима настоятельством Агиодул, один из находившихся там братий умер, а старец не знал о сем. Между тем, когда канонарх ударил в деревянное било, дабы братия собрались к выносу умершего, Агиодул, пришедши в церковь и увидев лежащее тут тело, весьма опечалился, что не простился с умершим прежде смерти его. Потом, подошедши к одру усопшего, сказал: «встань брате и прости со мною». Мертвый встал и поцеловал старца. И старец сказал ему: теперь спи, пока не придет Сын Божий не воскресит тебя. Этот же авва Агиодул, в одно время вышедши на берег священного Иордана, размышлял с собою: что сделалось с теми собранными камнями, которые были положены в нем Иисусом Навином по числу начальников колен? Когда он размышлял о сем, вдруг вода разделилась туда и сюда так, что он видел эти двенадцать камней и, воздав хвалу Богу с коленапоклонением, удалился¹⁰.

В лавре аввы Герасима был пресвитер авва Олимпий. Один брат спросил его: скажи мне что-нибудь, Олимпий. Олимпий ответил: «не живи с еретиками, обуздавай язык и чрево, и где бы ты ни был, всегда говори: я пришлец». Некий брат пришел к авве Олимпию в лавру аввы Герасима, что близ Иордана, и сказал ему: как ты сидишь здесь в таком жару и среди такого множества скипиров? Старец ответил ему: «я для того терплю скипиров, чтобы избегнуть неусыпаемого червя; равно и этот жар переносу потому, что страшусь вечного огня, ибо здешний жар временный, а тот нескончаемый»¹¹.

Другой брат пришел в лавру аввы Герасима к игумену авве Александру и сказал ему: «Авва! Я хочу удалиться с того места, на котором живу, так как мне весьма скучно». Авва Александр ответил ему: «возлюбленный сын! Это признак того, что ты

⁷ Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 179. См. Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Март, 4.

⁸ Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 37—38.

⁹ Четьи-Минеи, 21 июля.

¹⁰ Иоанн Мосх. Луг Духовный. М., 1853. С. 13.

¹¹ Там же. С. 139.

не имеешь в мысли ни вечного наказания, ни царства небесного, иначе ты не скучал бы»¹².

Некоторый старец рассказывал о себе вот что. «Когда я недолгое время находился в лавре аввы Герасима, имел в сожительстве одного, весьма любимого мною брата. В один день мы сидели и беседовали о пользе душевной; и я припомнил слова аввы Пимена: пусть каждый постоянно укоряет себя во всем. Тогда брат сказал мне: я опытом дознал плод, какой доставляют эти слова. Один диакон лавры был искренний друг мой. Не знаю, с чего взошло ему подозревать меня в некотором деле, сильно огорчившем его, и он стал смотреть на меня печально. Видя его печальным, я начал разузнавать от него о причине скорби. Он сказал мне, что я сделал такое-то дело. Поелику я совершенно не знал сего дела, то начал успокаивать его и говорить, что я вовсе не знаю, чтобы я это сделал ему. Он сказал мне: нет, я не спокоен. Возвратясь в мою келью, я начал испытывать свое сердце, не допустил ли я чего такого, и ничего не находил. Посему, когда он держал в руках святую чашу и разделял ее братьям, подошел и я к нему и клялся перед самой чашей, что не знаю за собой такого дела, но и так не удовлетворил его.

Обратясь же опять к самому себе и повторяя в памяти слова св. отцов, я обратился к своему помыслу и сказал в себе самом: диакон очень любит меня и по любви сказал мне, что и что было в его сердце о мне, дабы я был трезв и бдителен и впредь смотрел за собою. Но ты, несчастная душа, которая говорит: я не сделала этого дела, — без числа творила грехи, и они скрыты от тебя. Где то, что и что сделала ты вчера, назад тому третий день и за десять дней? Вспомни, если можешь. Ты сделала и это, как многое другое, но оно сокрылось от тебя, как и многое прежде. Так расположил я мое сердце, как бы действительно сделал это, но забыл. И после сего начал я благодарить Бога, благодарил и диакона, через которого Господь удостоил меня узнать грех мой и принести раскаяние в нем. Встав с такими мыслями, пошел я к диакону просить у него прощения и благодарить, что через него познал я грех мой. Как только я толкнул в дверь его, он, отворяя ее, первый поклонился мне и говорил: прости меня; обманутый демоном, я подозревал тебя в оном деле; истинно Господь известил меня, что ты невинен. Он не позволил мне сделать ему удовлетворение: не нужно, говорил он. Итак, я, получив назидание, прославил Отца и Сына и Св. Духа»¹³.

...В византийский период монастырь неоднократно разрушался и отстраивался. В 614 году его разрушили персы, а в 637 году — арабы-мусульмане.

Поскольку обитель стояла рядом с другим монастырем Малона (The monastery of Malawn), в 617 году они объединились и стали известны как Дейр Хиджле. Арабское название места Дейр Хагла (Дейр Хиджле) указывает на его ветхозаветные корни. «Дейр» переводится как *монастырь*, а «хиджле» происходит от иврита — *хогла* — *куропатка*. Бет-Хоглой («домом куропатки») называлось селение на границе уделов колен Иуды и Вениамина (Иисус Навин 15:6, 18:19). Никаких следов древнееврейского поселения время для нас не сохранило. Окрестность представляет собой безжизненную пустыню — за исключением полоски зелени вдоль берегов Иордана, до которого два километра¹⁴.

В 640 году монастырь восстановили монахи. В повествовании Епифания-монаха об Иерусалиме и о святых местах, жившего в VIII веке, сказано только то, что обитель Св. Герасима отстоит от Иерихона к востоку на три мили и находится в крепости¹⁵. Обитель подвергалась частым разрушениям в связи с многочисленными землетрясе-

¹² Там же. С. 139.

¹³ Иоанн Мосх. Луг Духовный. М., 1853. С. 216.

¹⁴ Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 292.

¹⁵ Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 41.

ниями, поскольку он расположен вблизи Великой Афро-Сирийской рифтовой долины, проходящей вдоль реки Иордан и по дну Мертвого моря, которая является зоной повышенной сейсмической активности¹⁶.

Монастырь в эпоху крестоносцев

В период крестоносцев (1099—1291), в годы правления императора Мануила I Комнина (1143—1180), Иерусалимский патриарх Иоанн IX восстановил монастырь. В 1106 году монастырь посетил русский паломник игумен Даниил, писавший о нем: «От монастыря Иоанна Предтечи до Герасимова монастыря одна верста, а от Герасимова монастыря до Каламонии, до монастыря Богородицы, одна верста. Богородица вместе с Иисусом, Иосифом и Иаковом, когда бежала в Египет, то ночевала в том месте, которое назвала Каламонией, что истолковывается „Добрая обитель“. Ныне тут Дух Святой сходит к иконе Богородицы. Монастырь этот на устье, при впадении реки Иордана в Мертвое море. Около монастыря ограда, монахов в нем двадцать»¹⁷.

В 1185 году монастырь посетил греческий паломник Иоанн Фока, который сообщает: «В промежутке между монастырями Предтечи и Каламона находится разрушенный до основания течением Иордана монастырь святого Герасима, — в нем почти ничего не видно, кроме незначительных остатков храма, двух пещер и замкнутого столпа, в котором заключился великий старец Ивир, весьма симпатичный и удивительный. Посетив его, мы очень много извлекли пользы из встречи с ним, ибо божественная некая благодать присуща старцу. Но считаем необходимым рассказать здесь для услаждения тех, которые любят услаждаться божественным, о чуде, совершенное им за несколько дней до нашего прибытия. На извилистом и узловатом течении Иордана, как и на других реках, попадаются места, густо заросшие тростником. В этих местах привыкло обитать племя львов. Два из них в каждую неделю приходили к затвору старца, и, положив головы на столп, выражением глаз, просили себе пищи. Получивши ее без труда, они с радостью уходили в свои обычные места при реке. Пищей для него служили или небольшие устрицы в реке, или может быть, куски полбового или ячменного хлеба. Однажды когда они (львы) пришли и движением глаз просили обычной пищи, старец, не избилуя тем, чем обыкновенно удовлетворял требование зверей, ибо случилось так, что в течение двадцати дней ничем съестным не запасался, священный оный муж сказал зверям: так как мы не только не имеем ничего съестного, чем могли бы утешить слабость вашего естества, но и самим нам не достает потребного по обычаю, Богу так о нас устроившему по причинам, которые Ему хорошо известны, то нужно вам идти к руслу Иордана, и принести к нам какое-либо маленькое деревцо. Приготовив из него крестики, мы раздадим их посетителям в благословение, а от них получив взамен, по произволению каждого, какие-либо крошки к пропитанию моему и вашему, ими и разбогатеет. Сказал, звери выслушали, и как бы разумным движением и походкой отправились к руслу Иордана. И, о чудо! немного спустя, принесли на плечах два дерева, и положив оные у основания столпа, охотно удалились в заросли Иордана»¹⁸.

Немецкий путешественник, монах-доминиканец, Бурхард, посетивший Палестину в 1274—1284 годах, также упоминает про монастырь в своих записях.

¹⁶ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

¹⁷ Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 23.

¹⁸ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

Монастырь в Османский период

После эпохи крестовых походов, в период правления династии Айюбидов, а затем династии Мамлюков, монастырь был заброшен и восстановлен лишь в XIV веке. В период правления Османской империи (1516—1917) на территории Палестины он снова был разрушен, о чем сообщал в своих записках литовский князь Радзивилл Сиротка (1584 г.): «Приехали ко источнику, егоже воду Елисей солью исцелил и zelo добрую из непотребной сотворил. Весь оный дол сия вода обливает и через трубы, издавна еще уготованные, к огородам течет: глубок, человеку по раме (груди), много имеет рыб малых. Видел здесь великие zelo трубы, которыми воду в пустыню и к **монастырю святого Герасима** ведено; ныне едва того монастыря знак есть»¹⁹. В 1620 году греческий составитель описания Св. Земли упомянул, что на правой стороне Иордана от монастыря аввы Герасима уцелели кое-какие остатки, что никто тут не живет и что немного ниже его находится агиазма (святая вода), изведенная из земли молитвой ученика его Савватия²⁰.

Однако впоследствии монастырь был возрожден из развалин, о чем свидетельствовал старец Арсений Суханов, посетивший эту обитель в 1652 году: «От Иерусалима, верст с 30 от того места, идеже мы быхом, вниз по реке, верстах в 10-ти к Содомскому (Мертвому) морю близко на ровном месте стоит монастырь преподобного отца Герасима, иже на Иордане, ему же дивий зверь лев поработа. Здание великое, стоит все цело: церковь, палаты, ограда, токмо мало попортились»²¹.

Про эту обитель в 1670-х годах писал иеромонах Арсений Каллуда: «Близ Иордана есть монастырь и церковь святого Герасима. Отстоит же Иордан от Иерусалима милый 30; к внутренней пустыни Иордана есть гроб преподобной Марии Египтяныни, и отстоит от Иерусалима милый 20»²².

Но в начале XVIII века монастырь опять был разрушен, о чем пишет иеромонах Варлаам, «бывший тамо в 1712 году»: «Монастырь Герасима преподобного, иже на Иордане, пуст»²³. Такую же картину застал здесь и киевский паломник Василий Григорович Барский: «29 января 1727 г. Идущи же полем, поминухом обитель преподобного аввы Герасима; не хотяше бо нас повести внутрь проводник, понеже ведяше обычай разбойников, яко множицею тамо собираются на ношевание, ибо обитель аввы Герасима есть пуста и разоренна, токмо останки основания и стен даже доселе стоят, в них же овогда от дождя, овогда же от солнца к препочиванию сокрываются»²⁴.

Возвращаясь с Иордана В. Г. Барский и его спутники все же посетили обитель Преп. Герасима, несмотря на многие опасности, поджидавшие их на этом пути. Вот что пишет об этом киевский пешеходец: «Мы же тогда, по изволению провождающего арапа, не ожидахом даже до ночи, но егда по облацех и дожде воссия солнечный свет, уразуме, яко вси разбойници разбегошася по весех (по селам, — Авт.),

¹⁹ Похождение в Землю Святую князя Радивила Сиротки. 1582—1584. СПб., 1879. С. 79.

²⁰ См. Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 42.

²¹ Проскинитарий. Хождение старца Арсения Суханова во Иерусалим и в прочие святые места для описания святых мест и греческих церковных чинов // Православный Палестинский сборник. Т. VII. вып. 3. СПб., 1889. С. 78.

²² Арсений Каллуда, иером. Проскинитарий святых мест святого града Иерусалима (1679 г.). СПб., 1883. С. 54.

²³ Перегринация, или Путник, в нем же описуется путь до святого града Иерусалима и вся святая места Палестинския, от иеромонаха Варлаама, бывшего тамо в 1712 году // Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. кн. 3, отд. V. С. 73.

²⁴ Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 375.

требования ради пищи, мы же, не у еще бывшу полудни, вооружившися крестным знаменем и положивше надежду на невидимо нас предводящего Бога, пойдохом, и прешедшу яко часу единому, доспехом к обители преподобного аввы Герасима и внидохом внутрь, посещения ради, но не видехом ничтоже цело, токмо останки монастыря и церкви, часть алтаря стоит списанна иконами святых, трапеза святая (престол. — *Авт.*), на ней же совершашеся божественная литургия, поваленна лежит на земле, юже лобызахом с поклонением, такожде и иконы святых вселенских церковных учителей. Познавает же ся, яко монастырь бяше высокой огражден стеной и пирги (башни. — *Авт.*) на четыре стороны высокие имеяше; обаче от камене мягкого, песковатого и некрепкого создан бяше, сего ради по многолетнем запустении обвалися. Отстоит же от Иордана единого часа хождением»²⁵.

В 1853 году архимандрит Порфирий (Успенский) отметил: «Кратко это описание, но верно. Что и что видел Барский, то видел и я, кроме святой трапезы (престола. — *Авт.*), куда-то унесенной»²⁶.

В 1820 году отечественный паломник Д. В. Дашков в своих записках отметил, что монастырь Преп. Герасима по-прежнему лежал в развалинах: «Обширная степь, отделяющая от Иордана оазис Иерихонский, походит на дно морское, оставленное волнами; кое-где, около песчаных бугров, показываются тамаринды, обыкновенно растущие вдоль потоков, и колючий терновник. Во дни христианского владычества было в сей пустыне множество монастырей и скитов (*eremitoria graciosa*); ныне едва приметны следы их. Место крещения Спасителя, как полагают греки, в 5 или 6 верстах от развалин обители во имя аввы Герасима: достигнув оногo, мы спустились с крутого берега, обросшего внизу камышом и мелким кустарником, и переехали вброд на противную сторону, более отлогую»²⁷.

10 лет спустя в этих краях побывал отечественный писатель-паломник А. Н. Муравьев; в его записках содержатся интересные подробности о тогдашнем состоянии древней обители: «На прибрежной крутизне, влево от дороги, виден вдали монастырь св. Герасима, еще довольно сохранный и не очень давно оставленный греками по причине разбоев бедуинских. К нему стекались прежде поклонники, идущие на Иордан; но теперь только христианские арабы Вифлеема однажды в год приходят туда на канун Богоявления и, отслужив обедню на престоле из камней посреди самого Иордана, в торжестве возвращаются в Вифлеем, исполнив священный долг, давно забытый христианами Иерусалима»²⁸.

В том же 1830 году, что и Муравьев, этот монастырь посетил французский востоковед Мишо. Он пишет о преп. Герасиме, называя его Иеронимом (причина путаницы, по-видимому, в схожести имен *Gerasimos* и *Ieronimus*). То, что речь шла именно о преп. Герасиме, видно из следующих строк: «Не в дальнем расстоянии видны развалины двух монастырей, св. Иоанна и св. Иеронима»²⁹.

Как известно, обитель Преп. Герасима расположена сравнительно недалеко от Иордана, как и монастырь Св. Иоанна Предтечи, о чем и пишет Мишо далее: «В отдаленных веках христианства, уединенные места Иордана населены были отшель-

²⁵ Там же. С. 377.

²⁶ Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 43.

²⁷ Дашков Д. В. Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 36.

²⁸ Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 140.

²⁹ А. Т. Очерки Иерусалима и святых окрестностей. Из переписки о Востоке Мишо и Пужула. СПб., 1837. С. 210.

ническими обителями, куда собирались отжившие, так сказать, для света люди, посвящать жизнь Богу и уготовлять себе место успокоения, по примеру прочих предтеч Христа»³⁰. «В числе этих древних отшельников Иероним особенно поражает внимание. Иероним, который презрев шумную жизнь света, предпочел, скитаясь в пустыне, пить лучше воду из чистого источника, чем из великолепной чаши злата Вавилонского, — продолжает французский востоковед. — Во время этого самопроизвольного изгнания, когда Иероним питался только хлебом, посыпанным пеплом и смоченным слезами, доходили до него вести о злоключениях Запада; он слышал о падении столицы кесарей (Рима. — *Авт.*) и конечно уже в молитвах своих пред Господом пролил несколько слез за Рим угасающий, за отчизну Virгилия, Цицерона и Горация, доставшуюся в руки победителей варваров»³¹.

Вот что писал о своем визите (1853 г.) в древнюю обитель архимандрит Порфирий (Успенский): «Я отправился к монастырю св. Герасима Иорданского и на этом пути видел основания какого-то малого здания и глубокую цистерну на северной стороне его. Не это ли остаток обители Каламонí, в которой чествуема была икона Пресвятой Богородицы во дни нашего паломника игумена Даниила (1115 г.)? Отвечаю на сей вопрос: быть может, она. Правда, Даниил указал Каламони у устья Иордана. Но тут я был и не видал никаких признаков жилья. Следовательно, измерение Даниила не точное, не шнуровое, а так себе — приблизительное, наглядное. В 1185 году был в этой обители Иоанн Фока и поведал о ней вот что: „В середине ее стоял храм, вывершенный куполом. С ним с правой стороны соединялся другой храм, маленький, построенный, как говорят, еще во дни апостолов. В нем чествуема была икона Богородицы, носящей на руке Спаса Христа, написанная евангелистом Лукой, и совершенно похожая на икону Одигитрии Константинопольской. От нее исходит благоухание“»³².

В середине XIX века обитель Преп. Герасима по-прежнему лежала в развалинах, о чем упомянул в своих записках афонский инок Парфений, посетивший Святую Землю в 1855 году: «Когда возвращались от Иордана, и прошли один час, то недалеко, в левой руке, видны были **развалины монастыря св. Герасима**; еще до половины стены стоят, а в правой руке, на берегу Иордана, видны развалины монастыря св. Иоанна Предтечи, Крестителя Господня»³³.

Паломник Виктор Каминский трижды побывал в Палестине; во время своего второго «хождения» в 1857 году он осматривал развалины обители великого аввы. «Св. Герасим был таким же светилом в Иорданской пустыни, каким Савва Освященный в Плачевной Юдоли, — пишет Виктор Каминский. — Последний, силой своей веры, изгнал львицу из вертепа, который сам занял, а св. Герасиму служил лев, как домашнее животное. В самых развалинах обители сильного верой мужа отражается его мощный дух и мудрость. Здания были трехэтажные, вокруг квадратного двора; террасы — роскошные; церкви благолепные, в греческом вкусе. От церквей остались целые стены, на которых много видно живописи. В одном месте образ святителя Христова Николая сохранился очень ясно. Развалины эти почивут на песчаной веселой равнине, между Иорданом, Мертвым морем, горами Иудеи и равниной Иерихонской. Ближе к последней, среди камыша, есть источник, испрошенный молитвами св. Герасима»³⁴.

³⁰ Там же. С. 210.

³¹ Там же.

³² Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 43.

³³ Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения. М., 1999. С. 70.

³⁴ Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 510.

Будущий начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) в своих записках поклонника 1857 года повествовал: «Впереди нас показалась черная точка, которая, мало-помалу разрастаясь, по мере приближения нашего к ней превратилась в кучу зданий. Нам сказали, что это бывший монастырь св. Герасима Иорданского, при имени которого невольно припоминается и служивший ему лев. Теперь львы на Иордане неслыханная вещь. О тиграх иногда еще можно слышать. Гиен и шакалов много. Огнестрельное оружие выгнало царя пустынь из его владений. Оно же, кажется, одно может выгнать в наше время из тех же пустынь нынешнего царя ее — бедуина. Полагают, что, если бы Ибрагим-паша Египетский удержал за собою Палестину хотя лет на 20, бедуины превратились бы в мирных феллахов, подобных, по крайней мере, иерихонянам. Монастырь преп. Герасима (вернее Каламонский, ибо Герасимов лежал, по свидетельству древних паломников, при самом Иордане) отстоит верст на пять от Иордана и занимает относительно высокое место. Он еще легко мог бы быть восстановлен и служить приютом для поклонников»³⁵.

Предшественник о. Антонина на посту начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме — архимандрит Леонид (Кавелин) более обстоятельно описывает свое паломничество к «св. Герасиму». В отличие от других паломников, о. Леонид со своими спутниками отправился к древней обители не из Иерусалима, а из монастыря Св. Саввы Освященного.

Я объяснил старцу цель моего посещения, и он обещал завтра же отправить нас в путь и действительно поутру, после Часов (обедницы) все уже было готово; нас пригласили в трапезу — подкрепиться на дорогу: обед состоял из чечевичной похлебки, маслин, моченых бобов, головки луку, и стакана виноградного вина. Старец отпустил с нами двух из своих учеников — монаха Харитона и послушника Герасима и двух вооруженных бедуинов из племени Мар-Саба (Саввинских). Старец сам заботился о малейших подробностях, и мы с благоговейным почтением смотрели на его отеческую заботливость, не смея противоречить ей: между прочим, с недоумением взирал я на то, что он отпустил с нами целый мешок маленьких пшеничных хлебцев, которых, казалось, достанет и десяти человекам на много дней, но последствия оправдали его мудрую предусмотрительность. Кроме хлебцев был запас маслин, лука, смокв, кофе и фляга виноградного вина, — словом, все, чем сами саввайты питаются в подобных случаях. Для каждого из нас было по осленку; саввинские же проводники были пешком; весь караван наш состоял из 5-ти человек и двух бедуинов.

Поклонившись гробу преп. Саввы, мы выехали из монастыря часу в 10-м утра; скоро поднявшись на соседние высоты, увидели Мертвое море, хотя до него было еще несколько часов езды; несмотря на то, что дорога шла по скалам и ущельям, она показалась нам приятной, ибо весна палестинская началась и уже все оделось зеленью, на такое короткое время здесь появляющуюся. Часов через 6 езды мы спустились с Иудейских гор в долину Иерихонскую, направляясь мимо Мертвого моря, прямо к развалинам лавры преп. Герасима Иорданского. Солнце уже давало чувствовать свою силу; но прохладный ветерок освежал полуденный жар; дорогой мы всполошили стадо диких коз (газелей), спокойно щипавших траву в одной балке (сухой ров — лощина); завидев нас, они понеслись с быстротой ветра по направлению к Иордану и скоро исчезли с глаз наших.

Мы остановились для осмотра развалин монастыря преп. аввы Герасима: они видны на небольшом возвышении верстах в двух от берега Иордана; по местным преданиям авва Герасим не вновь основал эту обитель, а лишь обновил лавру Ка-

³⁵ Антонин (Капустин), архимандрит. Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. 6-е января на Иордане. М.: Индрик, 2007. С. 205.

ломоню (доброе пристанище), названную так потому, что будто бы на этом самом месте останавливалась на ночлег Матерь Божия с предвечным Младенцем и своим обручником Иосифом, во время бегства в Египет. Лучше других уцелели восточная и северная стороны бывшей обители; нижней этаж хотя и засыпан развалинами верхнего, но своды его большей частью целы, а одна из зал под церковью уцелела совершенно. В верхнем этаже осталась часть алтарного полукружия и видны несколько священных изображений (фрески): на горнем месте Спаса Вседержителя в верхнем поясе, и трех великих святителей в нижнем.

Соседний придел или церковка сохранилась вся кроме верхних сводов, и на стенах, несмотря на 400 лет запустения, ясно видны несколько изображений святителей и преподобных; так на алтарной арке я прочел надпись над изображением: преп. Филимона, св. Софрония патриарха Иерусалимского, св. Андрея Критского и св. Сильвестра папы римского; а у входа в эту церковь на арке видны изображения евангелистов и пророков. Иерó (сокращенное *геронта* — старец) Харитон говорил, что по описанию одного из иноков XII века (вероятно, Фока) здесь в одном склепе лежат мощи отцов сей обители, а вход в этот склеп нарочито засыпан, дабы сохранить останки преподобных от магометанского изуверства.

По словам одних, монастырь обратился в развалины от землетрясения, а по другим, сами монахи (а, вернее, турецкое правительство) разрушили стены опустевшей от арабского насилия обители, по приказанию патриарха, чтобы уцелевшие здания не служили приютом хищникам, делавшим здесь засады для грабежа богомольцев, ходивших на Иордан.

В нескольких саженях от обители, в сухом доле видны следы часовни, бывшей над гробом преп. Герасима; сход в пещеру 7-ми ступенями ныне засыпан и силой Божией благодати святое место покоя преподобного остается неприступным и для сынов пустыни бедуинов, которые рыская здесь день и ночь не смеют, по суеверию (считая, что развалины населены духами), приблизиться к священной могиле. В том же суходоле, несколько повыше есть кладезь, испрошенный молитвой преп. Герасима; он обложен камнем в виде цистерны, и чистая прозрачная вода держится в нем в течение всего лета на 2 1/2 аршина вышины. Мы остановились здесь для краткого отдыха, и, размочив в воде несколько хлебцев, съели их с аппетитом, утоляя жажду чистой и легкой для вкуса водой, испрошенной «слез теченьми» преп. Герасима. Близ сего кладезя растет высокий тростник и несколько деревьев. Далее видны развалины лавры «пиргов» (или башен); от нее уцелело лишь несколько сухих цистерн.

Наш паломник XII века игумен Даниил еще застал в монастыре преп. Герасима 20 иноков, и ныне нетрудно было бы восстановить его, войдя в сношение с шейхами заиорданских бедуинов; но патриарх Иерусалимский сам не желает этого, и, наверное, не позволит сделать сего и другим, ибо тогда лавра преп. Саввы может оскудеть братией; потому что все с радостью устремится в обновленную обитель, по близости ее к привольным берегам св. реки (так поведали мне сами саввинские иноки)³⁶.

Иеромонах Киево-Печерской лавры Иерофей побывал в старинной обители в 1858 году; его заметки об увиденном весьма кратки: «По дороге мы заехали в бывшую лавру преп. Герасима: от нее теперь одни развалины; можно заметить, однако, где была церковь и трапеза, кое-где на стенах заметны даже следы живописи»³⁷.

Еще через три года монастырь Преп. Герасима посетил А. С. Норов (во время своего вторичного паломничества по Святой Земле). Особое внимание он уделил иконе

³⁶ Архимандрит Леонид (Кавелин). Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника а. Л.-а. М., 1873. С. 455—457.

³⁷ Дневные заметки во время путешествия по святым местам Востока, Киево-Печерской Лавры иеромонаха Иерофея, в 1857 и 1858 годах. Киев, 1863. С. 123.

Божией Матери, в прежние времена находившейся в древней обители. «В этом монастыре находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, о которой упоминает Даниил (1106 г.), — пишет Норов — Я имел особое счастье отыскать эту икону в Иерусалиме, в патриаршей церкви св. Константина, куда она была перенесена из самой Каламонии, по разрушении этого монастыря, и где она особенно чествуется. Величина иконы аршина полтора в длину и ширину; по несчастью, она была очень дурно обновлена и даже испорчена арабским живописцем, но на обороте ее видно изображено св. Герасима, весьма древнего письма и довольно хорошо сохранившееся»³⁸.

Далее А. С. Норов описывает руины обители, сравнивая увиденное им с сообщениями греческого паломника Иоанна Фоки (1185 г.).

Указываемые Фокой подробности постройки можно узнать даже в теперешних развалинах этого знаменитого монастыря. Он говорит, что возле главной церкви находится направо другая церковь меньшего размера, построенная, как полагают, во времена апостольские, и что в нише этой церкви находится икона Пресвятой Богородицы с Младенцем Иисусом на руках, писанная, по преданию, евангелистом Лукой, и что благовоние исходит от этой чудотворной иконы. Как ниша, так и престол этой церкви в настоящее время сохранились. Уцелели еще фрески в нижней части ниши, над престолом — *Благовещение*. На стене, направо от алтаря — папа св. Сильвестр и св. апостол Андрей; на стене, налево — все исчезло. Но против престола, по обеим сторонам двери, находящейся при входе, изображено Успение Пресвятой Богородицы. Ее ложе окружено апостолами, и, вместе с ними, виден ангел, принимающий душу Матери Спасителя³⁹.

Отечественный палестиновед В. Н. Хитрово осматривал обитель Преп. Герасима незадолго до начала ее реставрации. «Мы пошли на запад к источнику святого Герасима, испрошенному у Бога его молитвами, — пишет В. Н. Хитрово. — Вода в нем вкусна, хотя и тепловатая. От источника в получасе развалины самого монастыря. Церковные стены почти сохранились и на них можно разобрать еще изображение Успения Пресвятой Богородицы, вокруг ложа Божией Матери видны святые апостолы и ангел, принимающий Ее душу»⁴⁰.

Современный вид монастырь приобрел благодаря реконструкции, проводившейся с 1882-го по 1885 год, на остатках византийской лавры Каламон. Инициатором реконструкции выступил архимандрит Антонин (Капустин) от Русской духовной миссии. При игумене-греке Иосифе этот монастырь был окончательно возобновлен на средства настоятеля Святогробского братства архимандрита Евфимия в 1885 году, тогда же патриархом Никодимом освящен был монастырский храм⁴¹.

Московский единоверческий архимандрит Павел в «Кратком описании своего путешествия в Иерусалим» (1881—1883) сообщает: «Теперь монастырь св. Герасима несколько обновлен: оправлены стены; есть несколько келий и живут десять монахов. Мы пропели молебен святому Герасиму на месте его жительства»⁴².

В 1885 году писатель-паломник Евгений Марков по пути к Иордану посетил монастырь Преп. Герасима в его обновленном виде. «На сверкающем фоне моря начинает все яснее вырезаться массивное каменное здание обители св. Герасима. Этот

³⁸ Норов А. С. Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на Восток. СПб., 1878. С. 35.

³⁹ Там же. С. 35.

⁴⁰ Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 152. Ошибка истолкования: на иконах и фресках Успения душу Матери держит в руках Сам Иисус Христос (*Авт.*).

⁴¹ Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 70.

⁴² Цит. по: Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 43.

древний монастырь, недавно еще разрушенный и запустевший, опять возобновлен в последние годы, — отмечал Евгений Марков. — Его стены устояли в течении веков против варварской руки, и в его развалинах не переставали искать молитвенного приюта то тот, то другой бесстрашный отшельник. Теперь этот монастырек служит приходским храмом для деревни Рихи, бывшего Иерихона. Когда-то на месте этой одинокой церкви стояла целая лавра св. Герасима, прославленная в житиях святых угодников.

Более подходящего места для истинного пустынножительства, для жизни труда, лишений и скорбного покаяния, трудно выбрать даже и в унылых уголках Палестины... Проклятое море у ног, проклятая пустыня кругом и больше никого и ничего... Даже шакалам и гиенам тут незачем рыскать. Даже бедуинам, которые пожаднее шакала, тут мало чем поживиться. Впрочем, обитель св. Герасима устроена блокгаузом своего рода, с высоко поднятыми узкими окнами, с крепкими стенами»⁴³.

Вот какой предстала древняя обитель перед взором отечественного паломника А. Коптева в 1887 году: «Не доезжая версты две до Иордана, мы остановились у небольшого греческого монастыря св. Герасима. Монастырь на этом месте был весьма древний — V века; основатель его св. Герасим установил его на самых строгих началах. По преданию, монастырь этот основан преподобным Герасимом на том месте, где Богоматерь с Предвечным Младенцем останавливалась для отдыха по возвращении из бегства в Египет. Обитель эта несколько раз была разрушаема бедуинами, а в настоящее время старанием патриарха Никодима приводится опять в порядок. Монастырь обнесен каменной стеной, устраивается небольшой храм, который почти уже готов и в нем совершается богослужение. Комнаты монастырские довольно опрятны, конечно с самой убогой обстановкой; комната для отдохновения поклонников довольно обширна, с нарами, на которых лежат камышовые тюфяки.

При входе в церковь на стене большая картина, изображающая св. Герасима со львом. Я просил провожавшего нас послушника, говорящего по-русски, объяснить мне содержание этого изображения св. угодника. Послушник довольно обстоятельно объяснил следующее: „Однажды св. Герасиму встретился раненый лев; он перевязал ему рану, и с той минуты лев всюду за ним следовал, как самое ручное, домашнее животное. Когда св. Герасим скончался, лев заскучал и умер на его могиле“. Наступила уже порядочная жара, и мы просили послушника дать нам воды; минуты через две нам подали чистую воду в стаканах и на блюде варенье, за что мы, конечно, горячо благодарили послушника»⁴⁴.

Отечественный паломник М. П. Соловьев посетил обитель Преп. Герасима в 1891 году. В своих записках он, как и его предшественники, сообщает о возрожденной обители, а также вскользь упоминает о покушении на патриарха Иерусалимского Никодима. «Возобновление монастырей преп. Иоанна Хозевита, Иоанна Предтечи на Иордане и **св. Герасима** представляет попытку в высшей степени интересную. Вызывается ли она живой потребностью духовной жизни восточного Православия или благочестивым желанием патриарха Никодима сохранить память о месте, освященном некогда подвигами прославленных аскетов — решить трудно, пишет М. П. Соловьев. — Патриарх Никодим, после покушения на его жизнь в обновленном им же монастыре преп. Герасима со стороны одного из отшельников (грека), приказал всем собраться в монастыри; но едва ли это запрещение, лишая пустынников патриаршей защиты, достигнет своей цели. Многие из них остаются в своих вертепах до сих пор»⁴⁵.

⁴³ Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 224.

⁴⁴ Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иерусалим в 1887 году. СПб., 1888. С. 198.

⁴⁵ Соловьев М. П. По Святой Земле (1891 г.). СПб., 1897. С. 261.

В возрожденной обители было возобновлено богослужение, и отечественные паломники в священном сане могли совершать здесь литургию. Одним из них был архимандрит Мефодий, настоятель Никандровой пустыни Порховского уезда Псковской губернии, сподобившийся этой чести в 1892 году. «22 марта, мы очень рано оставили Иерихон и направились в обитель преподобного Герасима, иже на Иордане, отстоящую от Иерихона на час ходьбы, куда и прибыли часов около восьми утра, встреченные трезвоном; прямо направились в церковь; литургия была уже кончена, — пишет о. Мефодий. — Жаль мне стало, что я не воспользовался ею; между тем, мне сообщили, что просфоры запасные имеются и в храме три престола; значит, литургию совершить можно. Я этим воспользовался и сразу же стал готовиться к совершению литургии, каковую Господь и удостоил совершить и при сем сказать поучение паломникам»⁴⁶.

В начале 1890-х годов монастырь Преп. Герасима посетила еще одна группа русских паломников. В числе этих богомольцев был Петр А-истов, автор книги «Путешествие в Палестину» (СПб., 1894). Он посвятил древней обители несколько строк, но они предваряются рассказом о путешествии к «св. Герасиму»: «Живо вскочив с постелей и проворно одевшись, мы уже в 4 часа сели на коней и выехали из ворот приюта. Ночью некоторым из наших спутников слышался детский плач, благодаря чему они просыпались. Оказалось, что это был не плач детей, а рев хищных шакалов, водящихся здесь в изобилии. Утро чуть брезжило. Направляясь песчаной дорогой между кустарниками, мы в пять часов утра приблизились к монастырю Герасима. На пути к монастырю нам пришлось наблюдать восход солнца. Это была чудная, дивная картина. Солнце, взойдя на небосклон, раньше озарило лучами своими облака, а затем и вершины гор. Вскоре осветилась и подгорная равнина. Наконец яркие лучи солнца обласкали и нас, продрогших от утреннего холода, всадников.

Подъехав к стенам монастыря, мы сдали наших лошадей на поруки шейху и фуражиру, а сами направились в самый монастырь. Монастырь Герасима, как и все греческие монастыри, отличается бедностью, неустройством и неопрятностью. Монахи монастыря приняли нас очень любезно: водили по всем постройкам, и, в конце концов, с большим радушием предложили испить у них чай, от чего мы отказались в виду того, что не желали окончить пост, раньше чем не выкупаемся в реке Иордане. В 5 часов и 20 минут утра мы сели на коней и при колокольном звоне отбыли из монастыря»⁴⁷.

Обитель Преп. Герасима все чаще навещали паломники из России. Это отметил в своих записках Арсений, епископ Сухумский (1894 г.): «Монастырь преподобного Герасима отстоит от упомянутого места крещения Господа на полчаса езды к юго-западной стороне; он недавно восстановлен из развалин и в нем есть игумен с иеромонахом, которые имеют главное попечение о землях монастырских, окружающих обитель, и принимают русских паломников»⁴⁸.

Век XX

В начале XX века игуменом монастыря был грек о. Серапион, о котором тепло отзывался российский паломник иеромонах Серафим, посетивший эту обитель в 1908 году. «Нынешний игумен отец Серапион отличается неимоверным трудолюби-

⁴⁶ Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 126.

⁴⁷ А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 120.

⁴⁸ Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 203.

ем и горячей ревностью о достойном процветании этого исторического монастыря, — пишет иеромонах Серафим. — О. Серапион, известный своим глубоким благочестием и простотой, со времени назначения его не щадит ни трудов, ни хлопот, днем и ночью работая, достоин того, что в сухой и разнообразной пустыне, монастырь аввы Герасима представляется теперь оазисом с прекрасными садами и недостающей прежде, обильной водой, так что утомленные глаза поклонников как бы отдыхают при виде утешительных плодов неутомимых забот кроткого игумена»⁴⁹.

Представляют интерес записки валаамского иеромонаха Маркиана (Попова); в составе паломнической группы он побывал в монастыре Преп. Герасима в 1911 году. «Пошли к обители святого Герасима, на праздник. Завтра ведь 4 марта и память преподобного Герасима, иже на Иордане, — вспоминал о. Маркиан — Придя в монастырь, поспешили в церковь к началу всенощного бдения, которое было буквально всенощное, так что мы, ради усталости, выходили несколько раз для краткого отдыха; стоять было тем более трудно и томительно, что служба шла вся по-гречески, только некоторые ектении пели по-русски. После утрени — кряду великопостные часы и Преждеосвященная литургия; были и причастники; раздавали антидор, пили святую воду; когда кончилась вся служба, то было уже часов семь утра, так что вся служба продолжалась более 12-ти часов.

Пошли с братией в трапезу на чай. Трапезная очень скромная и тесная; сели за стол, и мне показалось, что у каждого лежит на тарелке что-то вроде печеной картошки, но когда попробовал, то это оказались оладьи, по-гречески называемые лукамады, очень вкусные. Отцы сидели усталые, закопченные от свечного нагара: ведь всю ночь пробыли в церкви при зажженных светильниках. Выпили, кто чашку, а нам, как русским, налили по 2 чашки чаю, и, пропев молитву, разошлись. Монахи легли до обеда отдохнуть, а мы, записав своих сродников и благодетелей за здоровье и за упокой, поблагодарив доброго игумена, пошли к Иерихону, куда и пришли, порядочно усталые, часа через три, так как шли с кладью»⁵⁰.

В эти годы обитель Преп. Герасима по-прежнему возглавлял игумен Серапион. Он оказал гостеприимство группе русских старообрядческих епископов, побывавших на Святой Земле накануне Первой мировой войны. «Неимоверная жара и духота пустыни сильно давала себя чувствовать, и поэтому мы с большим удовольствием нашли себе приют в гостеприимном монастыре св. Герасима, стоящем не вдалеке от Иордана, — вспоминал один из участников паломничества. — Любезный игумен монастыря, о. Серапион, грек, радушно встретил нас и предложил трапезу. Засиживаться, однако, нам не приходилось: нужно было сделать еще несколько верст, чтобы, побывав на Мертвом море, успеть до заката солнца на Иордан. Лошади были готовы, и мы, провожаемые игуменом и братией с колокольным звоном, отправились по едва заметной дороге к Мертвому морю»⁵¹.

А вот что пишет об этом визите старообрядческий епископ Рязанский и Егорьевский Александр (1914 г.): «Солнце сильно жарило, и мы заехали для отдыха в монастырь св. Герасима — „ему же Лев послужи“, сооруженный на развалинах старого. Монастырь обнесен стеной каменной и имеет вид маленькой крепости. Здесь нас принял настоятель игумен Серапион, угостил обедом — ухой и жареной рыбой иорданской и красным вином <...> Уговорившись с извозчиками — прибавить им по 2 ру-

⁴⁹ Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 70.

⁵⁰ Маркиан (Попов), иером. Путешествие в Палестину, на Афон и по России в 1911 году // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 223.

⁵¹ Быстров С. И. По Востоку. (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 160.

бля за коляску — поехали к Мертвому морю, которое было верстах в шести. Провожали нас со звоном»⁵².

Но как оказалось, русским богомольцам вскоре снова довелось встретиться с сельниками древней обители. «Поднимаясь из одной глубокой рывины, лошади не взяли сразу, попятиться назад и опрокинули повозку, — вспоминал владыка Александр. — Епископ Мелетий, сидя с краю, на который валилась повозка, успел спрыгнуть и поддержать меня, так что я хотя и упал, но ушибся легко. Только после в колеске сказала небольшая ломота, и зонт разорвался. Этим и ограничилась эта единственная катастрофа. Пока поднимали повозку, помогать прибежали и из монастыря игумен с монахами»⁵³.

Первая мировая, шестидневная...

В 1927 году монастырь подвергся очередному разрушению после землетрясения. После арабо-израильской войны (1947–1949) между еврейским населением Палестины и соседними арабскими государствами территория, на которой находился монастырь, отошла к Иордании. Посещение монастыря свелось к минимуму. Но тем не менее и в эти годы здесь изредка бывали паломники русского зарубежья. Так, в 1952 году обитель Преп. Герасима посетила группа русских пилигримов из Франции. «Заезжали мы в древние монастыри православные: св. Илии, свят. Иоанна Предтечи, св. Герасима и много других. Всюду встречали и провожали нас колокольным звоном, одаривали и угощали. Конечно, не к нам русским изгнанникам, относилось все это, а к памяти былой Великой России, — записала в своем дневнике одна из паломниц. — Наш путь проходил и по мрачной каменистой пустыне, где сорок семь лет блуждала, молилась и спасалась св. Мария Египетская. И ей, в этой пустыне, мы пропели тропарь»⁵⁴.

Более подробные сведения о тамошней обители содержатся в записках епископа Серафима (США), побывавшего «у св. Герасима» в том же 1952 году: «Путь наш лежал мимо монастыря преп. Герасима к Мертвому морю, а затем на Елеон. Сначала мы проехали мимо большого роскошного пальмового и масличного сада, принадлежащего монастырю преп. Герасима. Его арендуют теперь арабы, за недостатком братии. Это поистине оазис в пустыне — просто рай земной по красоте. Некоторые утверждают, что здесь и был раньше монастырь св. Герасима. Какие-то развалины в саду виднеются. Нынешний монастырь расположен в нескольких милях от сада по направлению к Мертвому морю. Он похож на небольшую крепостцу, очевидно, чтобы противостоять нападениям бедуинов.

Настоятелем монастыря состоит архим. Паисий, как мне потом сообщили, поклонник советской Патриархии. Он не подал мне виду, что знает русский язык, и мы с ним говорили только по-английски. При нем живет один единственный монах, да и то временно, а монастырь большой и мог бы вместить до 50 человек. У преп. Герасима мы пробыли не более четверти часа. Церковь довольно красивая, постройки 19-го века»⁵⁵.

В конце 1950-х годов здесь побывала еще одна русская паломническая группа из Франции. Вот в каком состоянии пребывала тогда обитель Преп. Герасима и при-

⁵² Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия в Палестину. М., 1916. С. 64.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Родзянко Л. Э. О Святой Земле и паломничествах. Париж, 1958. С. 27.

⁵⁵ Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 141–142.

легающие к ней окрестности: «Прекрасная пальмовая роща с виноградником принадлежит греческому монастырю св. Герасима. Самый монастырь, на месте знаменитой лавры Иорданского пустынноика, стоит в отдалении, ближе к Мертвому морю, среди совершенно дикой каменистой пустыни, каменный блок, окруженный могилами братии. Кругом никакой жизни, ни деревца, ни кустика. Странно думать, что когда-то эта дикая пустыня, именовавшаяся „пустыней Св. Града“, изобиловала монастырями и лаврами, оглашалась колокольным звоном и пением многочисленной братии: здесь были в 5—6 веке лавры Пиргов (Башен), Каломонская, св. Иоанна Златоуста, преп. Евфимия, Евнухов и др.

Монастырь св. Герасима являет собой типичный пустынный монастырь: это высокие каменные стены, вдоль которых пристроены в два этажа келии, окружающие вымощенный дворик; это как бы одно большое здание с площадкой посредине. Во дворе колодезь и цистерна; храм в нижнем этаже, большой и светлый, по стенам написаны во весь рост пустынные подвижники местные и египетские. Под ним в подземном тесном храме показывают пещеру, где укрылись и отдыхали на пути в Египет Мать Божия с Богомладенцем и Иосиф Обручник»⁵⁶.

После шестидневной войны, в 1967 году, западный берег реки Иордан перешел под контроль Израиля, и монастырь Преп. Герасима вновь стал местом паломничества. В 1976 году обитель возглавил греческий насельник — архимандрит Хризостом (Тавулареас). Эту обитель стали посещать и насельницы Горненского монастыря (Московская патриархия).

Из записок инокини Наталии

1984 год. Великий Пост. 2-я седмица. Сегодня я побывала у Герасима иже на Иордане. Наш годовой праздничный круг закончился и начался новый год — теперь душа уже сознательно стремится к святине, которую знает и любит. Служба была во всю «ночь» в пещерке, где остановилось Святое Семейство при бегстве в Египет, где потом подвизался преп. Герасим. На эти ночные службы приходят обычно благоговейные и любящие молиться греческие монахи и батюшки, от этого служба неспешная, все читается и поется с душой. Теперь уже почти весь ход службы знаком, и даже мелодии греческих распевов становятся знакомыми. Литургию пели наши сестры, многие причащались. Где взять слова, чтобы описать те чувства, которые испытывает благодарная душа за эти ночные и вдохновенные службы! Спать почти не хочется и после службы никак не заснуть — ходишь и не веришь своим глазам — в какой дивной ты пустыне и у какой святыни ты сейчас находишься!⁵⁷

1987 год. Понедельник 2 (16) марта. Память преп. Герасима иже на Иордане. Господь милостивый к моим немощам опять сподобил меня посетить монастырь преподобного Герасима Иорданского в день его памяти. Такой встрече всегда сопутствует ангел и препятствует враг, но в который раз испытываю необыкновенную поддержку и обновление душевных сил от посещения ночных праздничных служб. Особое присутствие святого в этот день чувствуется по внутренней радости и даже по внешним признакам. Так, у Герасима Иорданского монастырь расположен в ровной бескрайней пустыни и со всех сторон обзриваем и виден. В этот день опять собирался дождик и к вечеру, когда стало сумеречно, появились первые капли. Но... над монастырем высветлился прямоугольник чистого от облаков неба, а ночью высыпали звезды. Кругом ничего не было видно, но над монастырем мерцали в светлое оконце неба яркие звезды — это маленькое чудо (я замечаю) по-

⁵⁶ Святая Земля. Париж, 1961. С. 119—120.

⁵⁷ Наталия, инокиня. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой Земли (1983—1989 гг.) СПб., 1996. С. 88—89.

вторяется каждый год. Сама пустыня веет какой-то древностью. Читали на крыше (ограде) монастыря жития палестинских святых и невольно уносились к ним, сочувствуя сердцем их пламенной любви к Богу. Не хотелось оставлять это зрение пустыни с туманным очертанием Иорданских гор за рекой и более рельефных от Иерихона. Сама пустыня имеет вид ровный, но холмистая, вся в спадах и рытвинах. Вероятно, временем они более сгладились, а в те времена были значительнее.

Ночная служба была в пещерном храме, где останавливалось Св. семейство при бегстве в Египет. Может быть, кому-то непонятно и чуждо греческое пение, но на меня оно производит глубокое впечатление. Сами напевы — ритмичные, витиеватые и строгие, исполняемые в унисон монахами, которые поют просто, но от души, а есть и очень искусные певчие, сама обстановка — пещерные камни, пыль, в соседней нише черепа, далее бесконечный лабиринт темных переходов, эта мерцающая свечами темнота и звуки неспешного монотонного молитвенного пения производят на душу дивное впечатление. Я всегда чувствую себя чудесным образом переселившейся в то далекое время, будто я подсматриваю сквозь века и сознание моего чудесного и удивительного пребывания на такой службе никогда не оставляет меня. Вероятно, более всего действует благодатное молитвенное предстательство самого святого мужа, но трогательная преданность и усердие этих уже иных последних монахов, их подражание, хотя бы малое временное покоряет душу и призывает тоже быть подражательницею.

С хорошим настроением возвращаюсь, но постепенно рассеиваю и теряю, хотя можно сказать, что подобными службами душа живится и может жить дальше довольно продолжительное время. Удивительно читали житие преп. Герасима, где описывалась Иорданская пустыня и что на 1,8 стадии протекает Иордан, поднимали голову от книги и все это видели вокруг — это потрясло до слез. Нас малая горстка бесконечно счастливых за многих желающих и совоздыхающих с нами...⁵⁸

После 1991 года обитель Преп. Герасима все чаще стали посещать паломнические группы из России. В 1994 году в составе одной из них был игумен Никон (Смирнов); вот отрывок из его записок, посвященный древнему монастырю.

Едем в автобусе в Иудейскую пустыню, где расположен знаменитый монастырь преподобного Герасима Иорданского. Обитель расположена в долине ровной, не холмистой. Только вдали в окружении виднеются затянутые серой дымкой цепи гор. Монастырь царствует в этой равнине. Выходим у врат обители. Церковь греческого монастыря типична. Входим, молимся, ставим обильно свечи, поем тропарь преподобному Герасиму. Спускаемся в пещеру под храмом. Пещера эта священна, в ней останавливалось Святое Семейство при бегстве в Египет от детоубийцы Ирода. На иконостасе видим образ, изображающий это путешествие Приснодевы Марии с Богомладенцем и Иосифа Обручника. Существует предание, что во время путешествия Святого Семейства здесь их встретил один разбойник с друзьями и хотел отнять у них осла. Но, когда он увидел Богомладенца, то настолько был поражен Его Божественным видом, что воскликнул: «Если бы Бог принял человеческий образ, то Он не мог бы быть красивее этого младенца». Разбойник не тронул Святое Семейство, и Божия Матерь в благодарность сказала ему: «За твое добро этот Младенец воздаст тебе во сто крат более». Впоследствии разбойник этот был распят на Голгофе по правую руку от Христа и сподобился помилования от Него, сказавшего ему: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. XXIII, 43).

<...> В монастыре до сих пор питают любовь к животному миру. Мы видели множество клеток с поющими птицами, также видели в руках насельника обители змею. По саду важно расхаживали царственные павлины с изящной короной на

⁵⁸ Там же. С. 148–150.

голове и длинным красивым хвостом. Птица на диво райская, с важной походкой. Мы подошли к лавке-магазинчику. Настоятель монастыря о. Хризостом, завидев нас в рясах, дает безвозмездно тарелочки с изображением преподобного Герасима. Один наш паломник дождался, когда толпа у прилавка разошлась, чтобы наедине отдать скромную жертву на монастырь. Момент наступил благоприятный, и он сунул в передний карман о. Хризостому деньги не церемонясь. Тем более, что не мог толком на чужом языке объяснить суть своего намерения. Жертвы не получилось. Сперва настоятель отказывался оставить в своем кармане «деньгу», а потом, видя возражение, взял часть своего товара и, в свою очередь, всунул в руки паломнику эту жертву монастыря. Делать было нечего, пришлось смириться, принимая это как из рук основателя обители преподобного Герасима⁵⁹.

Гостями древнего монастыря бывали паломники и из соседней Белоруссии. Один из них — протоиерей Иоанн Грудницкий — так описывает свое посещение обители в 1995 году: «Монастырь преподобного Герасима Иорданского. Преподобный Герасим был родом из Ликии (Малая Азия) Около 450 года он пришел в Палестину и поселился у Иордана, где основал этот монастырь. Правила в обители были строгие. Пять дней в неделю иноки проводили в уединении, не ели вареной пищи и не разводили огня. В субботу и воскресенье все собирались в монастырь к Божественной литургии и причащались святых Христовых Тайн. После полудня, взяв с собой запас хлеба, кореньев, воды и охапку ветвей финиковой пальмы для плетения корзин, пустынники возвращались в свои уединенные кельи. До самой кончины преподобному Герасиму помогал в трудах лев, который по смерти старца умер на его могиле. Поэтому льва изображают на иконах у ног преподобного. Нас проводили в пещеру, в которой некогда останавливалось святое семейство на пути в Египет»⁶⁰.

Устройство и вид монастыря

Подробное описание обители Преп. Герасима принадлежит перу архимандрита Порфирия (Успенского), посетившего этот монастырь в 1853 году.

Монастырь св. Герасима, разрушенный и пустой, осмотрен был мною внимательно и подробно. Оказалось вот что. Сей монастырь так же, как и Предтеченский у Иордана, не малый, двухэтажный, с выступными башнями на углах и у боковых стен и с какими-то помещениями на западной линии, был построен из тесаных камней в виде крепости. В верхнем этаже, полуразрушенном и не имеющим кровли, уцелели только восточное углубление, алтарь главной церкви и прилегающий к нему придел. Эта церковь длинная, была однопрестольная. Северная стена ее почти вся разрушена, а куски стен южной и западной стоят. В алтарном углублении, вверху его, изображена на стене Богоматерь Всецарица (Пантанасса); под нею написан Иисус Христос, причащающий апостолов, телом и кровию особо; а ниже их, направо, стенные изображения сглажены, налево же уцелели только имена святых отцов Александра и Григория Богослова. Стенопись не завидная и не очень древняя. Под этой церковью в нижнем этаже находится комната, равная ей длиной и шириной, темная, вероятно запасная для складки зерна, муки и овощей. Западнее сей комнаты в сем же этаже усмотрена была мною церковь, чуть ли не коптская с прилежащими к ней кельями. Ежели действительно жилали тут копты, то сие помещение они могли устроить только после 1187 г.,

⁵⁹ Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 52—55.

⁶⁰ Грудницкий Иоанн, прот. Паломничество по Святой Земле в конце XX века. Брест, 1995. С. 102.

когда египетский султан Саладин прогнал всех крестоносцев со Святой Земли. Лучше сохранился помянутый мною придел. В восточной стене его еще целы два окна, одно под другим; целы три окна и в южной стене. В алтарном углублении, — на стене высоко, изображен так называемый Деисус, а под ним Иисус Христос, как Вседержитель. Он стоит и благословляет. Налево (а от зрителя направо), на стене же, виден св. Игнатий Богоносец. а на противоположной стороне образ святого изглажен; видать при нем только слова: «един Бог Вседержитель» (греч.). На южной стороне придела, между окнами, уцелели лики святых. На них св. Андрей Критский держит хартию со словами: «Господи Вседержителю единый...» (греч.)

Видно, что игумену монастыря угодно было выразить стенописью исповедание веры в Иисуса Христа, яко Вседержителя. Вся эта живопись не очень старинная. Сдается, что она произведена в половине XVI века (после 1517 г.), когда Палестина стала областью царства Турецкого. У придела, о котором идет речь, на линиях восточной и южной были монашеские кельи с окнами, из которых два уцелели; а под этими кельями, в нижнем этаже, находится длинная комната, ныне темная, полагаю, братская трапеза⁶¹.

В настоящее время монастырские корпуса образуют квадратный двор, окруженный арками и колоннами с четырех сторон. В центре двора находится древний колодец, который в память о житийном эпизоде называют «колодцем льва старца Герасима». Колодец во дворе — первое, что встречает нас при входе в монастырь. В память о смиренном льве старца Герасима львиная морда изображена как на фасадной стороне колодца, так и на его крышке. Считается, что это тот самый колодец, из которого лев должен был добывать воду, вращая ворот по приказанию старца⁶².

Фундаменты современного здания, использующего камни первоначальной обители, были устроены, согласно надписи, в 1156—1166 годах, в царствование императора Мануила I Комнина⁶³. В настоящее время остался фундамент с изображением двуглавого орла — символа Византийской империи. В Византии двуглавый орел изображался в монастырях и на гербе последней династии Палеологов, правившей с 1261-го до 1453 год.

В монастыре находятся два храма — верхний и нижний. **Верхняя церковь** включает остатки средневековых стен с фрагментами росписей XV—XVI веков. В северной апсиде сохранился мозаичный пол конца VI века. Верхний храм построен в честь преподобного Герасима Иорданского; в нем расположен иконостас, подаренный Русской духовной миссией в Иерусалиме. Верхний храм имеет три престола: центральный престол освящен в честь Герасима Иорданского; правый престол посвящен святому Евфимию Великому, монастырь которого находится неподалеку; левый престол посвящен святому Зосиме Палестинскому и Марии Египетской. Иконостас верхнего храма, отделяющий центральную часть храма от алтаря, был установлен в 1883 году Русской духовной миссией; он содержит четыре иконы: Богоматерь Одигитрия, преп. Герасим Иорданский, св. Иоанн Креститель, Иисус Христос Пантократор.

Нижний храм сооружен в пещере, где, по преданию, отдыхали Матерь Божия с Младенцем и Иосифом Обручником. В ту ночь Мария кормила грудью Младенца Иисуса, и это событие запечатлено в нижнем храме под главным собором монастыря. Нижний храм (крипта) посвящен святому Семейству; здесь стоит иконостас Иерусалимского патриархата. В крипте находятся чтимая икона Божией Матери Галактотрофусы (Млекопитательницы) и братская костница. В ней хранятся кости монахов, погибших во время нашествия персов в 614 году.

⁶¹ Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 5. СПб., 1899. С. 20—25.

⁶² Лисовой Николай. Указ. соч. С. 295.

⁶³ Там же. С. 294.

Вокруг обители разбит большой сад. Вне стен монастыря расположено кладбище монастыря, на котором похоронены греческие русские монахи и послушники. Сегодня в монастыре проживает около 30 насельников, включая монахов из Болгарии, Греции, Румынии, России и Кипра.

Сегодня восстановленный монастырь вновь напоминает византийскую обитель-крепость. Высокие каменные стены, по внутренней стороне которых идут в два этажа кельи, представляют как бы одно большое здание с вымощенным двориком посередине. Стены обители — не просто защита от врагов. Это и духовная таинственная грань между грешным, здешним, и «иным», святым миром. Ровное каре монастырских стен с возвышающимся над ними церковным куполом охраняет маленький цветущий оазис, противостоящий натиску окружающей пустыни благодатной силой молитв преп. Герасима⁶⁴.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Изображения на колоннах и стенах⁶⁵.

Колонны и стены монастыря украшены иконами и изображениями либо монахов-отшельников, которые находились в Иудейской пустыне, либо основателей монашеской жизни.

Изображение Онуфрия Великого

Отцы-пустынники, аناхореты и основатели монашеского общежития:

Антоний Великий — египетский монах III века, основатель и идеолог отшельнического монашества в Фивадской пустыне; он основал одноименный монастырь Святого Антония к югу от Каира.

Евфимий Великий — один из первых монахов в Иудейской пустыне IV века; он основал монастырь Капарвариха близ Хеврона, Нижний монастырь, или монастырь Феодосия, в 15 километрах от Иерусалима, а также лавру Святого Евфимия (близ современного Хан-эль-Ахмара);

Онуфрий Великий — египетский пустынный IV века, подвизавшийся в Фивадской пустыне, живший в полном одиночестве 60 лет.

Пахомий Великий — египетский монах III–IV веков, основал первый общежительный монастырь и составил для него первый монастырский устав.

Иларион Великий — палестинский монах IV века, был основателем первого монастыря в Иерусалиме и первым проповедником монашества в Палестине.

Харитон Исповедник — христианский святой IV века, основавший Фаранскую, Иерихонскую и Суккийскую (Ветхую) лавры. Один из родоначальников Иерусалимского устава.

Столпники:

Симеон Столпник — сирийский аскет и столпник V века, известный тем, что пролежал на столпе 37 лет в посте и молитве.

Даниил Столпник — константинопольский аскет V века, последовавший подвигу Симеону, проведя на столпе более 30 лет.

Алипий Столпник — адрианопольский аскет VII века, подвизавшийся на столпе 66 лет.

Лука Новый Столпник — византийский аскет X века, живший при императоре Константине VII Багрянородном (913–959), простоявший на столпе 45 лет.

Другие святые, аввы и мученики:

Зосима Палестинский — палестинский монах-отшельник, авва, живший в V–VI веках при византийском императоре Юстине (518–527).

⁶⁴ Там же. С. 295.

⁶⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

Мария Египетская — христианская святая, жившая в пустыне, где провела 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах. Единственным человеком, который увидел Марию после ее ухода в пустыню, стал иеромонах Зосима.

Святая Параскева — христианская великомученица III века, пострадавшая во время царствования императора Диоклетиана; в ранней юности посвятила себя аскетической жизни.

Иоанн Хозевит — палестинский епископ, авва, святитель VI века, прославившийся своей борьбой с евтихианской ересью; один из основателей монастыря Хозевитов в Иудейской пустыне.

Георгий Хозевит — палестинский монах VII века, авва, настоятель Хозевитской лавры.

Косма Маюмский — византийский епископ и гимнограф (автор гимнов) VIII века в Восточной православной церкви.

Конон Исаврийский — византийский мученик VI века, живший во времена императора Юстиниана I Великого (527–565).

Есть также иконы, изображающие библейские события, такие, как сотворение мира, изгнание из рая Адама и Евы, убийство Авеля Каином, жертвоприношение Исаака Авраамом, гибель Содома и Гоморры, нахождение Моисея у берега реки, дарование заповедей Моисею на горе Синай, завоевания Иерихона и вознесение пророка Илии на небо.

Contents

Prose and Poetry

- Alexander Gorodnitsky.** Poems • 3
Pavel Vyalkov. Gorgias. Hanged Men of the Last Judgment. Male Bee. Trainee. *Short stories* • 7
Elena Pietiläinen. Poems • 27
Boris Krasin. Game of Imagination. *Novella* • 30
Oleg Vashchayev. Poems • 80
Vladimir Pankov. Eyewitnesses. *Novel* • 84
Alexander Petrushkin. Poems • 149
Svetlana Rosenfeld. Dayana. Glasses. *Short stories* • 153
Alina Mitrofanova. Poems • 163

Publicistic Writings

- Yevgeny Berkovich.** Like Grains Between Two Millstones... *Victims of Dictatorships in the 20th Century* • 167

Criticism and Essays

- Julia Scherbinina.** Exercise in a Nonentity. *Phenomenon of Mockery* • 186

Petersburg Bookman

- Portrait of a Poet.** *Natalia Grantseva.* Laurel Leaf of Kapnist. Person and Fate. *Lev Berdnikov.* Not Disowned. **Reviews.** *Victor Brusnitsin.* Use of Life. *Marina Maryashina.* „You Are the Hero of the Earth...“. *Calle Casper.* Ghost in Letter Armor • 200

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Palestinian Monasteries and Russia. *Part 4* • 233

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 01.02.2018. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 331
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28